

# АРТИКЛЫ

Израильский литературный  
журнал

# АРТИКЛЪ



№ 21

Тель-Авив

2022

**מעלות**  
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА

<b>Илья Рудяк.</b> Хижина дяди Лёвы.....	4
<b>Михаил Пойзнер.</b> Мезуза.....	8
<b>Анатолий Контущ.</b> Искусство правильно читать книги.....	22
<b>Елена Андрейчикова.</b> Меланхолия мяса.....	27
<b>Ефим Ярошевский.</b> Авария.....	35
<b>Ира Фингерова.</b> Пирожок.....	45
<b>Юлия Верба.</b> Броня крепка .....	51
<b>Сергей Рядченко.</b> Южная ночь.....	55
<b>Анна Михалевская.</b> Время Жэ.....	103
<b>Инна Шейхатович.</b> Красная юбка.....	120
<b>Рафаэль Гругман.</b> Маленькая Одесса.....	130
<b>Яков Шехтер.</b> Сфирот души нашей .....	150

## ПОЭЗИЯ

<b>Рита Бальмина.</b> Моя Одесса.....	165
<b>Влада Ильинская.</b> Назови меня морем.....	169
<b>Віталія Бабушак.</b> Кажуть, збуваються мрії .....	172
<b>Алла Марголина.</b> Тысячелетье Третье.....	175
<b>Людмила Шарга.</b> Смешались стихи и кофе.....	178
<b>Юрий Михайлик.</b> Пророчество, как занятие .....	184
<b>Игорь Потоцкий.</b> По моей Молдаванке трамваи летят.....	193
<b>Илья Рейдерман.</b> Жизнь как выдох и вдох.....	199
<b>Пётр Межурицкий.</b> Паломничество.....	205
<b>Павел Лукаш.</b> Мы увезли свою Одессу.....	208
<b>Феликс Гойхман.</b> Карусель .....	214
<b>Семён Абрамович.</b> В последний день зимы.....	221

**Анатолий Гланц.** Седые головы котят.....227

## **НОН-ФИКШН**

**Анна Михалевская.** Третья сила.....229

**Олег Губарь.** Одесский приятель Пушкина по имени  
Самуил.....233

**Феликс Зинько.** История одного обрезания.....242

**Евгений Голубовский.** Верность одесскому братству.....247

**Александр Розенбойм.** Стадион.....253

**Виктория Коритнянская.** Боль моей мамочки.....257

**Григорий Барац.** Одесса Жванецкого.....264

**Евгений Деменок.** Кандинский, Калер, «Синий всадник»...270

**Эвелина Шац.** Метафизическая паутина.....280

**Андрей Зоилов.** Сказ о хорошем человеке.....285

**Пётр Люкимсон.** Новая «Касриловка» Якова Шехтера.....293

## **СТИХИ И СТРУНЫ**

Сирены за окном.....296

## **БОНУС ТРЕК**

**Алексей Цветков.** Меж двух провалов.....298

Фотографии «Дюк с бульвара» на титульной странице и  
«Дерибасовская, угол Ришельевской» на стр.230 Бориса  
Бухмана

*Этот номер начал готовиться совместно с одесским литературным объединением «Зелёная лампа» задолго до трагических событий февраля 2022. Литература плохо пишется под вой сирен, поэтому военные материалы в него почти не попали. И не скоро попадут. Понадобилось около пятидесяти лет осмысления, чтобы Лев Толстой смог написать «Войну и мир». Быстро реагирует только журналистика, для настоящей литературы нужно время. Писатель носит опыт не на плечах, а в желудке – он успел его переварить.*

# ПРОЗА

Илья Рудяк

## Хижина дяди Лёвы

Поезд подошёл к вокзалу и остановился прямо у его дверей. Повеяло югом и домашностью.

- Дальше Одессы поезда не идут! – услышал я прокуренный голос мужчины в кепке. У него был вид встречающего именно меня, долгожданного гостя, друга, товарища.

- Дядя Лёва, – представился он и просунул руку в окно вагона.

Я пожал её.

– Молодой человек желает отдельную комнату или койку?

Мы шли к его мотоциклу с коляской, и я поллюбопытствовал, как он высчитал, что я не санаторный, не командировочный, а именно «дикарь».

- Молодой человек! Человек, едущий из Москвы в плацкартном вагоне, в белой рубашке с закатанными рукавами, – это мой клиент.

Мотоцикл быстро прикатил нас на улочку, упирающуюся в море.

- Чудеса в Одессе! – сказал дядя Лёва, уловив мой восхищенный взгляд. К дому вела аллея, обсаженная абрикосовыми деревьями и увитая виноградными лозами.

- Хижина дяди Лёвы! – и широкий жест с поклоном.

О, Райт, о, Корбюзье, о, Росси! Что по сравнению с вашей архитектурной мыслью фантазии дяди Лёвы из Одессы? Причудливые пристройки вокруг дома, над домом, под домом не имели ни начала, ни конца. Это был лабиринт, выход из которого вёл только в карман хозяина.

- Деньги – вперёд, рабочий народ! – спел он и рассмеялся.

Я получил, как заверил меня дядя Лёва, лучшую хибарку в самом закутке и с видом на море.

- Нихто нэ баче, нэ мишае, – как говорят в Одессе, – амыхае!

Ко всему, он любил ещё и рифмоплётствовать.

- Молодой человек побежит сразу к морю – это естественно. Совет дяди Лёвы: пройдитесь по муравейнику и выберите одинокую девушку или женщину на собственной подстилке, положите свои вещи рядом и вежливо попросите посмотреть за ними, пока не искупаетесь. Вы никогда не услышите «нет», а всё остальное зависит от вас самого. Вперёд, и танки наши быстры!

Я выполнил совет дяди Лёвы как самый послушный и аккуратный ученик. Мои скромные пожитки, а вместе с ними и я, побывали за короткое время то на простыне, то на длинном и узком коврике, то на старом выцветшем одеяле, и даже на шикарном махровом полотенце с заграничным клеймом. Знакомства заводились мгновенно. К принесённым мною эскимо на палочках, пиву, сладкой водичке прибавлялись котлеты, пахнущие чесноком, молодая картошечка, пересыпанная укропом, свежие огурчики, помидоры, вишни, черешни, арнаутский круглый хлеб с поджаристой корочкой.

Это были райские дни в Одессе. С утра до вечера на море, а по субботам и воскресеньям – на Староконном рынке.

Среди клеток с попугаями и кенарями, среди аквариумов с экзотическими рыбками, между ящиками с морскими свинками и нутриями, возле мешков, набитых степной травой для кроликов, у груды хлама и заржавленных гвоздей, замков и старых канотье, карманных часов с застывшими навеки стрелками – расположились, возвышались, главенствовали книжники!

Монтень и земляк Бабель, мадам Блаватская и маркиз де Сад, «Золотое руно», в полном комплекте и отдельные томики Эжена Сю, «Лолита» Набокова, Генри Миллер, Арцыбашев – спокойно лежали на виду!

Милиционеры, расхаживающие по рынку, подыскивали чтиво для своих отпрысков.

Я не верил своим глазам. Я был поглощён Староконкой. Вскоре я уже знал всех книжников по именам и кличкам. Экзистенциалисты – у Марика, оккультное – у Гнома, альбомы – у Доктора, и всё, что очень кусалось, – у Акулы. Они были оригинальны, темпераментны и неуступчивы в ценах. Я оставил у них последние сбережения. Отпуск подходил к концу, а впереди меня ждали работа и длинные московские дожди.

Последний день у моря я провёл на полосатом рядне. Его упитанная хозяйка ласково повторяла:

- Рядно широкое, располагайтесь удобнее!

Но случаю желательно было омрачить мой восторг и удачу. Я заплыл далеко за волнорез, наслаждался простором и, отдыхая на спине с закрытыми глазами, ощущал, как солнечные блики просвечивают кровь в венах, образуя красно-огненное зарево. Вернувшись на берег, я не обнаружил в кармане своих брюк перстня. Перед купанием я его всегда снимал. Это был старый серебряный перстень с красивой вязью инициалов моей прабабки. Он переходил в нашей семье из рук в руки, и наконец, попал ко мне как подарок мамы. Вмиг я понял, как зыбко счастье. Хозяйка рядом была сконфужена, перерыла весь песок вокруг и причитала:

- Не может быть, не может быть! Я загорала и никуда не уходила. Не может быть!

Я верил её искреннему отчаянию, но моё было ещё больше. Кто-то заметил, что я прятал перстень, и украл его. В этот раз я с грустью оглядел людской муравейник, и понял всю безнадёжность поисков.

Дядя Лёва, выслушав на прощальном ужине мою новость, вышел на минутку из хибарки и вернулся с большой бутылью розового вина.

- Только в исключительных случаях, – сказал он, показывая на бутыль, – «Лидия Петровна», из лучшего сорта винограда «Лидия».

Мы выпили в тот вечер не один стакан «Лидии Петровны». Терпкое ароматное вино усыпило меня, и я проснулся поздно утром от осторожного стука в фанерную дверь. Дядя Лёва вошёл в комнатку, держа на жгутике, просунутом сквозь жабры, огромную рыбу.

- Молодой человек, у вас в Москве-реке такие водятся?

Я не знал, что ответить, но понял: не похвалиться пришёл дядя Лёва.

- Хочу, чтобы вы привезли её вашей мамаше от дяди Лёвы из Одессы.

Я опешил.

- Протрите глаза, и пойдёте выпускать из неё кишки, иначе она провоняет весь вагон.

Мы вышли во двор. Дядя Лёва положил рыбу в широкий таз с водой, принёс длинный, как кавалерийская шашка, нож, всунул его мне в руку и скомандовал, хохоча:

– Шашки наголо!

Я взял нож и впервые в жизни пырнул жирное брюхо рыбы. Оно податливо разошлось, и из него вывалились слизь, икра, кишки и... мой пропавший фамильный перстень.

О, Одесса! Где могло ещё такое случиться? Кто ещё хотел бы защитить честь своих земляков, чтобы приезжий москвич не подумал о них плохо? Где? Только в Одессе!

Дядя Лёва чувствовал себя именинником. Упаковывая рыбу, густо пересыпанную солью, в кулёк, он с удовольствием смаковал детали своего рассказа.

- Молодой человек! Когда вы мне сообщили: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о потерянном браслете» – то есть перстне, – признаюсь, я это принял близко к сердцу. А я не люблю его слишком волновать.

Он ловким движением снял рубашку с майкой вместе, и я увидел на груди глубокие рубцы от ранений.

- Это было под Прагой, второго мая, в сорок пятом. Но дело, видите, не в том. Сегодня утром, в шесть, я уже был на Привозе, у рыбного корпуса. Я нашёл там Мишку Шепелявого, моего старого знакомого, и сказал ему, что, если перстень у меня не будет через полчаса, он забудет про свой промысел навеки. Шепелявый успокоил меня и позвал своих байстрюков, что орудуют на пляжах. Они вывалили на его китель вчерашний улов, и среди браслетов, часов, сережек лежал ваш серебряный перстень, молодой человек!

Теперь поезд отправлялся от двери вокзала в другую сторону. Дядя Лёва провожал меня. Я смотрел на него иными глазами. Я видел в нём неотъемлемую часть Одессы, её соль, её дрожжи. С его уходом она станет намного беднее.

Поезд тронулся. По другой колее приближался встречный. Дядя Лёва помахал мне кепкой, и я успел ещё заметить, как он подошёл к окну остановившегося вагона и протянул кому-то руку.

Я искренне позавидовал неизвестному «дикарю».

## Мезуза

*Подлинная история*

*...Что я сейчас вижу со своего окна?  
Опять площадь Толбухина.  
Опять машины и маршрутки.  
Опять маршрутки и машины.  
Опять трамваи...  
Туда-сюда, сюда-туда...  
А люди почти не заметны. Тем более с  
моего девятого этажа.  
И так уже что-то почти двадцать лет.  
Другое дело мой Книжный переулок!  
За углом и Малая Арнаутская, и Привоз, и  
моя 118-я школа.  
За углом вся жизнь...*

...Когда меня сейчас спрашивают: «Вы откуда?», я все равно, не задумываясь, отвечаю: «Я не просто с Одессы, я с Книжного переулка!!»

А если начать издалека, так вообще мои родители жили где-то на Колонтаевской. Уже в самом начале войны отец погиб под Севастополем. Еще при обороне Одессы в наш дом попала бомба, а уже в оккупацию маме подыскали новое жилье – как раз бывшая еврейская квартира в Книжном переулке.

А было мне тогда где-то годика четыре. И войну, и ту Одессу помню как-то штрихпунктирно. Если честно, теперь уже трудно различить, что я «про тогда» точно помню, а что уже понарасказывали вокруг.

Помню немецкие машины, пожары, развалки, повозки с лошадьями. И форму немецкую, кажется, смутно тоже помню. Помню первых наших солдат на Малой Арнаутской в апреле 44-го. В кино сейчас показывают все иначе...

Еще в ноябре 41-го мой дед на Привозе огрызнулся румынскому солдату, за что получил прикладом по голове. Деда сразу же парализовало, так он пролежал аж до 47-го года, пока не умер. Вот какую память о себе оставили нам те румыны...

Что еще помню?

Помню, напротив нашей квартиры, на входе с Комсомольской, в школе №2, находилось какое-то немецкое военное учреждение. Чтобы поговорить с моим дедом на немецком, к нам часто заходил немецкий офицер – пожилой мужчина, все время с огромной служебной овчаркой. Дед мой был родом из Питера, прилично говорил на нескольких языках.

А в нашей квартире, в довольно просторном подвале, с марта 44-го спрятались от угона в Германию четыре соседских парня. Собака этого немца запросто могла учуять прячущихся. Мама моя догадалась, что делать – слезно упросила немца приходить без той собаки. Мол, маленький сын, то есть я, очень боится собак, даже начал заикаться... И немец приходил сам.

Хотя в итоге все это напрасно. В первые же месяцы после освобождения Одессы тех ребят забрали в армию, буквально сразу все погибли при Яско-Кишиневской операции. Необученные, необстрелянные...

А немец тот оказался все-таки приличным немцем. Когда они уходили, жестко предупредил нас – окна-двери закрыть, никому не открывать, по квартире не ходить, всем лечь на пол. Часто проезжающие немецкие солдаты беспорядочно стреляли по окнам. Потом соседи подтвердили, что и на Комсомольской, и на Успенской были раненые и убитые.

А румын мы запомнили на всю жизнь.

Румыны с нашим дворниками регулярно обходили все квартиры. Всегда после этого чего-то недосчитывались, всегда не упускали возможности поиздеваться, унизить или просто избить.

И вот, где-то летом 42-го, во время очередного обхода, румыны заметили на нашей входной двери мезузу. Никто из наших вообще не знал, что это такое и зачем. Откуда мы могли знать, что это традиционный еврейский символ? С огромным трудом попытались объяснить, что это не наше, что это осталось от евреев, которые здесь раньше жили. Евреев, которых убили еще в конце 41-го. Никто не хотел слушать, начали избивать маму... Не верили, а потом солдат со злостью скovyрнул штыком эту штуку с дверей. Нам еще пришлось кое-что дать этим «проверяющим», чтобы про нас забыли насовсем...

Моя мама, человек верующий, сохранила эту мезузу. Мол, Бог – един, и вещь эта богоугодная. Мезузу зашили в матрац, на котором я спал. Это место посчитали самым надежным.

А что такое мезуза?

Как я понимаю, вещь эта религиозная. Металлическая продолговатая плоская коробочка, внутри которой спрятан текст какой-то важной молитвы из Торы. Молитвы, что Бог и народ едины. Мезуза как бы охраняет твой дом, охраняет жизнь саму... Говоря по-нашему, это, считай, своеобразный оберег. Вот так...

...После войны пошел в 118-ю школу – на Малую Арнаутскую, угол Преображенской. А время было голодное, холодное и бандитское. Хотя рядом и Привоз, и вокруг воры с бандитами, наш многонациональный дом обходили стороной. Никогда у нас не было никаких происшествий. Все тихо-мирно, никого никогда не ограбили, квартиры не обворовывали. А почему? В нашем доме, почти до конца 40-х годов, жил известный бандит, авторитет по прозвищу, кажется, Вовчик Ступенька. Я, конечно, помню его смутно. Тогда моя мама часто повторяла: «Увидишь, если он идет направо, ты иди налево...» Многие так и делали.

...Прошли годы. И, кажется, в 62-м в наше окно на Комсомольской постучали. Мужчина в военной форме извинился и попросил разрешения войти: «Здесь мы жили еще до войны, здесь была наша квартира». Мужчина оказался подполковником, фронтовиком, военным летчиком, служившим тогда где-то в Подмосковье.

Он прошелся по комнатам, явно что-то выискивая глазами. Наконец-то дошел до двери, что на выходе со стороны Книжного. Прикоснулся к дверному косяку, здесь еще оставался едва заметный след от скovyрнутой когда-то мезузы. Мужчина замер, снял фуражку, стал на колено... Оказалось, что мезузу прикрепили еще в 23-м году, в день его рождения... И мезуза эта – вещь святая и бесценная для их семьи.

Мама моя, рискуя нашими жизнями, сберегла эту чужую святыню. Можете себе представить подполковника, боевого летчика, прошедшего войну, с глазами, полными слез?..

Мы передали ему мезузу как память о его близких, как память о моей маме.

...Семьями мы дружили много лет.

Теперь летчик мой лежит на Таировском, чуть в стороне, справа от церкви. Это недалеко от могилы моей мамы. Не всегда, но на проводы я здесь. Здесь возле их последнего пристанища. Молча постою, прислушаюсь к самому себе. Спите спокойно...

Сына же его вообще помню плохо. Как-то не получилось близко общаться. А вот внук - другое дело. По возрасту,

примерно, как моя племянница. Может, 77-го или 78-го года рождения. Еще где-то в середине 90-х они с матерью оказались в Израиле. Учился, служил, воевал. Как выяснилось потом – боевой офицер-вертолетчик. Так, наверное, в году 2002 или 2003 случайно встретил его у нас... на Соборке (!) – «Черноморец» туда, «Черноморец» сюда... Попытался разговорить, что там и как. На что он даже растерялся: «Извините, мы люди военные. Нас как-то не принято расспрашивать...» Конечно, тяжело прикидываться кем-то другим... А со стороны смотришь – наш обычный одесский хлопчик...

Что еще?

Время от времени оттуда напоминают о себе. То с кем-то перекинут долларов сто «на карман», то лекарства какие, то позвонят, то что-то еще... А то фотографии с еще той нашей мезузой, прикрепленной к уже их дверям, уже на их земле.

Как бы на связи... Мол, живы...

Добро всегда возвращается, когда и кто бы его ни сделал.

...Вот так жизнь подстерегает на каждом углу.

Ты давно уже где-то, а все равно как бы бродишь вокруг моего Книжного переулка. Бродишь по тому Книжному и в оккупации, и между послевоенных развалок, и по дороге в мою 118-ю, и с сумками на Привоз. И вот-вот постучишь в двери к маме с чемоданчиком после армии, и вот уже занесишь с роддома свою первую дочь...

Все прошло через Книжный.

И старишься тоже на его глазах.

И в Бога веришь, потому что он есть.

## **Если крыша поехала**

В каждом старом одесском доме существуют свои, годами сложившиеся, отношения – и любовь, и ссоры из-за детей, и бытовая неприязнь, и социальная многоступенчатость. Мало ли...

В нашем дворе на Садиковской все знали об уже исторической тяжбе двух соседей из отдельного двухэтажного флигеля под односкатной крышей. Достаточно было даже мелочной зацепки для начала очередного продолжительного скандала. Причем агрессивной, нападающей была только одна сторона, другая же всегда отмалчивалась, пряталась в глубине своей квартиры,

закрывая окна и двери. Это была тихая бездетная семья старого бухгалтера.

То, о чем я хочу рассказать, произошло в самом конце лета. Крыша над соседями, находившимися в состоянии войны, требовала ремонта и покраски. Против ремонта, однако, возражал агрессивно настроенный сосед – его жена не переносила запаха краски.

Что делать? Приближалась одесская осень с дождями. Бухгалтер нашел выход из этого безвыходного положения. Он призвал на помощь кровельщика Павлика – битого молдаванского парня с Болгарской улицы, отчаянного голубятника с татуировкой на предплечье «Привет тебе, Одесса». Разговор был коротким: «Слушай, Павлик. Нас не интересует, что это будет стоить. Главное сделать быстро, пока наши соседи-бандиты на даче...»

«Что вы?! Мы медленно вообще не работаем, – ответил кровельщик, – завтра же я с напарником – на крыше».

Все, казалось, было просчитано, но... Как раз в разгар покраски те «соседи-бандиты» отвлеклись с дачи на Привоз, а затем решили заглянуть на минуточку домой. Все же рядом...

Что же они увидели?

Ослепительно палило солнце. На коньке крыши сидел Павлик с кистью в руке, на голове у него сидела газетная пилотка – он насвистывал, рядом копошился напарник. Дело шло к завершению... Визитеры оторопели: неслыханная наглость – несмотря на запрет, крыша все-таки красится... Жена крикнула: «Ах, жиды! Их мать...» И так далее. Тут-то Павлик вспомнил о предупреждениях бухгалтера. Во дворе начался громкий процесс, но Павлик этого уже не слышал. Он сидел на самом верху крыши и не видел основных действующих лиц, поэтому тихо спросил напарника: «Леха! Где они стоят?» Леха указал направление. Павлик равнодушно начал передвигать ногой в указанном направлении открытую банку с краской. «Так или еще левее», – переспросил он. Леха, еще не догадываясь о намерении бригадира, скорректировал огонь. Павлик резко ударил ногой по банке... и... Вы когда-нибудь видели, как падает с крыши банка с краской?! Она накрывает всех – и правого, и виноватого. Всех... Не было исключения и в данном случае.

Двор, моментально собравшийся на спектакль, онемел. Павлик быстро сбежал по скату чуть ниже, чтобы убедиться в успехе атаки. Внизу было не до разбирательств...

Павлик всплеснул руками: «Боже мой! Малохольный! Что ты наделал?! Боже мой! Ты же не раненый парень!..» Потом обратился с крыши к потерпевшим, как бы оправдываясь: «Взял сегодня ученика на крышу. И вот...» Потом закричал на «ученика»: «Вон с крыши! Пешком!! Чтобы я тебя уже видел вслед!» Потом сочувственно: «Извините, извините...»

Однако дело было сделано – крыша подготовлена к осени, а справедливость – восстановлена.

...Прошло много лет. Уже давно нет в живых ни тех агрессивных, ни тех тихих соседей. Под злополучной крышей живут другие. Во дворе новые жильцы и новые «разборки»...

Как-то я встретил Павлика-кровельщика на Староконном. Он, как обычно, толкался среди голубятников. Окликнул его: «Как ты? Помнишь еще нашу крышу?!» Павлик махнул рукой: «Что крыша?! Здесь мы жили и живем по нашим одесским законам, а у кого поехала крыша, так я всегда готов ее отремонтировать...» И добавил: «Наверное, не только я...»

Уходя, он с хитринкой подмигнул мне.

Голуби сегодня важнее...

## Одесский почерк

...Еще в дореволюционной Одессе жил один очень уважаемый человек – доктор Бибергал. Прежде всего, он был знаменит тем, что делал кому надо... обрезание. Наверное, каждый пятый, если не третий, одесский еврей прошел через Бибергала. Короче, кто не знал Бибергала!

Рассказывают, что как-то в Москве, где-то в Сандуновских банях, встретились два хорошо намыленных человека. Шайки, головы, лица и все кругом – в мыле. Один из уже отмывшихся внезапно обратился к еще намыленному с головой соседу: «Ну, как там дела в Одессе?» Сосед, после того, как окончательно «смылся» и открыл глаза, испуганно спросил: «А откуда вы знаете, что я именно с Одессы?» Ответ был краток: «Как откуда?! Узнаю ювелирную работу Бибергала!»

Так рассказывают... Но вы же знаете, что в Одессе могут рассказать все, что угодно.

Хорошо...

Но все-таки, какой почерк!..

## Эй, ты, хитрый!..

Есть один хороший, именно одесский анекдот. Пересказываю в сокращенном виде.

Скопились как-то ребята в распределителе, в смысле, в чистилище. Кому в рай, кому в ад... Все нацелены на рай. Какой идиот сам пойдет в ад?

Самый смелый пошел первым. На проходной спрашивают: «Тебе, парень, точно в рай? Ты не ошибся? Интересно, чем же ты так отличился?!»

Претендент мысленно перебрал в голове всю свою жизнь, все «за» и «против». Уже после осмысления выдал: «Так я выпил, наверное, 10000(!) литров водки...» А что еще хорошего вспомнить?!

На проходной переспросили: «Сколько, сколько? 10 тысяч?! Пошел вон!..»

Следующий... Следующий уже «про себя» задумался: «Так много это или мало – 10 тысяч? Скажешь, допустим, 20 тысяч – запустят или погонят в шею». Ну, пошел вперед. Спрашивают: «Шо ты и как?»

Тот лихо: «Выпил точно, грамм в грамм, 30 тысяч(!!!)». Там прямо ахнули: «30 тысяч?! Та ты что?! Проходи!!»

И что вы думаете? Вот он уже прошел! Еще чуть-чуть, еще полшага, и ты уже смешался с той райской толпой. Так нет! Возвращают назад: «Так говоришь «пропустил» точно 30 тысяч? А где ж ты пил? А?!»

Пришлось даже возмутиться: «Как где?! У Изи, сразу за Пересыпским мостом! Еще спрашивают где...»

У Изи? На Московской угол Газового?! Назад!!

У Изи всегда был недолив...

Чего я это вспомнил?

Был у меня один товарищ, которого туда, в тот рай, точно бы сразу же пропустили. Без второго слова...

Во-первых, он пил везде, не только за Пересыпским мостом. Во-вторых, он не считал те граммы.

А в-третьих и... в-пятых, для моего Сани самым страшным оскорблением было, когда говорили, что... евреи не могут выпить. Сам он мог принять ведро – просто так, даже не на спор. И при этом никогда «не выходил из берегов». Он и без той «Судьбы человека» после первой и после второй, и даже после... очередной не закусывал. Даже спирт неразбавленный.

Как грузчик-экспедитор цеха безалкогольных напитков с улицы Штиглица (за углом от Пишоновской), первый стакан «гамиры» (так называли лимонный спирт для приготовления сиропа) Саня принимал, не дожидаясь семи утра. До начала рабочей процессии. А дальше поехал-понесло – за день ему наливали во всех магазинах, куда он завозил воду и откуда забирал стеклотару. Потом наливал уже он – всякому встречному-поперечному знакомому. А знакомые, слава Богу, это весь город – от Центрального гастронома и точек на Фонтане до забегаловок за тем же Пересыпским мостом. И так почти каждый день... Одним словом, он был настоящим профессионалом. Известное высказывание – «Если водка мешает работе, то надо бросить...» – его никак не касалось.

В редкие выходные дни можно было встретить изысканно одетого Саню в самых неожиданных местах – на Дерибасовской в «Юбилейном», в Русском театре, во Дворце бракосочетаний, в банке или в мединституте... Я всегда поражался его способности быть «на всех базарах». Мало что могло его смутить или выбить из привычного ритма. Однако возникали ситуации, когда ему было не до самоконтроля. В семидесятые годы евреи (даже одесские!) старались лишний раз не употреблять слов «еврей», «еврейский» и т. п., считая их чуть ли не нецензурными. Саня всегда, при любых обстоятельствах, повторял эти слова громче и чаще других. Попытки оскорблений или нападок он пресекал порой самым неожиданным образом – используя свои силовые или «выпивательные» возможности. А «разобраться» с ним было все равно, что остановить рукой движущийся поезд.

Как-то в середине мая Саню призвали на военные сборы куда-то под Ильичевск, как говорили тогда, «на скачки». От этого вызова он решил получить двойное удовольствие – пройти сборы и одновременно «перекурить» от работы. Все разрешилось довольно быстро: подъехал в воинскую часть, нашел сговорчивого прапорщика, рассчитался все той же «гамирой». Всего делов! Правда, пришлось оставить военный билет, чтобы снова вернуться за ним через 60 суток – как раз к концу «скачек». Таковы условия.

А теперь представьте себе – два месяца, минимум по два раза в день, перед строем выкликают вашу фамилию. К ней уже привыкли, она у всех на устах, но вас самого никто в глаза не видел. Кто это? Где он?.. Саня явился на последнюю переключку. Старший автоматически назвал его фамилию. И... он отозвался! Все повернули головы, впервые

увидев его улыбающуюся физиономию. Конечно, сразу же все стало понятно.

Как положено, после «скачек» скинулись на «отходняк». Саню тоже не обошли.

Ильичевск, пляж, уничтожающее солнце. На песке – только что отбывшие повинность; ящики с водкой, кое-что на перехват. Саня – робко с края. После первого же полстакана его «вычислили». «Эй, ты, хитрый! – обратился к нему главный «боец». – Что спрятался в стороне? Думаешь опять «соскочить?» Я специально пересаживаюсь поближе. Как ты «скакал», мы видели, а теперь посмотрим, как ты пьешь...» Вокруг громко засмеялись, предвидя скорую развязку.

«Авторитет» налил «хитрому» (чтобы не сказать по-другому) полный граненый стакан. А вот дальше были «дрова»... Бедняга тот жил на одной из пересыпских улиц, аж за Ярмарочной площадью. Ни говорить, ни ходить он уже не мог. К ночи Саня погрузил его на себя и повез домой – по адресу, указанному во вкладыше к военному билету. Затем двинул к себе домой, на Виноградную – почти рядом с таксопарком.

Уже начало светать. Саня принял душ, позавтракал, просмотрел вчерашние газеты. Потом побрился до голубизны, вышел на Среднюю, взял такси и поехал опять... на Пересыпь.

...Дверь долго не открывали. Саня настойчиво продолжал тарабанить: «Ваня! Открывай! Это я, Саня – похмеляться приехал. Видчынйя!..» Хозяин еле стоял на ногах, из предпоследних сил он выдал: «Похмеляться?! Ты что? Я не могу. Не могу-у...» Этого Саня только и ждал: «Ах, не можешь?! Что же ты «крутил»? Так кто из нас хитрый?! А?! Не можешь пить – пей что-нибудь другое... Даже мочу... Кто против?!» С этими словами он с силой забросил хозяина назад в квартиру. Послышался шум падающих вещей и тела. Саня сел в такси, которое ждало его все это время, и поехал... на рабочее место. Чтобы, как обычно, успеть к семи выпить стакан «гамиры». Изменять себе и привычке нельзя.

Разве только это?! Как-то летом мы возвращались из Аркадии в город. На конечной 5-го троллейбуса – толпа. Заняты исходные позиции – все готовятся к штурму. Последний раз вслух уточняются разработанные планы захвата свободных мест. Здесь у каждого свои функции – одни бегут вперед, другие сдерживают конкурентов, третьи, заняв места, должны продержаться до подхода основных сил. Все, как на войне... Беда тому, кто разрушит эти планы!

Мы оказались на задней площадке, плотно прижатые к торцевым стеклам. Салон быстро заполнялся. И тут две женщины одновременно ринулись на одно свободное место. Одна успела раньше буквально на доли секунды. Обидно – это не то слово. Казалось, цель была так близка. Уже мысленно сидишь и смотришь в окно. Но... Начался скандал. «Обиженная» – лет 55, невысокая, довольно тучная, с завитушками, губы покрыты яркой помадой – упрекнула уже сидящую: «А эти всегда тут как тут. Со своими жидовскими штуками...» Успевшая занять место перепугалась не на шутку: «Чтоб ты сгорела! Я такая же жидовка, как и ты». И, казалось бы, конфликт на национально-троллейбусной почве исчерпан. Но... рядом сидели как раз евреи – муж и жена. Жена робко возмутилась: «А что вам жида? Они вам что, в борщ наделали? Мой муж воевал...» Куда там! Кто ее хотел слушать... Инициаторша скандала тут же заголосила: «Ах, сволочи! Я так и знала. Они заняли даже два места...» И опять двадцать пять.

Как только все это донеслось до задней площадки, Саня сорвался с места и быстро протиснулся к застрельщице. Поначалу он громко поддержал ее позицию: «Правильно! Правильно женщина говорит. Сколько же можно издеваться». Потом, обращаясь к ней, заинтересованно спросил: «С этими все ясно. Но вот вы во время войны в Одессе были?» Та, не замечая подвоха, дернулась: «Я-то была в Одессе. А вот они где были – в Ташкенте отсиживались...» На большее не хватило воображения.

После этих слов Саня громко объявил на весь троллейбус: «Все слышали? Она была здесь... Ах ты, румынская подстилка! Для тебя же комендантского часа не существовало. До тебя тогда не добрались. Но я это исправлю сегодня...»

В салоне воцарилось гробовое молчание. Саня обратился «во весь голос» ко мне на заднюю площадку: «Мишаня! Извини! Мы не выйдем возле «Спартака», где хотели. Мы выйдем вместе с этой подругой».

Тут из-за Саниной спины, вначале уверенно, отозвался мужчина: «Что вы к женщине пристаёте?!» – и хотел сказать что-то еще... Саня резко повернулся на голос и процедил: «Поверни зубы к стеклу. Глохни...» Потом, как бы обращаясь ко мне, начал комментировать вслух: «Ты понял? До того, как я вмешался, он считал, что все идет как надо. Слышишь...»

Опять воцарилась тишина. Молчали евреи и неевреи. «Подстилка» потеряла голос, теперь она искала спасительную соломинку. Когда перед ее глазами мелькнула накладка, сохранившаяся на Санином предплечье еще с армейских времен «Я холод и голод – я все пережил, но я еще молод...», она забыла не только про жидов, но и про то, где она находится и как ее зовут.

Время от времени Саня обращался к вновь заходящим в троллейбус: «Из-за какой-то сволочи разбил все планы на вечер... Зачем ей это надо? Жила бы себе тихо. Не хочет...»

Часть пассажиров не слишком торопилась покинуть троллейбус – надо же все досмотреть до конца. «Подстилка» на глазах превращалась в брошенного котенка. Она даже предприняла отчаянный шаг – попыталась обратиться за поддержкой к водителю. Увы... Саня продолжал уныло повторять: «Опять вляпался. Вот только вчера заносил одно тело, а сейчас будем выносить другое...»

Зная Саню, я сразу же понял, что он играет, что и не думает заниматься физическим вправлением мозгов. Тем более женщине. Просто давит на нервы – направляет свою подопечную к покаянию.

«Подстилка» что-то бормотала, выстраивая новую линию поведения: «Что они себе в голову вбили? Что я к евреям? У меня даже есть родственники евреи. Что за разница...» Но это уже было неинтересно.

Троллейбус начал поворачивать с Ришельевской на Греческую. Остановка. «Подстилка» внезапно подалась к выходу – на передние двери, Саня моментально выскочил через среднюю. Когда подопечная зависла на последней ступени, он подал ей руку: «Мамаша! Я извиняюсь! Шо ж вы делаете? Ходить через рельсы с развязанными шнурками?! Надо же еще постараться умереть своей смертью. Все-таки. Я же не всегда смогу помочь...»

Когда при нем оскорбляли тех, кто не мог за себя постоять, он всегда говорил: «Сволочь! Все, что ты хотел сказать им, скажи теперь мне. Не бойся, говори. Я выслушаю до конца...»

Саня погиб 17 марта 1979 года в авиакатастрофе. Как говорили тогда в Одессе – рейс «Внуково – Таирово».

Поверить в это невозможно. Казалось, если бы он успел выйти на взлетную полосу, то как бы еще «разобрался» с тем ТУ-104...

Разобрался бы до конца. Как это всегда было...

## Не как все

Как-то позвонил из Сан-Франциско старый одесский приятель. Теперь он там, где почти все...

«Парень! А ты не забыл нашего Арканю с Тираспольской? Когда вся толпа рванула на Ближний Восток, он рванул как раз на Дальний... Он всегда был не как все. Помнишь?!»

Когда жизнь загоняет в угол, я всегда вспоминаю Арканю.

Аркаша или, по-одесски, просто Арканя был детдомовским. Война хорошо прошла по его родным и близким. Отец погиб, мать вернулась в Одессу из эвакуации с двумя малолетками. Вернулась и почти сразу же умерла. Детей чуть придержали соседи. Оказалось, что и другие родственники тоже погибли. Кто где, кто как...

Детдом в Люстдорфе. Полугодовалая, но жизнь. Детдомовские университеты, а потом и ремеслуху, Арканя прошел, как говорится, и в глубину, и в ширину.

Жил Арканя не как все. Умел любить, не прятался за чужие широкие спины, делился иногда последним... Нрава он был резкого. Как сверхчувствительный прибор, Арканя улавливал малейшие оскорбительные нотки, даже только намеки на те нотки. Поэтому ему не раз и не два приходилось разбираться по одному совсем пустяковому поводу – по поводу своей национальности. Часто до крови... Этой «нотной грамоте», в детдоме, слава Богу, обучали быстро и на всю жизнь.

Что бы Арканя ни делал, чем бы ни занимался, о национальности ему забыть не давали – и он всегда был начеку, всегда как бы готовый к штыковой... Разве я могу забыть Арканю?!

Вспоминаю, как однажды мы шли через Греческую площадь. Он шутит, спотыкаясь через злополучное «р». По ходу учит меня жизни. В руке неизменная бутылка «Жигулевского» за еще те 37 копеек. Обстановка самая безоблачная. И тут навстречу два мужика с женами и детьми – явно приезжие. В шортах, майках, с животами наружу... Такие крепкие ребята – гости города-героя.

Мгновенно оценив внешность Аркани, один с издевкой произнес прямо в глаза: «О! Ну вот, смотри сам! А ты говоришь, что их давно уже нет... Еще же есть, с кем разбираться. А ты говоришь...»

Уверенным движением Арканя преградил им дорогу. Спокойно, продолжая прихлебывать «Жигулевское», он захромал на предательском «р»: «Ребята! Ровно через минуту вы скажете, что я вас не понял,.. что вы имели в виду совершенно другое,.. что у вас есть где-то там знакомые евреи, даже родственники... Это будет только через минуту. Но я успею...»

С этими словами вечный детдомовец Арканя спокойно допил «Жигулевское», пригнулся и резким движением ахнул пустой бутылкой о край гранитного бордюра. Когда в руках осталось горлышко-розочка, Арканя ловко перекинул его в другую руку, затем порывисто шагнул навстречу гостям города-героя, приговаривая: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеров этих замочим...» Это, наверное, еще из детдомовского репертуара...

Ребята те, которые хотели немного «отдохнуть», онемели. Как по команде, закричали жены, заплакали дети. Кто знает, что у этого еврея в голове?! Попробуй – без детдомовского, тюремного или нашего молдавского опыта, так разбить бутылку... Еще чуть-чуть и, как говорят в Одессе, «попишут» всех подряд, не отходя от той Дерибасовской.

Нужные оправдательные слова застряли в горле.

За разбитой бутылкой этой стояла вся его разбитая жизнь. Наша действительность, перечеркивающая человеческое достоинство. Кто-кто, а Арканя через все уже проходил...

Бить Арканя не стал. Ему было достаточно увидеть полуобморочное состояние «оппонентов». Даже после того, как он отбросил в сторону бутылочное горлышко, ребята продолжали дрожать. Дрожали перед ним, уже невооруженным.

«На зарядку ста-но-вись!» – жестко скомандовал Арканя, а сам резко пошел в противоположную сторону. Я автоматически потянулся за ним. Какие-то метры мы прошли в полном молчании. Не доходя до Гаванной и Ланжероновской, Арканя взял очередную бутылку «Жигулевского». Открывая ее зубами, он зло подмигнул мне:

«Детей жалко. Не мог при детях... В землю бы вогнал, иначе не поймут...»

...Конечно, Арканя никогда не читал пушкинский «Выстрел», да и не знал ничего о Сильвио. Да и зачем ему было его знать?

Сильвио по-своему, а Арканя – по-своему напоминали тем, кто уже успел позабыть, что же в жизни первично, а что уже идет потом.

Чтобы не потерять свое место в этой жизни.  
Чтобы держаться, как в последний раз...  
Где сейчас тот Арканя?  
Может, наводит порядок на американских или немецких  
улицах?!  
Жаль, жаль... У нас бы для него работа нашлась. Много  
работы...

## Искусство правильно читать книги

*(Одесса. «Одесские рассказы»)*

Все получалось слишком удачно, и мне, наверное, нужно было быть осторожнее, но я был уверен, что в конце концов разобрался, в чем причина всех этих историй. Теперь я знал, что можно извлечь из книг, кроме вложенных туда когда-то высохших цветов и бумажных денег, знал и мог использовать это в своих целях. Несколько самонадеянно я считал, что мне удалось разгадать, какой скрытый смысл может таиться за привычными росчерками букв и черточками знаков препинания.

Мы твердо убеждены, что в книгах спрятаны самые важные знания, накопленные человечеством в течение столетий. Не случайно в древней университетской Коимбре неценимая библиотека Жуанина располагается на самой вершине холма, вздымаясь выше кафедрального собора, так, чтобы при нападении на город она была бы захвачена в последнюю очередь. Нам кажется, что для извлечения этих знаний достаточно лишь чтения, и мы не задумываемся над тем, что читать можно по-разному. Мое открытие состояло в том, что обстоятельства чтения важны не меньше описываемой истории, и что, если правильно их выбрать, можно пережить то, о чем в иных случаях остается только мечтать.

Поэтому я был совершенно спокоен, когда открыл «Одесские рассказы» на пляже Черноморки через два дня после твоего приезда: волны накатывали на песок, чайки скользили в небе, и мы лежали рядом на купальном полотенце «Vent du Sud», которое ты привезла с собой из Франции. Жаркий порыв ветра налетел на глинистый склон, и солнце в голубом оцепенении повисло над берегом.

- Mais la mer est très belle, - сказала ты, поднялась и пошла к воде.

Мы посидели на пляже еще немного и поехали в город, так и не поднявшись на дачу.

Ты остановилась в небольшой гостинице на Осипова, номера которой были переоборудованы из старых квартир. Твой балкон второго этажа выходил в узкий двор, и оттуда было отлично видно все, что происходило во флигеле

напротив. По вечерам почти все окна были освещены, и четкие фигуры то и дело бесшумно появлялись в желтых проемах и так же бесшумно исчезали, как на театральной сцене. Мы пили шабское вино на балконе в густеющих сумерках среди листьев винограда, а утром шли завтракать в одно из кафе на Пушкинской. Все было замечательно, и только однажды, возвращаясь домой в темноте, я заметил, как по площади перед собором прошел человек в валяных сапогах, странных для августовской жары. Человек легко шел через площадь на раздутых ногах, и в его истертом лице красно-черным блеском горели оживленные глаза.

До твоего отъезда оставалось три дня, и я еще мог отложить книгу, но не подумал об этом; мы гуляли по городу, ездили на пляж и ужинали с друзьями, а потом бродили по темным улицам, заглядывая в парадные и заходя во дворы. Ты была в восторге, ведь во Франции такое развлечение исчезло много лет назад. В одном из домов на Гоголя за первым, обычным, двором мы обнаружили второй, таинственный, тесный, заросший розами и виноградом; дверь в парадную была открыта, и мы поднялись по старой деревянной лестнице до последнего этажа, разглядывая старую мебель на площадках, допотопные звонки на дверях и неприличные надписи на стенах. Ночи были жаркими, и ты ненадолго включала кондиционер перед сном и шла в душ, а потом сидела в широкой постели с влажными волосами, что-то читая на русском.

В последний день мы съездили на Фонтан, нырнули с пирса, доплыли до волнореза, постояли на скользком, обросшем водорослями, камне, глядя на пыльные склоны, прогулялись вдоль моря и вызвали такси: до самолета оставалось еще шесть часов. Солнце как раз добралось до середины блистающего неба, и далеко за нашими спинами море накатывалось на Пересыпь изумрудной водой Одесского залива.

Когда мы поднялись наверх, машина уже стояла перед спуском.

- Быстрей, быстрей, вы что, не знаете, что происходит?! – вместо приветствия нетерпеливо проговорил водитель.

- Нет, а что? – спросил я.

- Ну, как: все разваливается! – воскликнул он. И не задумываясь, добавил: - Наконец.

Машина рванула с места; я оглянулся: ты пристально смотрела в окно на уходящий к дачам переулок, который был желт и пустынен.

На подъезде к десятой станции мы оказались в пробке. Со стороны города доносился неясный гул, похожий на отголоски бури. Шоферы отчаянно сигналили, заезжали на тротуары и пытались выехать на встречную, но из города навстречу нам шел необычно плотный для летнего дня поток автомобилей.

- Бегут, - зло проговорил водитель. – Было бы только куда.

Перед пятой станцией движение практически остановилось. Далекий рокот стал сильнее, разделившись на отдельные удары, как при строительных работах. Когда мы, наконец, выехали на перекресток, в многоэтажке на Черняховского справа от нас с грохотом обрушился балкон. Мы увидели, как люди побежали с площади в прилегающие улицы. Водитель грязно выругался, вывернул руль, выскочил на тротуар и понесся в сторону города, распугивая редких пешеходов.

На четвертой станции заторов стало меньше, и мы быстро проскочили Среднефонтанскую, но перед самым выездом на Привокзальную площадь снова остановились в окружении десятков машин. Шум за окном усилился до такой степени, что заглушил гудение автомобилей. Слева от нас, на тротуаре перед зданием вокзала, полицейские с трудом сдерживали рвущуюся внутрь толпу.

- Последний поезд на Киев в 21:50, - проговорил водитель.

- Говорят, что завтра никаких поездов больше не будет.

На улице было совсем светло. Я посмотрел на часы: стрелки показывали 18:40.

Мы наконец пересекли Пантелеймоновскую, свернули с Пушкинской на Троицкую, и уже через три минуты открывали дверь твоего номера. Ты принялась быстро складывать чемодан, забрасывая туда мокрые вещи вперемежку с сухими, а я, чтобы не мешать, вышел на балкон, присел на стул и открыл книгу. Уже расстреляли Колю Лапидуса после допроса, длившегося недолго, и старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой, зашла во двор, но я все читал и никак не мог остановиться. Ты захлопнула чемодан, щелкнула замком, и мы кубарем скатились с лестницы, прыгнули на заднее сиденье и через несколько секунд уже поворачивали на Большую Арнаутскую.

Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетающейся штукатурки. На левой стороне молодой мужчина в жилете едва увернулся от рамы, вылетевшей с верхних этажей дома Гольдштейна. По правой стороне пробежала женщина с распалившимся красивым лицом, проворно лавируя между изломами уличных фонарей. Тротуары во многих местах были завалены грудями камней, из которых выглядывали доски, трубы и остатки арматуры. Вдоль стен было невозможно пройти, и прохожие жалась к краям мостовой, с опаской поглядывая на полуразрушенные здания. Ровная плоскость фасадов то и дело нарушалась разломами, сквозь которые виднелись разнообразные интерьеры - искореженные гостиные, разоренные спальни, облупленные коридоры.

- Si ça continue comme ça, demain il ne reste rien ici, - проговорила ты, не отрываясь от стекла.

Ты уезжала навсегда, и навстречу тебе из окна бежали проститься прямые улицы, исхоженные моим детством и юностью.

Мы выбрались на Госпитальную, объехав несколько завалов посреди мостовой, завернули на Степовую и, наконец, понеслись к аэропорту по широкому шоссе. Здесь дома стояли вдалеке от проезжей части, асфальт был чистым, и машины шли под восемьдесят, подскакивая на выбоинах, сигналив и обгоняя друг друга. Я на несколько секунд открыл книгу, чтобы не видеть, как ты все все время отводишь глаза, избегая моего взгляда. Нищий тающий дым поднялся из кухонь над Молдаванкой, и Фроим Грач вошел в здание Чека на Екатерининской площади.

Все пространство перед аэровокзалом было запружено автомобилями, и мы вышли метров за сто, тут же смешавшись с отъезжающими. Вокруг здания бушевала толпа, и внутрь было невозможно войти, но ты крикнула охраннику что-то по-французски, и он отступил, открывая проход, в который вслед за тобой ринулись случайно оказавшиеся рядом, но полицейские уже закрывали дверь с другой стороны. Ты оглянулась и внимательно посмотрела на меня сквозь стекло, как будто зная, что будет дальше, я помахал тебе рукой, отвернулся, чтобы ты не увидела мое лицо, и начал проталкиваться обратно. Далеко за летным полем, там, где кончалась земля, сияющий глаз заката падал в море, и края неба уже розовели над темнеющей степью.

Когда я спустился на причал, было за полночь, и четырехугольник Пегаса мерцал высоко над темным

заливом. Я прошел по дороге мимо затихших куреней, поднялся по ступенькам на дачу, зажег свет над деревянным столом и открыл последнюю страницу. Фроим Грач, с гримасой движения на лице, лежал под брезентом на черном дворе у стены, увитой плющом, и два красноармейца курили над его трупом.

## Меланхолия мяса

Изойду слюной, пока пожарим эти стейки. Мясо – вот что, собственно, и мотивирует меня иногда проводить время с людьми. Оно сближает. Сегодня еще и несколько важных временных и пространственных обстоятельств: бабье лето, выходной день, дача на берегу Днестра, три ряда созревших помидоров сорта «черный принц». И то самое мясо. Свиная шея, купленная утром на Привозе у болтливой тетке-перекупщицы в выцветшей косынке, умело строящей из себя колхозницу, а на самом деле всю жизнь проживающей на Новосельского. Сто семьдесят гривен за килограмм – так нагло дорого. В вырезке было килограмма три, не меньше. И весь кусище был с тонкими прожилками, в меру жирный, бледно-розовый – одним словом, свежий. При мысли о хорошем мясе я всегда улыбаюсь. А что еще в этом мире может по-настоящему радовать?

Диана нарезает его идеальными для прожарки на решетке кусками, поперек волокон – я контролирую. Соль, перец молотый. Руки мои протестуют, когда она достает перец душистый. Она пытается объяснять, что Петрович, который должен скоро присоединиться к нам, в прошлый раз добавил его в маринад, а еще лук и лавровый лист, и заканчивает совсем лишним аргументом: «Ну, было же вкусно, вспомни». На что я со всей широковозможной для себя улыбкой посылаю ее в жопу. Жопу Петровича. Мысленно. Я давно не трачу слов: людям, во всяком случае понятливым, достаточно правильных взглядов.

В два часа начинают подъезжать машины, чьи-то нервные руки терзают звонок, и ноги стучат по воротам. Прибыли любители до отвала набить желудок до полуночи, а после полуночи лечить внезапную изжогу. Я же съем ровно столько, сколько моему, честно сказать, субтильному организму положено.

Диана всех встречает и вежливо улыбается. Хорошая, в сущности, женщина. Но слишком уступчивая. Меня это почти бесит, хотя я практически не способен выходить из себя из-за чьих-то поступков. Она женщина – и это предопределяет все ее слабости. Если на них смотреть сквозь легкое

снисхождение, мне можно, я любя, я не сексист, то она бывает даже очаровательной.

Ей двадцать два. На восемь лет меня старше, но это совсем не значит, что взрослее или умнее. Русые густые волосы до талии. Архаизм, конечно, дикий. Но мать который год упорно отговаривает ее стричься: мол, пожалеешь. Вот она и жалеет который год. Себя. Но боится, видимо, пожалеть еще больше.

Сегодня Дэ в белом. Дэ – это коротко «Диана». Сколько же пафоса родители вложили в ее имя! И вы еще фамилию не слышали. Она давно догадалась, что эта буква, произнесенная мной, может означать все что угодно, поэтому иногда косит сжатыми губами в сторону, когда я ее зову.

Все говорят, что Дэ похожа на отца. Разве что привычкой кусать ногти. Недавно она, что редко случалось, села рядом с матерью за стол на таком же пикнике, и я мог дольше обычного их разглядывать и сравнивать – и вот здесь я обнаружил очевидное, во всяком случае, для меня, сходство. Внешнее, конечно. Потому что Дэ без матери не может даже выбрать цвет помады, это же всем известно, а та в ее возрасте уже управляла отцом. Замечу, что иногда проще управлять, например, металлургическим заводом.

Осень анархичная в этом году. В начале сентября плюс десять и дождь, переходящий в град. А теперь жара. Листья опадают зелеными, не успев постареть как следует. Вот мы и собираемся каждые выходные. И каждый раз как последний. Ведь скоро зима, и на улице не посидишь. Закупаем продуктов все больше и больше: курица, свинина, баранина, овощи, фрукты, четыре вида хлеба, вобла для старта, торт под занавес. Пиво, вино, джин, виски, самогон. На любой вкус. Выбирай что хочешь и мешай с чем хочешь.

Какая досада! Шампанское забыли.

– Алло, Петрович! С тебя два ящика брюта.

Мельники приехали. Мельник-женщина начнет через два часа нить, потому что она за рулем, ей скучно, трезво и тошно. И Мельник-мужчина будет скоропостижно напиваться, поднимая один за другим тост во славу любимой жены, обнимать ее и щипать где-то между ног, чтобы таяла, чтобы успокаивалась, чтобы терпела, сколько ему нужно.

Дэ за столом обычно сидит тихо, глаз не поднимает. Но бокал регулярно. Всегда пьет красное сухое. И мне нравится стабильностью хоть в этом. Потому что все, что я могу

рассказать о ее жизни, – сплошной хаос. Мать-холерик, отец-меланхолик, брат-мизантроп, школа с физико-математическим уклоном, филологический вуз, маркетинг в Австрии, шахматы, ландшафтный дизайн, обреченная любовь к поэту, потенциальная любовь с банкиром.

Самогон из бутылки нюхает. Вообще, она не дура. Точно не дура. Но иногда да.

– Когда замуж, Дианочка? – стандартный вопрос от Мельника, взгляд которого, шастая по столу в поисках идеальной закуски, натывается на дочь друга.

– Подожди, ей еще год учиться, – спешит за Дэ ответить мать.

– Ой, сколько можно ей учиться! Будет сильно умной – замуж никто не возьмет. И вообще, пора внуков для нас рожать! А давайте выпьем за детей! – закрывает тему отец.

Я же знаю, как она относилась к Жене. Мы никогда не говорили о нем, но это было очевидно. Возраст. Гормоны. Нестабильность психики. Первая любовь.

По вечерам они смотрели в ее комнате черно-белые фильмы. Феллини, поцелуи, бутерброды: бородинский хлеб, мед, а сверху малосольные огурцы. Пищевое уродство. Но ели же оба.

– Поэт? Замуж? Ты в своем уме? Может, хотя бы за художника? – пытался шутить отец.

– Где вы жить собираетесь? С его мамой? Фу! Чем питаться будете? Рифмами? Ха! Только через мой труп!

Любимый козырь матери в любой игре – ее труп.

Дэ тихо плакала. Но на бунт не решилась. Родители отправили ее учиться в Вену.

Снова стук – еще гости.

– Дианочка, беги открывай, Евгений приехал!

Побежала, малахольная. Евгений, но не тот.

А у меня желание пребывать с людьми, еще и в таком количестве, заканчивается. Жду мяса. Пью морс. От запаха вина меня воротит.

Дэ возвращается. Румяная. Щеки и даже уши красные. Целовалась с ним, что ли? Евгений этот позади. Два метра перспективы – банкирский клерк и бывший спортсмен.

Хотя Женя, который поэт, мне тоже не нравился. Стихи хорошие, а он нет. Не потому что ревную. Глупости, с чего бы это? Он даже не протестовал, когда она уехала. Отпустил. Вегетарианец. Как такому человеку можно верить?! Не ждите от меня толерантности к непохожим: не

приучен. Детство во вседозволенности. Эдипов комплекс. Нарциссизм. Снобизм и ханжество.

– Готово мясо? Мальчики, несите скорее! Умираю от голода!

Надо как-нибудь подсчитать, сколько раз за день мать умудряется умереть.

Мир перенаселен. У мангала толпа с тарелками носится, еще и сталкиваются на поворотах. Солнце садится. Холодает. Надену капюшон. Евгений в футболке. Победоносные бицепсы и эспаньолка. Дэ никогда его не полюбит.

Доедаю свой стейк. Пора уходить.

– Да, да, сейчас вернусь.

И за спиной:

– Та не жди его скоро. Женечке салатика подложи.

Давно они смирились с моей интроверсией.

Но я точно вернусь. Видел, в кастрюле еще сырое мясо осталось.

Так гремят посудой – на втором этаже слышно. Не буду ничего читать, полежу минут пятнадцать, переварю мясо. Включил аудиокнигу. Никогда не надоедающий Оруэлл, чтобы долго не выбирать. Когда я сыт, я не читаю, а слушаю. «Все, что пахло порчей, вызывало у него надежду...»

У меня тоже.

Совсем темно за окном. Уснул я, что ли? Уснул. Галдят на улице. Как мне вообще удалось заснуть? Открыл окно. Загалдели объемно, но все так же беспредметно. Воздух пахнет илом и мятой. И яблоками. Подняться бы с кровати и пойти сорвать – прямо под окном у меня висят, кислые, хоть и спелые.

Слышу треск в камышах. Возня.

Дэ? Юбка ее желтая. Точно Дэ! С Евгением обнимается. Кто ж еще может заслонить собой луну?! Поддалась на папины желания и мамины советы. Променила Женю на Женю. Не поймешь этих женщин: то романтику им дай, то соответствие общественным ожиданиям.

Целуются. Такое чавканье над Днестром стоит!

И это они хотят назвать любовью? Меня воротит на расстоянии двадцати метров. Представляю, как им там, рядом друг с другом.

Никогда не женюсь.

Возвращаются влюбленные назад, к компании. За столом голоса все выше и выше. Совок уже обсудили. На девяностые перешли. К новому времени подбираются.

Музыку свою ностальгическую включают. Петровичу спасибо за Летова, уважаю. Запах, какой запах! Вторую партию жарят. Придется спуститься.

– Диана! Я же недавно Женьку встретил! – вдруг орет Петрович.

– Какого Женьку? – в момент произнесения вопроса отец и сам понимает, какого.

– Динкиного, бывшего, – ляпает Петрович, переводя взгляд на Женьку настоящего.

– Ну и что, Василий? Какое нам до него дело? – невозмутимо вставляет мать.

– Я с внучкой был. Мы поздоровались, «как ты, что ты», и разошлись. Настенька мне его потом в «инстаграме» показала. А там сотни тысяч подписчиков, три книги издал, ездит по Европе с литературными концертами!

– Да ладно? – глухо спрашивает отец, пытаясь пережевать информацию.

– Говорю же, разбогател на поэзии! Машину даже купил, – глаза сидящих за столом округляются.

– Стихами??! Ты слышала? – обращается отец к Дэ.

– Слышала, – вытирая раздутые губы, говорит та.

– Что-то я его не рассмотрел, не понял. Быть же такого не может. Стихами...

– Может. Все, папа, в этом мире может быть, – равнодушно отвечает Дэ и прижимается к правому бицепсу качка.

Я снова поднимаюсь на второй этаж, к себе. А мне даже понравился сегодня Петрович. Не пустой пришел – с хайпом. Надо же. Бедная Дэ. Напьется сегодня.

Снова из окна треск камышей. Удивительные люди эти взрослые. Почему, как только напьются, на любовь их тянет? А до этого что, нет? Не любитесь? Качок Женя не пьет, с ним все ясно: Дэ молода и прекрасна, можно и трезвому с ней целоваться. А вот она как собирается – так всю жизнь и пить?

– Мама, откуда дети берутся? – спросит ее мой племянник. И она смущенно, но честно ответит:

– Из бутылки красного вина.

Подошел закрыть окно. Комаров уже нет, но с улицы доносится человеческое жужжание. Раздражает не меньше.

Это уже перебор, Дэ. Что за страдания? Присела на корточки, сгорбилась, голову вниз опустила, на воду смотрит. Ты еще прыгни туда! Низ юбки свесился с моста в воду: не убрала его.

Черная вода с серебряными отблесками луны. Дэ наклоняется. Плавать же не умеет. И чего там сидит, что высматривает? Плохо мне видно: темно совсем. Разрыдалась бы, что ли. Качок бы прибежал, пятерней слезы утер, на руках к столу понес – и забылось бы все, и полюбила бы даже немного его за это. Но нет, не плачет, точно не плачет: линия плеч обреченно замерла.

Долго сидит. Неподвижно. Хоть бы не упала. У моря живет, а плавать не научилась. Вот так сиганет сдуру сейчас или споткнется пьяная – и все, конец! Не окончит магистратуру! Пропадут все оплаченные знания вместе с новой юбкой.

Я, правда, тоже до сих пор плавать не умею.

О чем думаешь, Дэ? Скажи еще – о смерти. Неужели тебе так страшно жить, что ты думаешь о таком варианте развития событий? Дэ, моя милая Дэ. Там тебя тоже ничего не ждет, хотя ты веришь, я знаю. А здесь хоть мясо вкусное. И вино. Ты же любишь вино.

Так долго сидит и сидит, и никто ее назад не зовет. Никто даже не заметил ее долгого отсутствия. Почему-то мне кажется, что она улыбается. Думает, что может сделать это? Думает, что в любом случае всегда сможет просто прийти сюда и прыгнуть? Думает, что всегда есть выход? Если совсем устанет себя жалеть, то сможет прекратить вот так?

Этим она меня ставит в очень неловкое положение. Если прыгнет, я же не побегу. Но надо хотя бы крикнуть. А нужно ли ей, чтобы я кричал? Или лучше просто улыбаться, как сейчас она? Чего ей хочется больше – спасения или улыбки солидарности? Что я могу ей предложить?

Обняла себя руками за плечи. Я непроизвольно повторил ее позу.

Отойди уже от воды, дурочка. Не сделаешь ты этого. Ни сегодня. Ни когда-либо.

А все равно она настоящая. Живая. Подпорченная – и настоящая. Как она в этом мире будет жить? Что ей тут и с кем делать? Ладно я. Как-то разберусь. Мне все равно легче. Все еще существующий патриархат, хотя Дэ пытается это отрицать, не просто существует, а господствует. Я – наследник, я – красавчик, что бы ни творил.

Хотя я ничего и не творю. Я всегда в своей комнате или здесь, или в городе. И в школу не хожу: учусь дистанционно.

Иногда я все-таки хочу другие города увидеть. Мак-Мердо<sup>1</sup>, например. Чтобы людей поменьше: шумные они все слишком.

Просто вернись за стол, Дэтка.

Или уже сделай это! Удиви меня сегодня. Представляешь: ты – в воду, все сбегутся, крики, шум, Мельник-мужчина бежит позади всех, потому что еще успел допить рюмку водки. Петрович снимает ботинки и прыгает в реку. Мать в истерике: «Я умру, если умрет она». Отец ныряет вслед за Петровичем. Качка держит Мельник-женщина: нечего троим там барахтаться. А потом они вдвоем держат безутешную мать.

А ты ушла на дно Днестра.

Из-за любви. Большой настоящей чистой искренней любви, в которую тебе очень хочется верить, о которой ты мечтала всю свою жизнь, начиная с того момента, как робко, кривыми ножками сама пошла без поддержки матери в год и четыре, и до того момента, как в тумане встала из-за стола и очнулась на мостике. Проблеск надежды. Поэт Женя. Любовь. Ночь. Черная вода. Не сразу спохватятся. Великий акт ради великого чувства. А знаешь, сделай это! Решись! Решись сейчас! Окунись в эту бездну, в надежду на любовь. Пусть и чувствовать ты это будешь всего несколько мгновений, но настоящих, тех, которые и должны по большому счету называться жизнью. Ради любви. Всё существование до этого момента не было так полно любовью, как ты можешь его наполнить прямо сейчас. У тебя есть шанс оправдать свое появление на свет, а главное – этот мой бесконечный скучный бесполезный день.

Ну же! Давай! Я не буду кричать и звать на помощь! Дай нам всем эту веру в любовь. Все наконец-то поверят: и мама, и папа, и твой качок. Все за столом, все в городе. И обязательно поверит Мельник-женщина: она давно ждет такого знака от кого-нибудь.

Прыгай! Зажмурься и прыгай! Я тебя не подведу, я промолчу. Как тогда, помнишь, когда ты слопала две коробки конфет и сказала, что это мы вдвоем сделали. Вот сейчас закрою окно и отойду от него. Я ничего не видел и ничего не знаю. Но я знаю тебя, бедная Дэ. Ты не сможешь мириться со всем этим всю жизнь. Ты другая. Но ведь правда? Ты

---

<sup>1</sup> Мак-Мердо – город, порт, исследовательский центр в Антарктике.

другая? Не дай мне поверить, что ты такая же, как они. Нормальная. Только прыгни.

«Если цель – не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая, в конце концов, разница?..» – у этого диктора идеальная дикция, но мало эмоций.

Крик. Женский. Мать. Вот чем Дэ похожа на отца – привычкой беспрекословно подчиняться матери. Доминантная мать – это приговор. Или спасение. Просто позвала Дэ к столу. Та просто встала, расправила складки на юбке и медленно пошла прочь от черной воды. Иди в жопу, Диана. В жопу Петровича.

## Авария

*Одесский эпос*

*Действующим лицам с любовью.*

...Утром ОНО двинулось на город. Оно легко пролезло сквозь горячие пальцы города, минуя канализационные трубы — идеально отлаженные пути — и выступило из щелей и решеток, плохо заделанных пазов и люков - наружу...

Солнце ещё не встало, зловоние было легким, терпимым, почти нежным. Так пахивают отливы после ночи, отдавая квартирам запах слитой за ночь мочи. Так разят старенькие забытые помойки, тихо срыгивая зловоние, тут же уносимое ветром в сторону - в степь...

Никто ничего не понял. Дворничихи истово мели тротуары, готовые принять пешеходов. Через час город пойдет на работу. В 7 утра началось...

Дерьмо показалось на нашем квартале. Не обращая на него внимания, перепрыгивая через булькающие жидкой похлебкой люки, школьники неслись в школу... Только один мальчик, задумавшись, с большим интересом смотрел в люк, вспоминая неприличное сновидение, долго ковырял в носу, потом спохватился и пошел в класс.

В 8 утра зазвонили телефоны спасательных служб. В 9 утра была объявлена тревога. Дерьмо хлынуло на прекрасные одесские улицы и, оплывая почтамты и банки, двинулось в поход на окраины..

- Опять где-то лопнула труба, - задумчиво молвила соседка.

- Странное утро сегодня, - сказала вслух Соня Дирижабль, самая интеллигентная дама двора.

Суля пришел с работы весь мокрый... Он куда-то упал.

- Ваше белье сегодня странно пахнет,- сказала мадам Цеппельштейн.

Дора Хромая и дворничиха Клава долго совещались.

- Вся Госпитальная в говне... Что это значит?

- Надо узнать! Вы звонили по телефону? Надо позвонить по телефону; звоните в службу быта и газа.

- Поздно. Поздно звонить. Вам же сказали — вся Госпитальная в этом... в говне.

- Действительно. Просто дышать невозможно. Вот это номер!

- Давайте закроем ворота. Вы знаете, в уборную уже нельзя зайти: там всё буквально поднялось... Мама моя, такого я еще не видела!

- Геня, вы слышите, кругом говно. Что вы смеётесь? Хорошенький смех! Говорят, в тридцать третьем двое уже утонули.

- По-моему, это из вашего люка. Вы всегда его плохо закрывали. Все свидетели, что вы плохо закрывали ваш люк... Нет? Я вас давно предупреждала.

- Через час мы все погибнем. Я знала, что так будет.

- Что вы валяете дурака? Какой люк? Просто в Беляевке лопнула водонапорная башня, и вся канализация пошла обратно. Только что мне сказала Дора.

- Только без паники. Я, на минуточку, позвонила куда надо. Уже принимаются меры. Мне сказали, что кал остановят... И до обеденного перерыва всё будет очищено.

- Ну-ну... Вашими устами...

- А я вам говорю, что через полчаса говно будет здесь.

Я не мог больше оставаться дома. Я решил оббежать всех знакомых. Но дальше Павлова я не пошел. Многие там уже были...

Игорёк встретил меня в кальсонах, умирая от смеха.

- Я так и знал, что ты придешь. А как же иначе? По-моему, через полчаса все будут здесь. Как это ни странно, но наш квартал пострадал меньше всего. Заходи. Юра уже тут.

Я вошел.

- Привет. Послушай, по-моему, страшно воняет. Ты не находишь?

- Фимочка, ты — прелесть! Ну, конечно же, воняет. Все это находят. И уже давно. Нет, в самом деле. Черт знает что. Просто удивительно: кругом говно.

- Откуда?!

- Ты меня доконаешь. Я знал об этом еще вчера. Но не хотел говорить. Этого следовало ожидать. Неужели ты ничего не понимаешь?

- Откуда же ты знал? Брось, откуда ты мог знать?

- Милый мой, я знал об этом еще в десятом классе! Знал, что так будет. И почти не ошибся в сроках. А ноги, пожалуйста, вытри. Всё-таки... нечистоты. Вот так. Теперь заходи. Все уже почти в сборе.

- Ребята, что же будет?

- Ничего не будет. Силами населения всё образуется. И говнецо потечет обратно своим путем.

- Ну, знаешь... Это уж чересчур.

- Чудак. Шучу.

У окошка сидел, давясь от смеха, Юра.

- Юрочка, это же ужасно! Чему тут радоваться? Если на улице, извините, говно?

- Это как посмотреть. Тут мы многого не знаем. Это всё - сюрреализм. И всё такое. По-моему, это остроумно. Давайте лучше писать пьесу. И сценарий. Одновременно. Про то, как все, как ни странно, остались живы... И умываются нефтью. Представляешь? И прочее...

Юрочка веселился.

Вошел Толя. Очки его запотели. Лицо было свежим, но озабоченным.

- Ребята, мне не до шуток. На углу я снял очки и понял, что это - настоящее говно. Как тебе это нравится? Мне - совсем нет. Это чья-то дурная шутка в чуждой мне манере. Но пока это пройдет, надо покушать. Я еще не завтракал. Дерьмо — это еще не причина, чтобы не кушать.

- По-моему, ты прав. Самое время.

- А что? По дороге я купил колбасу. По твердой цене. Ты знаешь, она чайная. Я взял её без очереди. Я взял её, однако, с трудом. Но мне дали. Я сказал им, что я — спасатель-аквалангист. И показал удостоверение личности наладчика... Ну как? Сила. Меня на руках вынесли из магазина. Уже с колбасой.

- Ребята, надо покушать. Чему быть, тому не миновать. Не надо думать о том, о чем не надо думать.

Выйти нам было уже невозможно. Дерьмо прибывало, Павлов двор был запружен.

Как писал поэт «дом-хлебок седной укрыло». «Выпеченных щадев» было предостаточно. Кто-то предложил забраться на крышу. Это показалось нам интересным.

Сверху мы увидели много любопытного...

На крышах было уже много народу. Друзья-художники сидели на деревьях. Зажав нос, выше всех сидел Нуревич и помутившимися глазами смотрел на медленный поток, огибающий улицу.

- Боже мой, Боже мой..! - роптал он. - Это топь. Цветное болото... Вонь... Ужас. Мы погибли. Рихтер был прав. Боже мой, Боже!

Потом его стошнило.

Внизу многие тонули. Но никто не кричал. Поразительная тишина стояла вокруг.

- И божий дух носился над водою...

На соседней ветке меланхолически сидел Миша.

- Мальчики, всё это - фигня. Происшествие в стиле Рабле. Всё это уже было, было... Ну, хорошо, ну говно, ну нет говна. Какая разница? Конечно, смердит. Но ведь всегда смердело. Всё это скоро пройдет... А дальше что?

На нижнем сучке нервно смеялся Валик.

- Вот, не вовремя... Мне надо плакетки сдать, а тут какая-то фигня, наводнение. В жизни столько говна не видал! Я представляю себе, какая в фонде суматоха — там с утра совещание, а все слиняли на деревья. Обхохочешься!!

На верхушке тополя веселился Люсик, обозревая застрявших.

- Бенемунес, мальчики, этот идиёт на соседской ветке меня морочит: откуда ты взял, что Дофиновка тоже в дерьме?! Ты хочешь меня лишит иллюзий, да? Ты мудака. Я вижу отсюда больше и дальше, и мне Дофиновка открывается сверху чистой, как слеза. Вся в утреннем тумане и дымке. А какие там сейчас помидоры! Хочешь посмотреть? Лезь ко мне. Тут воздух - амихай! Слушай, тут просто санаторий. Мальчики, ни у кого не найдется бутылочки боржомом? Она была бы очень кстати. Нет? Ну, нет, так нет. Посидим — увидим... Плюньте на это дерьмо и поднимитесь ко мне. Тут просто фламандские виды!.. И потом, тут девочки - в соседнем окне. Просто селфиды!

На крыше у самого бордюра стоял, расставив руки, Петя Рэй и тихо хихикал.

- О, вы тоже тут. Это так интересно. Все в сборе. А я измазался. И теперь никто не поймет, какого я цвета. Ой, я умру от смеха. Аркаша опять надел свои любимые туфли. Я тут уже давно стою. Мне интересно! Смотрю на то, как вы боитесь... Я приглашаю вас помолиться. Мы никогда так в жизни не воняли. Самое время молиться. Вы все отсталые люди. Не понимаете... Или лучше давайте читать стихи. За плату! Представляете? Я читаю, а вы мне платите по рублю за стих.

«Что это за штымп там размахивает руками?» - подумал Дюльфик и крикнул:

- Послушайте, вы случайно — не ударник из ансамбля Дворца студентов «Молодые голоса»? Это не вас я видел вчера загорать на Большом Фонтане? Прыгайте сюда, у

меня для вас есть одно сухое место! За один анекдот из загробной жизни. Ну, что же вы размышляете?

- Да-а... А дерьмо всё прибывает, - заметил Павлов.- Надо готовиться к худшему. По радио ещё утром сообщили, что начали работать все насосы города и области... Что же это — опять обман?! По-моему, человечество вырождается на глазах. Надо же спасти людей! Хотя... надо ли?

- Всё-таки надо... Посмотри, кто это плывет... Очень знакомые контуры...

- Это же Хаим! Вот растяпа, не мог забраться чуть повыше. Дурак!

Игорь прицелился и тут же бросился вниз. Раздался нехороший шлепок.

Энергично разгребая дерьмо, Игорёк приближался к тонущему. Хаим размазывал цветные слёзы, всхлипывал и шептал:

- Зачем, зачем ты это сделал? Всё равно... всё равно...

Игорь нырнул и подплыл ещё ближе. Стиснув зубы, он думал: «Надо же спасти этого идиотика... Вечно он меня находит. Вечно он держит меня в напряжении. Вечно я за него в ответе», - и с трудом вытащил Хаима на ближний сук.

Мимо в самодельной гондоле проплыл Гирш.

- О! Гриша! Куда же ты? - спросил с ветки Миша.

- Извини, Миша, на работу! - крикнул Гирш и поплыл дальше.

- Звони.

Между тем, время шло. Как видно, насосы всё-таки не работали. Спускаться было рано. А спуститься хотелось.

- Как видишь, Фимочка, все мы сидим глубоко в дерьме, - сказал Лангер. - Я не удивляюсь, я просто констатирую. К этому следует отнестись философски. Перспектива сдохнуть именно в дерьме, по-моему, очень явно вырисовывается... Говоря шахматным языком Хосе Рауля Капабланки, все мы в глубоком цейтноте. И всё же я не отчаиваюсь. Всё можно поправить. Как ты думаешь, нас не могут спасти с воздуха? Подобные случаи уже бывали в мировой практике. Не будем отчаиваться. Хотя случившееся оставит неизгладимый, я бы сказал, несмыаемый след в нашей памяти... Во всяком случае, скумбрии в Одессе ещё долго не будет. Лет семьдесят. По моим скромным подсчетам, увы, в прибрежных водах слишком много дерьма. Я правильно развиваю свою мысль? Я доходчиво объясняю? Но я ещё не кончил. Я квалифицирую

случившееся как ненастье. И всех нас это должно, по-моему, объединить. Извини, если я тебя задержал.

- Ну что ты, Саша, ты меня не задержал.

- Всё-таки нельзя так много болтать в таком положении.

- Почему? - искренне удивился Люсик. - Послушай, а где наш маленький ингермончик Аркадий? Погиб одним из первых? Нет? Тогда я за него рад. Клянусь честью. Он мне симпатичен. Ты посмотри, что делается, а? Идет большая стирка... Мне надоела эта высота. И потом мне пора в мастерскую. Дульфан не может так долго бездельничать... Какой-то кошмар! Что они себе думают? Я не Христос, чтобы идти пешком по водам. Я пожалуюсь. Другие как хотят... Ты посмотри, какие девушки тонут ни за что и без любви! Какой шарман! Надо им протянуть руку. Обратите внимание на этого коца - ему мало окружающего дерьма, он ещё нырнул в люк! Представляю, какой он там ловит кайф! Нет, что делается? Лучшие люди гибнут. Аристократы пера и кисти. Но вот этому, справа, - ты видишь? - с таким идьётским выражением лица - ему я руки не подам. И не потому, что он должен мне три рубля и год не отдает. Я не мелочный. Но только потому, что он - коц. А та фондовская падла пусть тонет. Это будет только справедливо. Меньше вони...

На ветках шли разговорчики.

- Ты посмотри, какие цвета! Какой цвет! Какая абстракция! Миро и Моранди тут делать нечего. Какие пласты цвета... Надо уметь абстрагироваться. Если ты художник, а не...

- А не дерьмо? Ты это хотел сказать?

- Вот именно. Нет, в самом деле — это надо рисовать тут же, не откладывая. Жаль, кистей нет. Правда?

- Брось, брось! Всё это — пижонство. В такой ситуации...

- Именно в такой ситуации! Нет, ты посмотри — это же Фальк, Раушенберг! Дульфан, наконец! Сколько алого и коричневого. А предметность... Просто здорово. А эти прожилки зеленого и желтого. Нет? Согласитесь, что я прав. И потом...

- Берегись! - крикнул Гаус и сделал резкий вираж в сторону: подмытый дерьмом старенький домик на Чижикова стал медленно оседать и грозил завалить перенаселенное дерево. Посыпались кирпичики. К счастью, никого не задело.

- Вот это уже нехорошо! - произнес Миша и протянул Шуревичу руку помощи. Но Шуня слезть отказался. Он надежно привязал себя ремнем к верхушке и повис в пространстве.

- Дело твое, - молвил Миша. - Но я советую... Если есть шанс. Хотя не вижу разницы.

«Вот пугливый народ», - подумал Хрущик и прочно закрепился на сучке.

Время перевалило за полдень. Ясное одесское небо слегка посуровело. Над Привозом показались тучки. Неожиданно пошел дождь. На деревьях возникло движение.

- Я говорил, что все правильно. Наконец мы очистимся... - сказал Петя и подставил под дождик рыжую спутанную бороду.

С суперфосфатного завода несся живительный запах серы. Вспыхнула молния. Над Бугаевкой глухо заворчал гром. Дождь припустил сильнее.

- Это класс, ребята! - крикнул Толик, заплясал по крыше и стал бурно умываться под дождем. - Этот дождь мне на пользу.

Витя хладнокровно смотрел на улицу из чердачного окна мансарды и задумчиво курил «Беломор». Внизу, по пояс в дерьме, уже час стоял Павлов, отрешенный от всех, и сосредоточенно что-то писал на картоне. Диким вдохновением горели глаза...

Он работал. С завистью смотрели мы на него.

- Бенемунес, мальчики. Я весь промок... - пожаловался Дульфик. - Но я не из тех, кто смиряется... Девочка, вас случайно не Соня зовут? Дайте вашу руку...

И через мгновение он исчез в проёме окна.

Высоко над городом, на церковном куполе Преображенского собора, держась могучей рукой за крест, стоял Сыч. Дождь не щадил его. С ужасом глядя вниз на тонущий город, отдавая ветру и ливню седую голову, королем Лиром казался он.

- Как жить? Как теперь жить? - вопрошал он, и слезы текли по его лицу. И вода текла по голой татарской спине (свитер он отдал кому-то из пострадавших).

- Ты видишь, что делается! ОНО снова пришло в движение. По-моему, это - конец. Хотя это и несправедливо... А может быть, это — возмездие? - говорил Павлов, и пугающая правда была в его словах.

- Но за что?! За что возмездие?

- Как?! Ты ещё спрашиваешь, за что? Тогда ты достоин этой участи. Как, впрочем, и все мы. Все!

(Все виновато молчали.)

- Но, с другой стороны, было бы обидно не досмотреть всё до конца. Другого случая может не представиться. Закурить есть?

Нас было семеро под ветхой чердачной крышей ковчега, заливаемого водой и дерьмом, и случившееся ещё больше сплотило нас. Всех нас объединила эта сочная, богатая витаминами *среда*... Все мы сидели в теплой, позолоченной лучами заката, медленно убывающей жиже и ждали конца потопа.

Где-то далеко за линией крыш в закатной воде грозно накренился Оперный. Часть центра провалилась в преисподнюю катакомб.

Толя Морозов оживленно комментировал события:

- Вы понимаете, ребята, тут не просто поломка или нехватка труб — тут перст Божий! Большевики потеряли чувство меры. Вы понимаете? Давно надо было отказаться и уйти. Так нет же! Такого не было со времен Римской империи, со времен Тиберия и Нерона, понимаете? Когда весь Рим чуть не захлебнулся, понимаете, в первобытном дерьме. Сенат, - это их обком партии, - пожалел денег, несколько миллионов награбленных сестерций, для ремонта акведуков — и в результате вся канализация Рима была парализована... Вы понимаете, какая подлость? Они поступили точно, как поступили бы наши: нет денег, и всё. Пусть всё летит... Пусть пол-Рима накроется, лишь бы их виноградники на холмах были в порядке. Точно как наши. Только у древних были хоть какие-то понятия о морали, совести... Корнелий Сулла, правда, сильно испугался, когда стал тонуть его дворец, но несколько сот рабов и солдат на руках вынесли его семью, добро и рухлядь из пламени потопленной провинции. Наводнение тогда было не из слабых. И водопровод, сработанный ещё рабами Рима, работал исправно. Не чета нашему. Кстати, он спас себя тем, что объявил войну соседней Испании и отвлек народ от вони и налогов.

А подводная лодка на Дерибасовской? - так это тоже на случай полной катастрофы. Чтобы можно было удрать, как в ковчеге. Задраить люки и сквозь свежее дерьмо уйти (без нас) в Средиземное море. Подонки!... Извините, если я громко говорю. Но я слегка оглох после Ватерлоо. Вы понимаете, пушки так палили, что Бонапарт затыкал себе уши ватными тампонами. Генералы просто диву давались,

как это так глубоко в распоряжение войск проник штатский. Да ещё еврей.

- Толя, опомнись, что ты говоришь?

- И всё-таки ещё не всё потеряно, - бормотал я. - Вот увидите. Всё как-то выправится.

Павлов выразительно посмотрел на меня.

- По-моему, ты на что-то ещё надеешься, на что-то уповаешь, без всяких на то оснований.

- Вообще-то, ребята, давно пора умереть,- сказал Юра, который всё это время молчал. - Я вам удивляюсь. Надо умирать, а вы не хотите. Смешно.

- Заткнись, Юрочка. У тебя давно была такая возможность. Но ты ею не воспользовался. Почему-то.

- Это всё неинтересно. Вот если бы стреляли, и у всех нас были бы красные банты, тогда другое дело. А так - скучно. Не остроумно.

- Болтун ты, как я посмотрю. Ну, ладно. Кажется, дождь-то кончился?

Мы выглянули. Дождь действительно пошёл на убыль. Потом вдруг перестал.

На деревьях никого не было. Странно...

- Странно, правда? Куда все подевались?

- Ничего странного. Дождь кончился, и все уже давно в баре.

- В баре?! Ну, знаешь... А дерьмо?

- А что дерьмо? Именно к дерьму-то и легче всего привыкают. Очень даже естественно. Кончился дождь, и это надо было отметить.

- По-моему, всё правильно. Пора выходить.

- Интересно, что сейчас все делают? - назидательно сказал кто-то.

- Хочешь, расскажу? Хрущик в бар не пошел. Дома, наверное, что-то строгают. Вика вообще не выходила из комнаты. Она уже давно никуда не выходит. Стоит, наверное, у окна, горбится, исступленно курит и говорит кому-то: «Ты знаешь, я просто ожила от всего случившегося. Нарушено, наконец, однообразие жизни. На меня хлынули воспоминания детства. И теснятся стихи. Я давно себя так хорошо не чувствовала».

Хрущик ищет что-то и злится. «Любят, падла, чужое и хорошее!» Потом находит фломастер. Оказывается, он лежал в ботинке.

- Брось, всё ты выдумываешь. Но это интересно, - сказал Павлов.

- Наоборот. Это не интересно.

Вечерело.

- Всё достаётся людям... - задумчиво молвил Игорёк. - Странно, что многие живы. Я рассчитывал на другое...

- А что делает Гриша? Представь себе, что он сейчас делает.

- Очень даже просто. Гриша уже дома. Брезгливо разделся и принимает ванну. Читает Рильке... Сочиняет Шурику письмо. «А у нас тут был великий рухл», - напишет, наверное, он. Потом расскажет ему о дуальной экзогамме, имплицитно выражающей пафос превращения хаоса в космос... Что-то в этом духе. Потом выпьет рюмашечку и позвонит Мише... И рано ляжет спать.

- Да-а... Красиво. Однако пора идти. Пора спускаться...

Город отряхивался от воды, полной грудью вдыхал облагороженный ливнем сложный запах.

- Надо написать Матизену в Новосибирск, он должен это оценить. Наверное, скажет, что всё это живо написано и напомнило его счастливые годы в Махачкале...

Город уже зажигал свои фонари. Прохожих было мало. Трамваи не шли.

Вспомнилось нам также незабвенное холерное лето, когда о дерьме только и говорили, и думали... Мы тихо приходили друг к другу в гости и долго молчали, испуская грех многоговорения...

Зашел как-то к Шурику, был там, по обыкновению, и Гриш. Собирались обедать. Тщательно мыли руки, кипятили мыло, посуду... Подали борщ. Я мучительно отказывался.

- Напрасно. Фима, - сказал Шурик. - Может быть, это последний борщ в твоей жизни.

- Шурочка, нельзя так шутить, - укоризненно молвил Гриша, но от борща не отказался.

Жизнь продолжалась... Лето было в разгаре...

## Пирожок

Господин Пирожков ненавидел котлеты! Он предпочитал бургеры. Белорусскую картошку не ел, из овощей — только брюссельскую капусту. Жванецкому не жаловал даже кислой улыбки, зато над шутками Джорджа Карлина хохотал в голос.

Облюбовал все скамейки в привокзальном парке, старом друге и свидетеле многочисленных ссор с женой Маней.

— Мари ведёт богемный образ жизни, — говорил он Петьке и доставал из кармана старого драпового пальто помятый носовой платок с вышитыми инициалами. Платок он драматично прикладывал к левому глазу, на правом уже несколько лет гнездился халязион.

Петька улыбался, обнажая три золотых зуба, похлопывал Пирожкова по плечу, доставал термос. Вообще, Петька развозил по Привозу пакетированный чай и полурастворимый кофе, но для Пирожкова, своего постоянного клиента, всегда брал термос с настоящим кофе. Им его снабжала студентка Тая, которая снимала у Петьки с женой комнату и, несмотря на то, что сэкономила на средстве от вшей и новых ботинках, всегда покупала себе дорогуший кофе из Нигерии, который молола, потом заливала отстоянной водой и минут семь варила в турке на слабом огне.

Они с женой кофе не пили, гадость редкая. А вот Косте Пирожкову носил, тот не скупился и платил 10 гривен за маленький стаканчик, а иногда даже дарил Петьке букетик васильков. Где он брал васильки в любое время года, одному Богу было известно.

Пирожков делал первый глоток нигерийского кофе, задумчиво глядел вдаль и говорил:

— Мари у меня творческая натура. Художница, понимаешь?

Петька вспоминал, как Маня Пирожкова заливалась самой дешёвой водкой из зелёной бутылки, прямо на скамейке, обложившись красками, и предлагала прохожим нарисовать портрет. Мешки под её глазами были похожи на спальные для крошечных туристов, жирный лоб и щёки отражали свет и мешали разглядеть, что же она всё-таки рисует. Свои длинные ногти Маня использовала вместо тонкой кисточки,

прорисовывая детали. А кончики серых волос то и дело были вымазаны в малиновой краске.

Петька Пирожкову сочувствовал, поэтому и носил кофе, да и деньги брал только для приличия. Играл в игру, в которой Пирожков может позволить себе купить кофе, а иногда ещё и загадочно прибавить: «А есть маршмеллоу? Я люблю с маршмеллоу». Петька знать не знал, что это за маршмеллоу, но всегда говорил: «Сегодня нет, друг».

— Она у меня творческая натура, — говорил Пирожков многочисленным знакомым, когда они спрашивали, почему он всюду ходит без жены, — Мари очень занята. Она разрисовывает бутылки. Ей приходится опустошать их для этого. Она очень занята. Она настоящая концептуалистка. Отдала всю себя искусству.

Сам Пирожков с недавних пор неплохо зарабатывал. Он, вообще-то, человек образованный. Интеллигентный. Преподаватель немецкого. Филолог от Бога. Так он сам о себе говорил. Но последние несколько месяцев работает с биткоидами. Когда Пирожкова спрашивают, что это, он несколько раздражённо поправляет очки и недовольно бурчит:

- Криптовалюта, слышали такой термин? Вот, почитайте. Двадцать первый век на дворе.

Пирожков всегда считал, что родился не в том месте и не в то время. Он был филологом от Бога, а ещё ретрофутуристом. Пирожков полагал, что идеальное стечение обстоятельств для такой неординарной личности - это прошлое, в котором он смог бы предвосхищать будущее. Как славно он мог бы умничать каких-нибудь сто лет назад, вылавливая из абсентового плена зелёных фей и лениво рассуждая о будущем. Но, увы, со временем Пирожков так и не смог ничего сделать. Он признавал: для изобретения машины времени он недостаточно талантлив, а может быть, просто ему не достаёт мотивации. Но место он изменить мог, поэтому на свой 43-й день рождения отправился в Киев и подал заявление о праве на еврейскую иммиграцию в Германию. Мари об этом ничего не знала. Она была из русских, к тому же из пьющих...

Пирожков никому этого не говорил, но он давно поставил на ней крест. Она выставилась только в галерее «Гарбузи» над рюмочной, возле Староконного рынка, и на одну её картину написала морская свинка, которую как раз неподалеку приобрела одна из посетительниц. Казалось бы, это хороший знак, но на карьере художницы можно было

поставить крест после ссоры с Жирюковым, старым и видным художником, рисующим девушек с длинными косами на жёлто-голубом фоне. Ну как – ссоры... Жирюков попытался мацнуть Мари за грудь, кокетливо вылезающую из-под красного платья, опьяневшего вместе со своей хозяйкой, после пятого бокала тёмного «Черниговского». А Мари, как приличная женщина, разбила ему нос солонкой. Господин Пирожков в это время ходил на ворк-шоп по персональному развитию, за который заплатил последние сто долларов от продажи Славкиного велосипеда.

Славка - это их единственный сын. Он любил свой велосипед, они любили Славку. Картины Мани никогда никто не покупал и не купит, а Пирожков вчера пытался приготовить себе лазанью, но его стошнило прямо на кухне, когда наряду с перцем он увидел маленького таракана под тонким слоем дешёвого сыра. Пирожков вытирал блевотину с грязного липкого пола кухни и плакал. Как закончил плакать, решил подавать анкету на еврейскую иммиграцию.

Пусто в доме... Без Славки — не то. А Маня знать не должна. У неё божественный образ жизни. Она опустошает бутылки и разрисовывает. Концептуалистка. Мортидо. Явно выраженное. Так уж вышло, ничем не поможешь. Стремление к смерти и искусство - две шоколадные конфетки в пачке «M&M», главное - не съесть одну за одной, всю пачку. Так можно заработать диабет. Умереть от обжорства. Голодным. Ненаполненным. Маня — дура.

Костя всех учеников разогнал. Составил план, что нужно успеть до эмиграции. Купил семь пар чёрных носков, записался на бадминтон (возле пищевой академии, в среднеобразовательной школе, для восьмиклассек), скачал на телефон приложение по запоминанию новых немецких слов (смартфон подарил один из учеников, которого он готовил для поступления в Берлин), выкурил ментоловую сигаретку со старым приятелем — Осиком. Осик был немолодым, несчастным поэтом. Он носил берет и пытался продавать на улицах свои неловкие стихи, напечатанные на туалетной бумаге. Последний раз Осик писал стихи в 18, в 26 издал, до сих пор продаёт. Пожелтевшая туалетная бумага придаёт важности происходящему и Осик чувствует, что становится частью истории.

Костя выбросил всё лишнее из дома, пока Маня не видела. Купил таблетки от аллергии, зашёл в комнату Славика. Провел ревизию. Выставил на Сландо хорошо

сохранившиеся вещи, синтезатор, старый проигрыватель, объектив «рыбий глаз». Сходил на кладбище.

Спустя долгие месяцы сидения на чемодане с ржавыми замками, ответ пришел. Косте Пирожкову было суждено перебраться во владение свободного города Бремена. Не забыв ещё один важный предмет — полосатую губную гармошку, Костя Пирожков, никому не сказав ни слова, собрал свои нехитрые пожитки и уехал. Мане оставил записку на холодильнике, прикрепленную между двух магнитов. Один магнит они купили лет 25 назад, в Тбилиси, во время их свадебного путешествия; второй в Виннице, - ездили на похороны к тетке Свете, надо было с наследством вопрос решать. В холодильнике оставил молоко и таблетки кальция. На записке: «Я уехал в Германию. Прощай. Попытаюсь организовать тебе выставку. Не бойся смерти, в этом твоя сила. Помни про климакс. Твой муж».

Костя Пирожков любил драматизировать. Посмотрел на записку. Внутри что-то всколыхнулось. Насладился моментом. Ушел, не оборачиваясь, соседского кота не погладил, никаких сожалений. Драматизировать любил, сомневаться - нет. Ненавидел молоко с мёдом, обожал милкшейки. Говорил: «Счастливые часов не наблюдают», ходил на занятия по тайм-менеджменту. Отказывался быть организатором культур мероприятий в школе, где работал двадцать лет, соглашался быть менеджером по ивентам в центре при баптисткой церкви.

Бремен ему нравился, нравились красные кирпичные дома, свойственные для восточной Фризии. Нравилась рыночная площадь, переход старого в новое и нового в старое. «Макдональдс» в здании, которому две сотни лет. Ретрофутуризм по Пирожковски. Город, похожий на него самого. Богемный квартал - Шноор, когда-то обитель ремесленников и бедняков, а сегодня - музей спонтанного искусства под открытым небом. Торчащие из окон чугунные ведьмы, цветастые витражи, длинноногие цапли.

Мане бы тут понравилось. Бехтерштрассе, особенно. Мельницы на валу. Морской аквариум. Рыба...

Пирожков всегда ненавидел эту типично одесскую рыбную сентиментальность. «Биточки с тюлькой», «Килька в томате», «фаршированная рыбка». Ешь, а за твой спиной пять поколений счастливых родственников, которые смотрят тебе в рот и приговаривают: «Ну наконец, ты имеешь шо кушать...» Или что-нибудь в этом роде. Пирожков терпеть не мог рыбу, но предательские ноги привели его к русскому

магазину на Berliner Freiheit. Пирожков смотрел на все эти сухарики «Три корочки», которые всегда запрещал покупать Славке, сок «Садочок», сыр «Коривка», колбаса «радянська», оливье на развес. И аж невольно стало, как захотелось ненавистных котлеток. Сладкого чифира с ложкой, забытой в чашке, стучащей по носу, когда пьёшь эту коричневую бурду. Захотелось Маниных тёплых рук, бабушкиного бульона с мацой, даже этой дурацкой рыбы.

Пирожков посмотрел на наручные часы: стрелок не было. Сам снял. «Счастливые часов не наблюдают». А часы не снимал. Солидные. Маня совсем растолстела. Ноги у неё, как у слона, отёкшие, страшные.

Взгляд Пирожкова случайно уткнулся в корзинку с выпечкой. Маленькие аккуратные руки вынимали пирожки из корзинки, начинали чем-то прямо при покупателе и передавали продавщице — дородной губастой великанше. Пирожков сразу оценил, что размер ноги у той не меньше, чем у него самого. Сорок второй. Понял он это по ушам и ладоням, - ступни никак не меньше сорок второго. Маленькие аккуратные руки принадлежали молоденькой девушке, ассистентке.

— Что это у вас, полуфабрикаты? Пирожки не готовые? — спросил Пирожков у девушки.

— Это рецепт из деревни ближайшей, интересно получается. Пирожки из слоёного теста, но пустышки, с дырочкой посередине. А если кто хочет — мы внутрь добавляем яблочное варенье или апельсиновое, иногда курицу с грибами. Сейчас только сладкие в наличии. Очень вкусно, попробуйте!

Костя Пирожков отошёл от прилавка и замер. Похожее чувство может напасть на чувствительный мозг, если проснуться ночью в туалет или встать без будильника в положенные 6.30. Абсолютная ясность. Ни одной лишней мысли. Весь фоновый мыслительный шум подавлен, вся мыслительная жвачка отлипла от извилин, вся мыслительная икота прошла. Вот же он, ответ. Эти пирожки не мечтают быть ретрофутуристами. Они — пустышки. Они не выбирают место и время. Они просто вкусные, какими бы ни были. Яблочными, грибными, - главное, чтобы свежими. У пирожков есть свобода. Свобода - это чистая теория вероятности. Вариант, ограниченный только одной несвободой - случаем. Кто решает? Маленькие аккуратные руки, покупатель, количество оставшегося варенья? Пирожки становятся теми, кем они есть, в конце концов, а

могли бы быть чем-то совершенно другим. Вот он, к примеру, редкостный демагог. А мог бы быть ослом, фигурально выражаясь, конечно. Мог бы быть гармонистом. Он же даже кинул монетку рядом с памятником Бременским музыкантам.

Четвертый месяц пребывания в Бремене, есть уже квартира по социалу, несколько знакомых из парка, приветливые соседи, русский магазин, польский алкоголик, который травит байки на украинском... И вдруг посреди всего этого озарение - никогда не поздно начинить себя яблочным вареньем. Родиться. Умереть. Стать гением или посредственностью. Купить билет до Одессы. Васильки... Отнести их Славику, вместо того, чтобы дарить Петьке в благодарность за невкусный кофе. Обнять Маню. Отвести её в Шноор за руку, показать кому-то её картины, выкинуть водку. Найти учеников. Потерять учеников...

Вот так посреди цветных упаковок, чипсов «Люкс», кетчупа «Лагидный», солёных помидоров «Верес», подсолнечного масла «Олейна», йогурта «Президент», пива «Оболонь» и шоколада «Рошен», вместо тренингов, книг Луизы Хей и даже вместо фильма «Секрет», Костя Пирожков впервые в жизни начинил себя надеждой.

## Броня крепка

Бабушка Броня была ходячая хохма. Ее легендарная битва с манекеном в берлинском молле пересказывается местными жителями уже лет десять.

Набрав на распродаже кофточек, она криком кричала пластмассовой женщине в шляпе с корзинкой: «Вуис де касса?!» И, на всякий случай, тыкала ей в плечо вешалкой.

- Не, вы посмотрите на нее!..

Дочка Белла прибежала на крики и, растолкав зрителей, пыталась увести возмущенную Броню.

- Мама, ты что?

- Зачем вы потащили меня в эту Германию?! Посмотри, они демонстративно не хотят с нами разговаривать!!

- Мама, успокойся, это же манекен!

- Как манекен? Манекен?!... Ну, знаешь, эти немцы такие молодцы – у них манекены как живые!

Плохое зрение у Брони было с самого детства. Но носить очки она категорически отказывалась, несмотря на все курьезы. Еще бы - она играла в местном еврейском театре и готовилась поступать в театральный, - а тут очки.

Броня не только плохо видела, но и слышала уже неважно. Например, разговаривала с автоответчиком.

- У меня телефонные дети, - жаловалась она соседям, а потом удивлялась:

– Звоню Бузику в Канаду, а он как-то странно отвечает. Он там не пьет? Я ему говорю: «алло», он отвечает: «алло», я ему – «Бузя», он мне – «Бузя».

- Мам, это эхо, ты звонишь через саттелит.

- Не поняла, они теперь не в Ванкувере, а в Сателлите?! - то ли удивлялась, то ли отыгрывала Броня.

Она была на сцене с 15 лет. Там ее - рыжую, дерзкую, не красивую, но отчаянно веселую - заметил настоящий принц из приличной семьи. Пианист, второй курс консерватории, богатый дом - и тут нищая Бронька.

Матриархат у слонов и все морпехи с монастырями Шао-Линя отдыхают по сравнению с дисциплиной и диктатурой одесской мамы. Ее слово не просто закон, а недостающий фрагмент скрижали. Поэтому вердикт был однозначный: нам

такая не нужна. И тут принц взбунтовался. Несмотря на проклятия, запреты и сердечные приступы родителей, он продолжал встречаться с полуслепой Броней, живущей в глубоком подвале с двумя братьями, сестрой и родителями.

Шекспировские страсти нарастали, но тут началась война. Пианиста забрали в армию, старший брат Брони, расцеловав трехмесячного сына, тоже ушел на передовую, сестра со второго курса медицинского поехала работать в госпиталь, а Броня с мамой, невесткой и младшим братом отправились в эвакуацию.

Неделю до Ташкента Броня меняла серебряные ложки на хлеб и воду, а на второй неделе у спящей мамы украли чемодан с последними скудными сбережениями. В Ташкент пришли сначала две похоронки на брата и сестру, а следом за ними малярия. Работала только семнадцатилетняя больная Броня. Одна за другим сгорели от болезни и голода невестка и малыш-племянник. От малярии умерла мама. Вернувшись с похорон, Броня нашла уже остывшее тело младшего брата.

Она вышла из дому и направилась к станции – броситься под поезд. Почти дошла. Но встретила... дядю Сашу - отца ее принца. Того самого, что кричал: «Никогда!». Лысую полумертвую Броню Саша забрал к себе, и благодаря ей восстановил связь с сыном, который по-прежнему писал любимой с фронта.

Жизнь непредсказуемее любого блокбастера и страшней любых пришельцев. В очередной утренней газете - сводка о двадцати пяти тысячах казненных евреев в Одессе. Среди них – вся семья Брониного жениха, оставшаяся дома. Мама, глава семьи отказалась оставлять фамильное гнездо. Деньги ничего не решили.

- Ах ты, проститутка! Мандовошки мне тут развела! Милииция!! - орала Броня в коридоре коммуналки, а сам Отар Иоселиани хохотал на каждом дубле. Броня, вместо прописанной реплики, попросила «своими словами».

- Набрали восьмидесятилетних старух! Они со своим маразмом три слова выучить не могут, а я – как попугай повторять десятый раз подряд, – ворчала она.

Уже в Берлине в 91-м году она снялась в легендарной «Охоте на бабочек», моментально воссоздав дух советских коммуналок на территории Германии. Хотя сначала отнеслась к гению настороженно:

– Пришел какой-то грузин, навешал всем, что режиссер, и дочку допоздна увел – аферюга!

Иоселиани долго доказывал, что это не афера, а потом в печали вырезал самые пикантные реплики.

Бронино сердце заменяло зрение. Она таки дождалась своего принца. В сорок четвертом он вернулся с осколком в легком. Неоперабельном. И поднять правую руку над клавишами уже не мог. Дядя Саша дал благословение - они поженились. А через три месяца Бронин принц умер от раны. Перед смертью он рыдал:

- Профессор, спасите меня, я так люблю свою жену, я не могу ее оставить!..

Домой в Одессу Броня вернулась с дядей Сашей, которому она, ненавистная нищенка из подвала, стала дочкой. Он же через два года познакомит ее со своим дальним родственником Наумом, вдовцом. Наум был старше Брони на тринадцать лет, но «перебирал харчами». После войны на него претендовали сразу шесть вдов. Но эта рыжая языкатая девчонка чем-то его покорила.

Наум пришел на обед в шинели, Броня встречала гостя тоже в шинели – другой одежды не было, и подавала жаркое.

- Никогда не ел такого вкусного, но где же мясо? – удивился жених.

- Немцы съели, - моментально парировала Броня.

Через месяц Наум пришел к ней с приданным–маленьким чемоданчиком и семилетним сыном Борей, чудом выжившим в оккупации.

- Бузичка, - встретила своего уже взрослого первенца Броня. Бузей он останется для нее на всю жизнь.

Выстраданное и уже нежданное счастье все-таки пришло к рыжей девчонке. Бог даст Броне и Науму еще двух общих детей – Беллу и Петю. И долгую, счастливую, шумную семейную жизнь наполненную ароматами фирменных пирожков, оперными ариями мужа и ее хохмами.

Первые напольные весы появились в конце семидесятых. На модной диковинке немедленно взвесили трехлетнюю Ренаточку. Бабушка сняла внучку и подняла весы к глазам.

- Ньюмаааа!! Они продали тебе поломанные!

По любому поводу она ходила к единственному врачу, отоларингологу Грише, – и с давлением, и с сердцем, и с коленями.

- Он та-аакой доктор! - хвасталась Броня, - Одной рукой держит горло, другой делает укол! Представьте: профессор, а простой, как сантехник!

Гриша пробовал сопротивляться и рассказать о профильных специалистах – не вышло.

Однажды у нее в трамвае срезали сумку, в которой лежал анализ кала в спичечном коробке: Броня очень огорчилась.

- Такой важный анализ, а у меня неделю не было желудка! И тут последнее украли!

Броня назвала кошку Нина Ивановна, потому что сумасшедшая тезка-кошатница со двора раздавала клички по именам соседских детей, и присвоила одной имя Бэлка, как у ее дочери.

- Нина Ивановна! - вопила Броня с галереи и торжественно добавляла: - Кыс-кыс-кыс.

Вся ее жизнь, от подвала до семейных вечеров на Канатной, от жаркого Тель-Авива до благополучного Берлина, – одна большая сцена, и Броня блестяще играла свою главную роль. Каждую реплику, каждую секунду.

В Берлине она просилась в дом престарелых - там же так интересно: просыпаешься, выходишь из спальни - и сразу столько людей! Это же чудесно! Ее не взяли, потому что был жив муж, а такие услуги в Германии предоставляют только одиноким.

Броня регулярно опаздывала на самолеты, потому что, например, зашел тридцатилетний внук, и его надо было перед вылетом накормить, или просто досмотреть любимую передачу. Она обзванивала всех подруг взрослой дочери, если та по работе задерживалась после семи вечера; этих же подруг она собирала на званые обеды.

И самая ее любимая коронная одесская хохма – режиссуре, мизансцене и непредсказуемости могут позавидовать Хичкок с Тарантино. В восьмидесятые летом приехали родственники из Ленинграда. Муж, жена и ребенок. В двухкомнатную квартиру Брони и Наума. Детей, чтобы не стеснять дальних родственников, отправили к ближним. По законам одесского гостеприимства Броня готовила, стирала и всячески обхаживала гостей, которые подзадержались на... полтора месяца. В финале Броня спрятала все полотенца из ванной комнаты.

- Броня, нам надо полотенце, - обратился к ней утром обескураженный ленинградец.

- А зачем вам? - коварно поинтересовалась Броня.

- Ну, лицо вытереть, - возмутился гость.

И тут в лучах софитов под барабанную дробь оркестра Броня выдала свое легендарное:

- А у вас после всего еще есть лицо?

## Южная ночь

*(этюд в мармеладе)*

Сладкий миг всё ж, когда в трусы к ней наконец просунешь ладонь, хоть к жеманнице, хоть к покладистой. Сколько б прежде побед ни снискал, всё равно вот не приедается. Это как астраханская осетринка, только вспомнишь, слюнки текут.

И природа располагает — будоражащий хвойный дух, аромат магнолий и кипарисов, сладко-дымчатый, в переливах, тёплый ласковый ветерок, шелест моря, бездонность ночи, и по куполу над землёй звёзды влажные, слёзы счастья, а по соснам белочки скачут, а в бокале киндзмараули, кахетинский апелласьон.

В Доме творчества всё для творчества. Вот твори давай, вытворяй. Рядом тоже есть санаторий, на трамвае две остановки. Так откуда ж в Ялте трамваи? Даже в Поти трамваев нету. Была конка, и та простыла. Ни в Сухуми нет, ни в Цхалтубо. Так, а кто говорит, что в Ялте? Это ж общие рассуждения о приверженности к соитствию всех, кого где бы их ни встретил, хоть в Пицунде, хоть в Евпатории, хоть в Одессе, хоть в Благовещенске, хоть на Северном полюсе, хоть на Южном. И довольно странно, Горацио, что об этом у нас не принято, будто это вовсе не важно, будто мы не к этому призваны, так, соитствуем между делом, может быть, порой, иногда, сдуру, не о чем говорить, никудышнее, мол, занятие, слова доброго не слышать. Так обставлено тут, Горацио, что на чём бы ни подвизался ты да я, и прочие мы, за какими б трудами с нас пот ни лил, всегда заняты главным делом — озабочены светлым будущим, по кирпичику дружно строим коммунизм себе и другим. В этом, друже, и только в этом избываем всё сладострастие. Получается так, Горацио.

А на самом-то деле как?

Первый раз друг друга увидели за обедом, на разных столиках. В Доме творчества завтрак, обед и ужин, и ещё, представьте, есть fiveo'clock, чай с галетами, как в Лондоне. Кто кого там заметил первым? Разумеется, что она, потому как давно приехала, скоро ей уже восвосяси. Новичка заметить сподручней, да к тому же ещё такого, просто в

полный рост Маяковский, очень схож с гранитным на площади, слава Богу, что не гранитный, а напротив, с тигриной поступью, просто глаз вот не отвести, и в толпе бы тоже заметила, это ж надо какой приехал, наконец-то, а то тоска, не везёт на этом курорте, и с чего бы, а непонятно, високосный давно прошёл, отшумела Олимпиада, схоронили Высоцкого и отплакали всей Москвою да всей Россией, ещё много чего случилось, наши вот в Кабуле теперь, но далече Кабул, не слышно, в Доме творчества всегда тихо, в тишине стрекочут машинки отовсюду по номерам, и дорожки по коридорам приглушают звуки шагов, голосов и звонкость порывов, могут явное сделать тайным, аж пока всё не станет явным на Суде, но когда тот Суд? да и есть ли? а вдруг отменят? в любом случае не сейчас, в любом случае это после, а сейчас уже скоро Анне пора к мужу назад в столицу, посвежевшей и обновлённой, чтоб в любви там хранить очаг, да, пора, неделька осталась, а искомое приключение всё никак пока возникнет, это с Анной, чтоб так, впервые, хоть в поклонниках нет отбоя, но не то всё, друзья, не то. Тридцать пять ей, она тигрица, появилась на свет в год Тигра, хоть похожа она на лошадь, но такую, что все хотят, красотой слепит, норовиста, стать играет, просится вскачь, но при этом умна донельзя и с отменным к тому же вкусом, потому и сучит копытами, потому и перебирает, выбирает сама наездника из желающих рядом около, из толпящихся; цокают языками, слюнки капаят, шпоры звякают, да никак вот не звякнут, чтоб в резонанс.

Он возник посреди обеда, и все взоры на новичка — молод, ярк, могуч, как бык, поступь тигра, глаза тореро, никакого сходства с писателем, может статья, шахтёр такой, а шахтёров у Анны прежде не случалось, она б запомнила. Дело в том, что литфонд Союза в не сезон путёвками делится с профсоюзом наших добытчиков на гора нам чёрного золота, «взорвано, уложено, сколото чёрное надёжное золото», и хоть месяц не март, а май, это, вроде, уже сезон, но, видать, раздобыл путёвку, потому как герой труда, а звезды золотой не носит, потому как природно скромн, да к тому ж и без пиджака, золотая в шкафу осталась; и не смотрит по сторонам, будто всё ему тут знакомо, кивнул сдержанно, сел к столу, через пять столов от неё, куда мэтром препровождён, к двум старпёрам и Воробьёвой, та успела уже вопрос, и шахтёр ей уже ответил, здесь не слышно, о чем там речь, но вопрос легко угадать: вы ж откуда такой красавец, где ж вы раньше, мой милый,

были? а ответ читай по губам: меня ангел направил к Анне, так что можете не рассчитывать. Улыбнулась Анна догадкам, в тех же мыслях и Воробьёвой отослала чёрную метку, видно, почта не подвела, Воробьёва на Анну глянула, и теперь ковыряет вилочкой у себя в тарелке котлетку. Анна ищет встретиться взглядом с новоприбывшим Маяковским, ну вот просто же брат-близнец, у того, однако, внимание всё на суп с вермишелью и на соседней, те ж и рта раскрыть не дают, Воробьёва снята с заезда, а старпёры подналегли с двух сторон на новые уши, Твердохлебов и Саблезуб, два собрата по сверхзанудству, оба авторы эпопей про рабочих и про колхозниц, Саблезуб написал «Страду» в трёх томах с золотым тиснением, а потомственный Твердохлебов «Ивановыми» одолжил с подназванием «Сталевары» в двух томах по шестьсот страниц, если вдруг у кого бессонница, на любой странице открой; с важным видом ведут беседу с новоприбывшим, что там в ней, угадать и вовсе несложно, там цитируют себя-классиков. За столом у Анны полегче, нудно тоже, но без апломба, тут все трое в её поклонниках, тут токуют, чтоб охмурять. Драматург Валерьян Заречко, остроумный пошляк, за сорок, Буженинов, бытописатель, называет себя Бальзак, потому что пьёт много кофе, по нему снимают кино, потому он сорит деньгами, курит «Winston», пахнет «Диором», ему, как ни крути, полтинник, и с обеда он подшофе, и Матвей Рубанок, фантаст, пессимист в очках, неказист и заумен, ему под сорок, а на вид ему вдвое больше, как пошутит, так жить не хочется, до него тут Левин сидел, мастер прозы психологизма, с тем бывало повеселей, и вообще с ним другое дело, с ним бы Анна как раз могла б, но, увы, иной ориентации. Драматург, Буженинов и Рубанок развлекают её, как могут, она слушает их вполуха, не вникает, давно наскучило, дарит им улыбку Джоконды, им хватает, чтоб продолжать, но решила вот рассмеяться, может даже, что и не к месту, да погромче, да позаливистой, чтоб внимание обратил, но не глянул, ест с аппетитом и внимает своим соседям, Твердохлебову с Саблезубом, так внимает им, будто те раскрывают ему секреты, о которых всю жизнь мечтал, и теперь вот Господь сподобил, может, попросту он дурак? лицемер так уж это точно, и, наверное, всё ж гранитный, а тигриность - лишь камуфляж. Не беда, и гранит осилим, надо встретиться с ним глазами. За обедом не получилось.

Еле ужина дождалась. Даже сбегала к «файвоклоку», но напрасно, не пьёт он чай.

А на ужине те на месте, эта троица с Воробьёвой, а его стул опять пустует, вот же Зорро неуловимый, и когда устала сердиться, он вошёл под самый десерт. Стрижен наголо, вот придурок. Эпатажник или балбес? Но теперь уж с поэтом сходство не заметит только слепой. И уже пригорел на солнце, и одет иначе, чем днём, в белых брюках и в белых туфлях, в белой тенниске с крокодиллом — над нагрудным карманом с «Явой» в твёрдой пачке полуоткрытой крокодил не больше кузнечика, ярко-красный, даже багровый, пасть разинул да хвост согнул. Это глупо, но почему-то взгляд оттуда не отвести. Чертыхнулась, губ не раскрыв, потому что дрогнула сердцем, испытала сладкий укус. А шахтёр, под Цезаря стриженный, посмотрел ей прямо в глаза. И тогда она чуть не вскрикнула, поперхнулась чаем, закашлялась, Буженинов с Заречко и Рубанок протянули ей три салфетки, и она их, все три, взяла. И сказала себе тут Анна: «Поглядим ещё кто кого!».

Территория в пальмах в кадках, и кусты жасмина цветут. За спиной солнце садится, под обрывом вздыхает море, тихо дышит, мостится к берегу, но никак на нём не уляжется, то отхлынет с шелестом, то прихлынет, твердь тверда, но ласки приемлет, а над плавностью с ароматами, над концертами насекомых, чернокрыло чертят зигзаги вкривь да вкось летучие мыши. В этом теплом душистом бархате южной ночи время желаний, вот придёт сейчас, вот настанет, вспыхнут звёзды, думы угаснут, исполняй всё, о чём мечтал, и не ведай в тот миг печали. Это будет уже вот-вот.

Но сейчас ещё только вечер, и закат ещё не угас.

На скамейке Анна со свитой, не придумала, как избавиться, да и надо ли, пускай видит, для начала, пускай помается, пусть позвякает тоже шпорами, пусть поцокает языком. Только что-то пока не видно на аллее её шахтёра, и терзаниям место есть. Воробьёва, хоть ей полтинник, но в харизме ей не откажешь, дама бойкая, всё при ней, кого хочешь затащит в койку, да и признана по Союзу, имя значимо, все читают, а не только дети и юноши, вот немалое ей подспорье для охоты на жеребцов. Вот нельзя с неё глаз спускать. Где сейчас? И чем занята? Охмуряет бритоголового? На правах по столу соседки. Хорошо б её в поле зрения всё же как-то заполучить. Ну, за этим дело не станет, тут в гонцы любой будет рад.

К свите Анны ещё прибавилось, каждый вечер одно и то же, гравитацией к ней упрямо на орбиту сгоняет спутников, планетоидов, астероидов, и вращаются те, вращаются, по

орбите анноцентрической, толку мало, но жизнь бурлит, вот была и планета Левин, покружилась да улетела, а теперь затайнем шахтёра, и ему так просто не вырваться, не отпустим, не пасть ему лёгкой жертвой в цепкой хватке мадам Воробьёвой, устоит гранит, вот увидишь, только Anne он по плечу, потому как её намерением он соткался тут, не иначе. Но проказливый голосок из глубин её подсознания шепчет Anne, ей указуя, что не только одной лишь ей сладко грезилось о таком вот и во снах, и на сон грядущий, так что нет у неё монополии, кто поспеет, тот и поспел. Воробьёвой мысленно Анна отправляет запрет на творчество в отношении новичка, второй раз уже за сегодня, а умеет, оно работает, но недолго, на час, на два. Это в тонких, значит, телах, а в нетонких, а в плотных, толстых, к Воробьёвой отослан Мымрин, тучный Мымрин с прозванием Слон, он репризы для цирка пишет, бонвиван и рад услужить, пригласить пожилую даму к ним в компанию — благородно, вот направил слоновью грацию по аллее к главному корпусу, один корпус пошёл к другому, а ему вслед советы, чтоб не сдавался, чтоб морально устойчив был.

На скамейке и рядом с нею к трём застольникам Анны ещё тут вращаются пожилой киевлянин, он переводчик, одессит и два кишинёвца, все поэты, сыплют стихами, и девица с кем-то из них. Молдаване радушны и краснолицы, и вино у них «Чёрный доктор», его цвет гранатово-красный потемнел под стать небесам, где чернила залили тушью и зажгли мириады звёзд. Одессит читает стишок про цветок, что засох в стакане и напомнил ему свет звезды далёкой, миллион уже лет тому та угасла, а свет её всё летит к нам, светит в небе каждую ночь и радушным и равнодушным.

Возвращается Слон ни с чем, не сподобился обнаружить он властительницу умов, детских, юных и всяких прочих, ни на месте, дверь заперта, ни в маршрутах по всем аллеям, может статься, пошла на Мыс с новоприбывшим провожатым, обожает купаться ночью, разумеется, без всего. Слон реприжник, он дело знает, дразнит Анну вполне намеренно, разгадав, зачем та ей тут, добавляет с невинным видом, что могла и дверь не открыть, время детское, спит навряд ли, да к тому ж, как знаем, сова, сколько раз убедились в этом, так что, если не отворила, значит ей веселей, чем нам.

А фантаст Рубанок, уняв пессимизм под парами «Чёрного доктора», фантазирует того пуще, говорит, что в его б рассказе обстояло бы дело так: Воробьёва бы отворила, но

не к ним бы сюда пришла, а зазвала бы их к себе на экскурсию по музею, они входят, и там фантастика, но не в смысле, что номер «люкс», а в том смысле, что сквозь него, сквозь сегодняшнюю реальность там пульсирует иномерность, проступают все наслоения тех, кто прежде там проживал, проступают в ярких полотнах, экспонатом за экспонатом, все соития, что случились за полвека в этих стенах; вот прославленный старый классик жарко дышит с официанткой, вот известная поэтесса предаётся страсти с майором из соседнего санатория для военных и их семей, им на смену главный редактор одного из толстых журналов, он в любовных трудах с супругой, не своей, своего коллеги, вот ещё им на смену парочка, и ещё, и так далее, и так далее, и Булгаков тут отдыхает, а сама Воробьева тоже в экспонатах мелькает пятками и не пятками там и сям, то с прославленным, то с безвестным, то верхом, то на ней езда, и, признаться, что аппетитна та, которая там мелькает, а которая гидом тут, та нисколько не смущена, а, напротив, собой довольна, вдохновенно ведёт экскурсию, посетителям она рада, ничего для них не упустит, образованными уйдут, вот как раз уже и пора, всё, друзья, музей закрывается, выставляет нас всех за дверь, гренадёра же, что сегодня объявился у нас к обеду, гренадёра не отпускает, оставляет его себе, пусть расплатится за экскурсию, попадёт и он в экспонаты.

Вот как было б у Рубанка, если б цензоры не душили.

Все смеются, Анна со всеми, не к лицу ей лицо терять, хотя чувства её растрёпаны, не покажет она их им, все как будто бы сговорились ей по нервам юмором бить, искус их очевиден Анне: воздыхатели уж отчаялись осаждать её неприступность и, завидев чудо-героя, пред которым крепость падёт, не сговариваясь, решили взять в словах наперёд реванш. Да, реванш наперёд! Заумно. Но вполне же в духе эпохи, в духе граждан этой империи, изможденных соцреализмом. Ты б потише, сказал бы муж. Не волнуйся, я ж только в мыслях. Тебе не о чем волноваться.

В ожидании белого принца, где б он ни был, а время позднее, разыграет Анна комедию, чтоб унять досаду, себя занять. Скажет холодно и надменно, что терпеть не может, когда господа такое о дамах, хоть бы в шутку, да хоть бы как, а никак вот непозволителен тут при ней такой моветон, пусть потрудятся и избавят её уши в серьгах с камнями от скабрёжности и пошлятины. Как задумала, так сыграла, серьги это уже экспромт. От неё тут не ждут такого,

прикусили язык, потупились, лишь девица, та, что с поэтами, восклицает:

— И поделом!

Сбились с темы на «Чёрный доктор», и городят уже другую, безобидную, ерунду.

Ну, приди же уже, приди!

И пришёл, таким, что подпрыгнуло снова сердце, и волной горячей стеснило грудь. В золотистых отблесках фонарей голова его с новой стрижкой во всех ракурсах безупречна, явно требует кисти мастера, Гейнсборо бы пригодился, чтоб с Пикассо не рисковать. На плече полотенце белое, и с ним за руку Воробьёва с полотенцем в другой руке.

— А свежа, — говорит, — водица! Зря вы, люди, бежите купелей при свете звёзд.

И её прокуренное контральто влажно трётся о бархат ночи.

— Так никто же не приглашал!

— Ну, а толку? Рукой махнула. А с таким провожатым, так вы зачем?

Подоспели, хоть запыхались, Твердохлебов и Саблезуб.

— Вот вы где! — говорят они. — Вот вы где. А мы вас искали.

— А мы с Мыса. А вы откуда?

— К вам стучались в апартаменты.

— Ну и как, любезные? Достучались? Вы знакомы с моим героем?

Это шутка? Как им не знать? Весь обед лапшу ему вешали. Только шутка не в том завёрнута. Тут для Анны первый сюрприз, а внутри ещё сто сюрпризов. Твердохлебов и Саблезуб, и впридачу к ним Воробьёва, все знакомы с её шахтёром не сегодня, а много раньше, и, конечно, он не шахтёр, а прозаик из южно-русских, разумеется, молодой, разумеется, восходящий, побывал у них в семинаре, не у них, а у Воробьёвой, та вела его при Бакланове, третьим с ними был, кстати, Левин, на седьмом Всесоюзном в семьсят девятом, там он им себя и явил из романа про армию главами, даже признан был самым юным, написавшим первый роман.

— Сколько ж было вам?

— Когда что? Когда точку ставил, двадцать четыре.

— А теперь?

— Пока что тридцать один. В конце лета, если дотянем, ещё годик может прибавиться. Я Григорий.

— Я Анна.

— Очень приятно.

Протянула руку, он взял в свою.  
— Вы позволите вас украсть? На два слова. Верну в целости и сохранности.  
— Так откуда ж целость? Вы восстановите?  
От неё такого не ждут. Накипело. Пускай краснеют.  
Рассмеялся.  
— Не обещаю.  
Поднял за руку со скамьи и повёл по аллее, кивнув собранию.  
Воробьёва им вслед сказала:  
— Дерзкий юноша! Спеть вам песню? Как у Горького в «Буревестнике».  
Это вызвало оживление, и пустились все в эту тему упражняться каждый на что горазд.  
По аллее в молчании вёл и вывел за ворота со львами по сторонам. Подошли к софоре тут у ограды, чёрной, кованой в кружевах, фонарей свет сюда не бьёт, а в решётке музыка схвачена.  
— Так и что ж за два таких слова? Жду.  
Прижал Анну спиной к софоре и обнял, не её, а ствол, и впечатал в губы ей поцелуй, сразу долгий и сразу влажный, и кора ей в спину, в контраст, корявая, добавляет в те ласки перцу. Вот хвала Всевышнему, что под звёздами можно встретить ещё отважного. Вся вселенная в поцелуе.  
— Я твоя, — говорит ему. — На всю ночь. И на всю неделю.  
Отвечает, в глаза ей глядя, будто тысячу лет знакомы:  
— Не поверишь. Та же фигня.  
Это лучшее, что слыхала за прошедшие десять лет.  
— Как ты здорово это выразил!  
И смеются, губ не разняв. И целуются под софорой так, что листья громко растут.  
— Возвращаемся? Комары съедят.  
Он кивнул.  
— На глазах у почтенной публики распрощаемся?  
—ловишь влёт? Ты курортный ловец сердец?  
— Не поверишь, впервые в таком бомонде.  
— Трудно верится.  
— Чистый случай. По стечению множества обстоятельств.  
— Это я тебя намолила.  
— Это многое объясняет. Ну а ты, смотрю, у всех на виду? Мужа знают, да? В генералах?  
— Ты женат?  
Он кивнул.  
— Идём. Зашифруемся, как «Энигмой».

— Это что?

— Машинка такая. Шифровальная. Третий Рейх.

— Детективы пишешь?

— По жизни.

На аллее Анна спросила:

— Я к тебе или ты ко мне?

— У меня давай. Душ под боком.

Он живёт в конце коридора, в непрестижном, в углу на первом.

— Ты прощайся и уходи. Жди к себе меня ровно в полночь.

— Для романтики?

— Для любви.

У скамьи компания поредела на двух классиков с киевлянином, молдаванина нет с девицей, но зато добавился Нудельман, о героях Гражданки пишет, «Забодай» есть в школьной программе, по внеклассному, правда, чтению, и его частенько соавтор, сам Зиновий Каракалпакский, сценарист у всех на слуху, фильм «Полёт» по его сценарию вот как раз сейчас на афишах, эти «Чёрный доктор» не пьют, «Арагат» и лимоны у них с собою, и застольники Анны как на посту, так что есть перед кем комедию.

Воробьёва, завидев их, им сказала дымным контральто:

— Насекретничались? Так скоро? Вас, признаться, уже не ждали. А вы паиньки? Вот не думала. Что, Григорий, секрет короткий?

— Ну, выходит, что так, Маргарита Львовна.

— А вы, часом, не за нос водите?

— Не посмел бы. Вы ж всех насквозь.

Воробьёва сказала:

— А знаешь, Анна, Гриша наш - он самый воспитанный из всех юношей, что встречала. Не находишь?

— Ещё найду.

Тут отклонялся наш герой, он с дороги, надо бы выспаться, пожелал всем спокойной ночи, и ему в ответ пожелали с облегчением, от души, Воробьёва ж не преминула пожелать, чтоб набрался сил, потому как завтра на Мыс, и отказов не принимают.

Прошагал по аллее, поднялся по трём ступеням на крыльцо меж колонн в штукатурке розовой, в вестибюле дежурная за конторкой протянула ключ с деревяхой, колотушка больше ключа, чтобы вставить в рассказ такую, может, даже не поместится, тут роман давай сочиняй.

— А скажите, добрая женщина, как штуковину эту звать?

— Да никак, — говорит дежурная. — Груша, как ещё? Просто груша.

— Вы кудесница! Доброй ночи.

Попадёт теперь колотушка деревянной грушей в ближайший опус.

Он шагает по коридору, по дорожке мягкой трёхцветной, и подыскивает названия тонким запахам, тут витающим. Запах рук после мыла сразу, запах стираного белья и ещё запах пудры маминой на трюмо в красной круглой коробочке, у которой на крышке кисточка. Ступать мягко, а мысли вихрями, поступь тихая, чувства звонкие, взбудоражен Григорий, привык справляться с возбуждением, если трезв, ну а тут сердце прыгает в предвкушении, просто с места, нет терпезу поскорее познать красавицу, надо б жажнуть бокал-другой, но в завязке, пахать приехал, сколько мог, уже наперёд на год выпил свою цистерну. До полуночи целый час. Сбегал в душ, вернулся в халате и к столу, чтоб ни дня без строчки, ну хоть первые впечатления, по горячему, от знакомства, на бумагу излить избыток распирающего и восторга. Пишет быстро, потом поправит, ну а стрелки на циферблате уподобились черепахам, и приходит на ум апория от Зенона, где Ахиллесу ни за что не догнать черепаху, ну а тут черепахи никак не могут доползти до цифры двенадцать.

Уж полночь близится, а полночи всё нет.

Тихий стук в дверь, и отворила. В синем платье на каблуках.

— Вот и я.

— Здравствуй, Анна.

— Ну, вот и я.

— А в кульке что?

— Взяла нам яблок.

Положил он кулёк на стол.

— Свет оставим?

— Пожалуй, нет.

Погасил и выдержал паузу.

— Ты эстет?

— Ну а как без этого?

За окном фонарь и цикады, слабый отсвет от фонаря растянул тень оконной рамы через пол по стенке на потолок. Полюбуемся ещё как-нибудь.

Он обнял её сильно, нежно.

— Погоди, давай я сниму.

— Ты торопишься?

— Да, не терпится.

— Наберись терпения, Аннушка.  
— Нет, так больше не называй.  
— Почему? Так муж называет? Или тошно после Булгакова?

— Анна, Аня, Анютой можно.  
— Всё подходит. Что у нас здесь?

Он проник беспрепятственно к ней под платье и просунул ладонь к ней в трусики.

— Благодарен, Анна-Анюта, что заранее не сняла.

— Любишь сам раздевать?

— Люблю.

— Ну, вот видишь, я угадала.

— Этот сладкий миг предвкушения!

— Любишь мучить?

— А ты помучься. Он ведь слаще, чем остальное.

— А вот это вам, Гриша, фигушки! Будет так, как тебе не снилось.

Ей закрыл поцелуем рот, и язык его верховодит, и к другим губам ладонью преник и проник в них умными пальцами; обняла его, дрожь по телу, тень от рамы на потолке тоже дрогнула, ветерок качнул, и качнуло пол, и их вместе с полом, и вздохнула так, словно всхлипнула, шепчет в ухо ему, что всё, уже ноги её не держат, усадил на кровать, каблуки долой, всё долой, ну вот наконец-то, толкнул на спину, уложил.

— Ну, раздвинешь?

— А ты разденешься?

— Вот смотри-ка, чуть не забыл.

Но смеяться сейчас невмочь ей.

— Вот, пожалуйста. Это я.

— Милуй, Боже! Где ты был раньше?

Отдалась ему без оглядки, без единой тревожной мысли, без единой мысли вообще, всё забылось, изгналось, умерло под напором яркого света, то багрового, то зелёного, то зигзагами, то волной, он ворвался в неё, раздул, до отказа, сплошным восторгом, и накачивал, и накачивал, и прорвался, и помогите ей, сейчас лопнет, уже вот лопнет, но кого молить, но кому, «я» расплавилось в белой молнии, в шаре света, и не отыщешь, не сыскать уже кто кого, всё едино, кряхтит весь космос, всё кряхтит да не накряхтится, всё кудахчет не кудахчется, прорвалась из той муки сладкой, слышит стон свой, и изогнулась, и вскричала, и изошла; и Григорий остановился, придержал себя, вот же дока, не пришлось просить: «Погоди, остынь», разогнул в

локтях руки, навис над Анной, дует Анне на взмокший лоб, улыбается и серьёзен; она дух переводит, в себя вернулась.

— Ты не кончил?

— Жду продолжения.

— Передышка.

— Любой каприз.

Грызут яблоки и молчат.

— А который час?

— До утра далече.

— Ну, серьёзно. Сколько же это длилось?

— Это длилось чуть больше часа.

— Сильно больше?

— На полчаса.

— Ну и ну! Казанова, да?

— А ты кто же? Екатерина?

— Почему же Екатерина?

— Потому что к оргазму движешься трудно.

— Ты что, трахал императрицу?

— Да подумалось так про неё. Не знаю. Я ж писатель. Вот и придумал.

— Ну зато про меня не выдумал. Ох, давно же не получалось. А чтоб так вот, даже не знаю. Может быть, что даже впервые.

— Так ты что, ошеломлена?

— Мягко сказано. Сам не видишь?

— Мне, мадам, не с руки гадать.

— А ты циник? Очаровательно! Не влюбиться бы мне в тебя.

Он швырнул за окно огрызки.

— Ты готова?

Она откинулась.

— Но давай без галопа, ладно?

— Шагом, Аня?

— Можно рысцой.

И умеренный этот темп поначалу даже баюкал, а потом помалу настойчиво накопился и пропихнул снова в Анну свет с распиранием, разноцветный, тугими волнами, и опять взбудоражил всё снизу вверх, и восторгами истязает, и подбрасывает в седле, так рысцой, но без объездов, приближаются к станции, куда ехали.

— Можешь смело в меня. Не нервничай.

— Ты уверена?

— Ещё как!

И когда он стал извергаться, Анну заново проняло и опять закинуло снова в звёзды.

Он лёг на бок, поцеловал, гладит грудь горячей ладонью, гладит Анне влажный живот, и её рука на его руке.

— Ну, спасибо, мой дорогой.

— На здоровье. The pleasure's mine.

Рассмеялась.

— А я пойму?

— Говорят, была переводчицей.

— Да? А кем я ещё была?

— Знаменитой волейболисткой.

— Воробьёва?

— Досье спецслужб.

— Я ещё была манекенщицей.

— Ну, не дивно.

— А почему?

— Не кокетничай. Стать, порода.

— Ты хоть видишь, что я высокая? Или ты ничего не видишь? В тебе сколько?

— Сто девяносто.

— Ну, так я же почти как ты.

— Ты мне, Анечка, по плечо.

— Ну а ты мне, Гришенька, по плечу. А вот стану на каблуки!

— Нет сомнений. Только морока.

— Это в чём же? Как понимать?

— Ну вот станешь на каблуки, а я снова под платье к тебе да в трусики. И опять всё скидывать, ломать ногти, чтобы в койку да поскорей. Только в этом. Больше ни в чём.

Ей смеяться весело шёпотом.

— Ты и пишешь, как говоришь?

— Если б, Анечка! Расстреляли б.

— А ты правда, как не советский.

— Но зато же какой родной.

Тут уже её смех погромче. Обняла его и целует, навалилась и шепчет жарко, в ухо, в губы, в шею и грудь, повторяет, как заклинает:

— Да, родной, это правда, родной-родной.

Усадил её на себя, но она поспешила спешиться; она снова ложится рядом.

— погоди, не пришла в себя. Ты заездил, Григорий, девушку.

— Так и я ж о том. А ты отомсти!

— Прости, милый, я пока пас.

Примостила голову на плече, гладит ласково.

— Не обиделся?

— Бог с тобой. Но напомним, что обещала, будет так, как нам и не снилось.

— Будет, милый. Я обещаю. А что было, так то не в счёт?

— А что было?

— Сама не помню. Ты ж откуда такой голодный? Давно с женщиной не был? А где ж жена? Всё, пардон! Не туда полезла. Это что? Была операция?

— Угу.

— Свежий шрам? Недавно, да?

— Год тому.

Она водит по шраму пальцами.

— Не болит?

— Сейчас? Не болит.

— Это что, от пули?

— Да не выдумывай. Чайка клюнула. Сумасшедшая.

— А влюблюсь в тебя, так расскажешь?

— Вот тогда уж, Анечка, ни за что!

Рассмеялась на сей раз звонко.

— Да не бойся. Я ж просто балуюсь. Вот растряс меня. Вот дурачусь.

— А чего бояться? Надо — женюсь.

— Не шути так. Вот доиграемся.

— Ну, вообще-то я не шучу.

— Так тем более. Смена темы.

— Ну, тогда другое терпи.

И набросился неожиданно, как разбойник с большой дороги, как насильник, как оккупант. И смешно ей, и плакать хочется; поиграли в сопротивление, для приличия, но недолго, соразмерно и сообразно, и сдались на милость героя, крепость пала, ворота настезь, победитель берёт своё, всё забрал уже, больше нету.

— Отпусти уже. Не могу. Ты опять остался ни с чем?

— Я не стал бы так формулировать.

— Надо кончить? Я помогу. Ты позволишь?

И помогает. Очень даже так даже очень.

— Так сумеешь?

— Уже почти. А проглотишь?

— Всенепременно.

И вулкан задрожал и выдал, и извергся горячей лавой, и короткое замыкание того мига их замыкает, и восторг один на двоих.

Он целует её:

— Спасибо.

— На здоровье. The pleasure's mine.

За окном тишина. Светает.

— Побегу к себе? Пока спят.

— А другие варианты? Этот убогий.

— Тем не менее, оптимальный. Ты же к завтраку не заявишься? Значит, мне там быть обязательно.

— Знаешь, Анна, странное чувство. Будто мы с тобой брат с сестрой.

— Да? И как? Инцест штука сладкая?

— Обалденная. Оставайся.

— Не выдумывай. Сладких снов!

Она снова на каблуках, в синем платье, под платьем трусики.

— А ты что, Анюта, была без лифчика?

— Не заметил? Зачем он мне?

Он под платье к ней. Посмеялись. Отпустил и дверь затворил.

Прошла Анна по коридору, по дорожке, шаги глушащей, в вестибюле дежурная на диванчике дремлет, а может быть, и не дремлет, ну уж это в руках Творца, как и прочее, впрочем, гадать не стоит. Поднимается Анна по лестнице на второй этаж и гадает, что за шрам такой, что за шарм, и что делать с таким ей Гришей, может, просто взять да уехать, не прощаясь, а что, вариант, но с другой стороны, а зачем, сколько жизни той, ну не девочка ж, не позволит себе влюбиться, да и он вменяемый, вроде, и осталось меньше недели, так что следует, Анна, друг мой, дар вкушать и греха не ведать.

А Григорий лампу зажёл и ещё исписал страницу.

Да, за завтраком стул пустует. Твердохлебов и Саблезуб упражняются в остроумии, вот сдаётся им, старым, опытным, что пустует тот неспроста, и причина им в том тут видится, что Григория кто-то ночью, кто-то пылкий и настоящий, и, возможно, обворожительный, ну такой вот, как Воробьева, этот кто-то заполучил их соседа к себе в постельку и вконец его измочалил, так, что дрыхнет без задних ног бедный юноша, встать не в силах; да и жив ли после такого. Воробьевой их тонкий юмор непротивен в таком аспекте, а, напротив, даже забавен, улыбается им таинственно и вставляет:

— Да перестаньте! Не такие же все развратники, как вам видится, с ваших лет.

И довольны собой все трое, вот весёлый завтрак у них.

За столом у Анны нескучно тоже. Драматург с Бужениновым «Спартаку» перемыслили шансы в новом сезоне и взялись за Григория с Маяковским, признают, что сходство имеется, только ж этот совсем громила, не писатель он, а Тарзан, не иначе во Всесоюзное по лиане, видать, вскарабкался, а книжонку про армию настрочила для него обезьянка Чита, хвост в чернильницу обмакнув. А фантаст говорит:

— Уехал.

— Как уехал?! Только ж приехал!

— Дёру дал. Видать, напужался.

— Нас с тобою?

— Да нет, не нас. Воробьёву. Собрал манатки, чтоб ещё раз не волочиться с ней в обнимку на Мыс в ночи.

— Это сильно. Опубликуешь?

И смеются, как дети, и Анна с ними.

И заметила, между тем, до чего ж Григорий заметен, оказалось, не только ей, в одночасье стал популярен, ничего для того не сделав, улыбнулась, не ничего, улыбнулась, но, тем не менее, ничего такого, что им бы знать, улыбнулась, и тем не менее, улыбнулась, ай да Григорий.

За столом же ей говорят:

— Вы Джоконда, Анечка. Только краше.

Проспала до обеда сладко, словно в детстве в саду в гамаке под вишней.

Но его нет и на обеде.

Пересуды, ей не до них. Всполошилась, как молодая, растревожилась, в думы свои ушла. А вот что, если взял да уехал? Рубанку типун на язык! Ну а если и вправду? И был таков. Она ж тоже чуть не сбежала. Оба, знать, прониклись с избытком. Значит, есть от чего бежать. И Арсения строки сюда бегут, пожалела уже, что знает, а они такие — нельзя не знать, как чуть что, так рядом витают. «...и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке»... Нет, не мог он так пошло струсить, он же циник, он же герой. Ну а вдруг утонул с утра? Вот решил пойти освежиться, и накрыло его волной, там же шторм, аж сюда грохочет... Ты совсем придурела, Анна? Он, такой он, возьмёт утонет?! Ну, тогда и ты, Аня, — целка! Ерунда ж какая на постном масле, это ж надо, вот ерунда. Вероятно, пришельцы выкрали. На тарелке или на блюде. Это самое вероятное.

Вот возьми-ка да помолись, чтоб вернули да поскорее.

Улыбнулась.

Ей за столом говорят:

— О явись, явись, Леонардо!

Почему Леонардо, а не Григорий?

— Потому что да Винчи! — ей говорят.

Просидела до ужина на скамье у ступенек рядом с колоннами, слава Богу ещё, что пасмурно, тут при солнышке солнцепёк, тут при нём жидковат тенёчек от акации серебристой, что зовут привычно мимозой, и от кедра с седой корой, вроде, тень, а не освежает, так что тучам сейчас хвала; просидела с книгой в руках, муж из Штатов как раз привёз перед самым её отъездом, сам в дороге прочёл, завернув в газету, в самолёте, над океаном, а газета наша, газета «Правда», не хотел ей сюда давать, только ж разве Анне откажешь, Ardis Publishing, «Остров Крым», никогда тут не издадут, прочла залпом в первый же вечер, вот такой наш русский Тайвань, остроумно, больно, ужасно, тут обычной зауми нет, зато слишком прямолинейно, ей не нравится, как он пишет, у неё отменнейший вкус, но придумано восхитительно, потому и по нервам бьёт, и Татьяну с неё списал, прохвост Вася, и Глеба с мужа, но уж это чего пенять, все писатели одинаковы, сразу мысленно, как прочла, отослала ему улыбку и признательность за роман. Вот нарушила обещание, мужу данное, с книгой на людях, но газета же «Правда» выручит, правда ж, выручит, правда выручит, и ответы для любопытных наготове всегда у Анны — «Воскресение», «Идиот», а кому-то и Голсуорси, так, чтоб сразу отбить охоту попросить себе почитать. От обеда и до забора, ну а тут до самого ужина, провела она на скамье, пролистала заново книгу, помечтала да напечалилась, в чём живём да в чём предстоит, и во мнении укрепилась, что так гробить своих героев, да к тому же красивых женщин, это, Васенька, скудоумно, поскромней бы был да повкрадчивей, не ленился бы да не чванился, смог бы лучше изобрести. Время всё ж не зря провела, наконец, фамилию знает, не Аксёнова, а Найдёнова, та мелькала ещё вчера меж двух классиков с Воробьёвой, но скользнула мимо сознания, а поймалась только сейчас. Ну и где же ты, мой Найдёнов? Не успел найтись, как уже пропал.

Подняла глаза, чуть не ахнула, сердце просто к нему рванулось, вот стоит на ступенях между колонн, будто тут и стоял всегда, такой яркий, будто раскрашенный, разгоняет собою пасмурность, сокрушает форштевнем льды, в этот миг, видит Бог, не враки, сквозь свинцовые небеса

пробивается солнца луч, и дотронулся, золотистый, до остриженной головы, а Найдёнов, беседуя с кем-то там, помахал ей и улыбнулся, аж зажмурилась, аж до слёз, вот сейчас он толкнёт колонны и обрушит к чертям Дом творчества, и тогда трава не расти. Он сбегал легко по ступеням, в синих джинсах и красной тенниске, подошёл к ней и рядом сел.

— Свято место, чего пустует?

— Разбежались, тебя завидев.

— Добрый вечер, Анна. Как день прошёл?

— Волновалась. Куда пропал?

— Отоспался. Давно не спал так. Что читаем?

— Потом скажу.

— Запрещёнку, значит. Ну, тоже дело.

— Я люблю тебя, — она ляпнула. — Я хочу тебя, — говорит.

— Ты б хоть ротик ладошкой прикрыла, Анечка. Тут же все по губам читают.

Рассмеялась.

— Гриша, а ты Найдёнов? Я влюбилась в Гришу Найдёнова.

— Мой ответ угадать легко. Не поверишь, та же фигня.

Рассмеялась.

— Так я в тебя. Ну, а ты в кого?

— Не скажу. Приходи, увидишь.

— До полуночи пять часов. Я не вытерплю.

— Так зачем же? Давай в десять.

— Нет, давай сразу. После ужина.

— Не канает. Я ж на Мыс. Купаться под звёздами.

— Не ходи. С неё не убудет.

— Не могу, уже обещал.

— Держишь слово?

Он не ответил, а кивнул и пожал плечами. Захотелось его обнять. Тут кольнуло Анну догадкой, что Найдёнов с его цинизмом может запросто и Маргошу ублажать без зазрения совести.

— Старушонку надо обхаживать?

— А зачем её обижать?

— В «Новом мире» хочешь печататься?

— Хорошо бы. А что, нельзя? Ты уже себе напридумала?

— Напридумала.

— Ну, расскажешь. Поподробней. Вместо прелюдии. Я люблю скабрёзные допущения.

— Мне сдаётся, и практикой не гнушаешься.

— Тоже верно. А кто гнушается? Все такие. Ты не находишь?

— Что мне все? Мне тебя давай.

— Приходи, бери. Пошёл подкрепляться. А добавку тут подадут?

— Тебе, думаю, не откажут.

— Понял, Анна. Приятного аппетита. В десять?

— Может быть.

— Буду ждать.

Ну и надо ей это? Надо.

Опоздает она на ужин, чтоб не слушать их остроумия, да не с «Крымом» туда ж являться. Перед зеркалом поразмыслит, попсихует, принарядится, посмеётся, поговорит, разыграет всё, как по нотам, и ещё раз сменит наряд, и до ужина доберётся, когда там уже никого.

В десять нет её, как условились, и прождав её с полчаса, ну и дура, сказал Григорий, он садится к столу и пишет, как сходил на Мыс с Воробьёвой, как купались с ней нагишом, пишет быстро, потом поправит, как она к нему подплыла и, русалку изображая, обласкала с бездушной страстью, и была б вода потеплее, так ещё бы и неизвестно, утащила б на дно греха. Он смеётся над тем, что пишет, и наступит скоро июнь и прогреет собою море, и тогда, читатель, гадай, что там может произойти на том Мысе под теми звёздами.

Время к полночи, стрелки скачут, не пришла, уже не придёт, ну и дурочка, что тут скажешь, детский сад, кто бы мог подумать, ну и ладно, оно и к лучшему, зря, что ль, выспался, за работу; и, оставив в сторону записи дневниковые, вот, по-свежему, приступает он к продолжению сочинения грустной повести, той, с которой сюда пожаловал, для чего сюда и пожаловал, зимой начал, потом застрял, там страниц уже в ней под двести, а конца пока не видать, а готово надо бы к августу, а мы знаем, что он наступит, этот август не станет мешкать, а примчится за маем вслед, сразу после, минуя лето, как оно всегда и бывает, если марью дуешься или дурью маешься, потому подналяжем вот и прорвёмся; и Найдёнов подналягает, и скрипит и пером, и сам, и в отменнейшем настроении заставляя себя он быть, а умеет, а получается, только лучше б всё ж объявилась, потому что ну сколько можно, потому что ну потому что, потому что ну потому.

И когда уже дело к трём, к трём утра, тихонько стучат, дверь не заперта, отворилась, в кимоно ярко-бело-красном, бело-розовом, красно-чёрном, на котурнах порог преступает с

влажным вздохом, с шампанским с фруктами Воробьёва, как из фарфора, как ожившая статуэтка.

— А я вижу, тут свет горит!

Они с классиками кутнули в ресторане у подвесной, и теперь вот уснуть не может, но теперь ей Гриша поможет, не откажется ж ей помочь? а поможет скинуть котурны? а то ноги просто гудят, и куда он её усадит? впрочем, лучше сразу прилечь, и вливается ему в губы она тёмной вишней помады, обдаёт его духом винным и табачным, шашлычно-аджиковым, обнимает, чуть не задушит, вязко шепчет: ну наконец-то, наконец-то, ну наконец-то; и велит её раздевать, и сама с него джинсы тащит.

Тут, Горацио, не взыщи уж, надо дух бы перевести.

А Горацио не взыскует, понимает друг, он же друг. Не приходится объяснять, что нюансы тут на нюансах и нюансами погоняют. Ну и как тут не сплеховать? Кто такой он, Гриша Найдёнов? Вроде, малый не слабонервный, так чего ему тушеваться, да и дама же хоть куда. Э, Горацио, не скажи! Привходящих тут больше нормы. Потому и взяли тайм-аут. Для начала, Горацио, отказать ей это значит рискнуть карьерой, своим входом в литературу, это значит сильно рискнуть, может статься, что крест поставить на открывшихся перспективах, понимай, Горацио, не зевай. И слегка сюда предыстории: на одной карьере, военной, был военным он переводчиком, крест поставлен уже и так; он по Африкам с семьями третьего, а потом вошёл с контингентом, и контузило его в марте, прошлым мартом, так шандарахнуло, что едва из себя не вылетел, верней, вылетел, но вернулся, и списали в запас вчистую, вот такая вот ерунда, не забыть бы о ней нам с тобой, Горацио, а то может у нас так выйти, что Найдёнов год пробухал просто так, от нечего делать, а оно-то, конечно, так и не так, ты сам понимаешь. Понимаешь? Тогда кивни. И сюда же всё остальное, отец с мамой не узнают, от жены ушёл, чтоб не мучать, и её утратил и сына, и друзья в мирной жизни поразбежались кто куда по своим делам, а кто рядом, тот просто терпит, а поведать им что да как, не моги, подписка, Горацио, знаешь, строгая, ты же знаешь. Можешь даже и не кивать. Хорошо ещё, старый тренер вторым тренером взял к себе, это так, до первой развязки, и в издательстве, в «Молодой», покровитель благоволит, старый верный надёжный Слава, в семинары зовёт в Москву, только вот с такого приехал, книгу ждёт, подгоняет, путёвку сделал, вот сюда его и втулил, он потомственный из дворян, и чихать он

хотел на частности. Вот такая вот предыстория, и в глухой завязке теперь, в одиночестве и в зажатости, а тут Анна ещё сюда, Аня-Шманя и сбоку бантик, ты б, Горацио, в ситуации что б ему, скажи, присоветовал? С ночной гостьей как обойтись?

И Горацио, честный малый, говорит, что, как по нему, то уважил бы и забыл. А чего там? Дело житейское.

Так, а после как? Про себя что знать? Ну, забыл бы, да не забыл бы. Он же тоже такой, как ты, про себя себе не наврёт. Что потом разуметь прикажешь? Просто так забаве предался, от души, с плеча, без оглядки? Или всё же корысти ради? Слабину такую вот дал. А не проще, скажи Горацио, от ворот ей и поворот? И гори оно всё огнем, но зато с собой не поссоришься. А? Чужая душа потёмки?

А своя?

Вот такой стоп-кадр.

Вот не знаем. Молчим с ним оба.

А Найдёнов, недолго думая, в смысле, мысли все перебрав за секунду и две десятых, быстрый малый, боксёром был, мог бы быть и кавалеристом, мог бы лётчиком-истребителем, да теперь уж не до того, так схватил Маргариту Львовну за положенные места, что аж вскрикнула неконтрольтово, звонким возгласом ночь проткнула, поверх правил, поверх цикад; он взашей её к умывальнику, он из тюбика пасту в рот ей, и заставил прополоскать, и оставил без кимоно и всего, что под ним сыскалось, но котурны снимать не стал, а нагнул на них попой кверху да воткнул ей куда пришлось, а пришлось, вот он и воткнул, и охаживал её резво, и охаживал её долго, аж пока не наохалась, не наахалась, аж пока пощады не запросила, отпусти уже на кровать, так и там ей не дал покоя, а задрал её пятками в потолок и гвоздил без пощады, гвоздил, пригвождал к матрацу и приговаривал:

— Жеребца захотелось? На, получай! Жеребца тебе? Вот тебе! Вот тебе, вот тебе жеребца!

А она сперва просила ещё, а потом уже не просила, и стонать силы тоже вышли, и просила уже, чтоб всё, хватит, Гришенька, хватит, умру сейчас; перед финишем сел на грудь ей и забрызгал лицо и грудь, и по лбу постучал жеребечеством, и отёр его ей о губы.

И сказал ей внятно и холодно, сразу встык, безо всякой паузы:

— А вообще я так не люблю, чтоб со мной так. Ко мне поласковой. И на будущее повежливей. Поняла, Маргарита Львовна? А не то ж могу зашибить.

И глаза его эти прозрачные на рассвете этого дня Воробьёва помнила долго, на всю жизнь она их запомнила.

— Не сердись. Хмель вышел. Я поняла.

— В коридоре уже движение. Здесь останетесь? Скоро завтрак.

— Да не смею надоедать. А на прочих, Гришенька, в наши годы, и вообще я дама свободная.

Уходя, в небритую щёку чмокнула.

— Благодарности нет границ!

Затворил за ней дверь и перекрестился.

Нам с Горацио сказать нечего.

Не пошёл он на завтрак, а в душ пошёл. Спать завалится до обеда.

Завалился, но сон пока не идёт, а слетелись думы с тревогами. Сел к столу, записал, что было. Снова лёг, закурить пришлось. Не курил уже больше месяца, но на дне чемодана «Ява» в твёрдой пачке, и пачек десять, чтоб не больно воображал о себе как о некурящем, вот такой у него подход к над собою экспериментам, подцепил в словаре у Даля: в горе жить — некручинну быть, а нагому ходить — не соромиться. Всё равно башка раззанудилась, хорошо бы жажнуть стакан. Будет вечер, и будет видно. Приказал себе и заснул.

В дверь стучали, не отворял.

Только к ужину объявился.

Дежавю — на скамейке Анна, на ступенях Найдёнов между колонн, он опять там с кем-то о чём-то, помахал ей снова рукой. Подошёл, но не стал садиться.

— Представляешь! Я проспала. Прилегла десяти дожидаться, и уснула, как провалилась. Продрала глаза, рассвело давно.

— Представляешь, та же фигня.

— Шутишь?

— Нет.

— Обиделся?

— Нет. Говорю же, тоже продрых. Поутру решил, что будить не стала. Вот надеялся, не обиделась.

— Жаль, что первая рассказала. Знала б, сделала б виноватым.

— Можем заново отыграть. Ты прости, я вчера уснул. Пожалела будить? А надо бы. Я с утра кусал себе локти.

- Аж до ужина?
- Отсыпаюсь.
- Это ж сколько ты лет не спал?
- Ну, так это, с сорок девятого.

Улыбнулась.

— Тогда понятно. Ну, тогда я с сорок шестого. А давай отсыпаться вместе. А то порознь мне не понравилось.

— Сам хотел тебе предложить. Да стеснялся по малолетству.

— Грубиян. Но тебе прощается. После ужина?

— Прямо сразу.

— А на Мыс тебе?

— А штормит.

— Это ж надо! А то пошёл бы?

— А зачем гадать? История, Анна, сослагательного не терпит.

И она пришла в новом платье, и какая ж она красивая.

Всё за них сегодня, кино дают, в главном корпусе словно вымерло, ни души, все в кинотеатре под открытым небом, под звёздами, и чего так с Феллини носятся, непонятно, скажи, Горацио, эти восемь его с довеском, ну нудота же, ну говно ж, расскажу-вам-о-чём-не-знаю, а, о-том-что-не-знаю-о-чём-сказать, это ж точно так, как с Пикассо, с умным видом надо кивать, а король-то, ребята, голый, не согласен? Ну, Бог с тобой.

— И чего так с Феллини носятся, не пойму, — говорит Найдёнов.

— А мне нравится.

— А мне нет.

— А чего?

— А того, Анюта, что у нас с ним скорости разные. Не компания мы друг другу. Он за плугом, а я в седле.

— Ну и Бог с ним. Подсадишь к себе в седло?

— И куда мы с тобой поскачем?

— Куда хочешь. Ну, не томи.

А Григорий как раз потомить намерен, ласков с Анной он, нежен с ней, и прекрасным образом не торопится, но и времени не теряет, и прекрасным образом знает её тело и предпочтения, по тропинкам тайным ведёт, ориентируется он в Анне, как Дерсу Узала в тайге. Анну чудо переполняет, грустный, нежный, гибкий восторг, от избытка радости с удивлением в глазах слёзы и в горле ком, и ведёт их Григорий в гору молча, опытно, с обожанием, и уже у самой вершины, вот осталось рукой подать, нервы Анны всё-таки

сдали, слёзы брызнули, разрыдалась, не готова к такому счастью, не успела переварить, не ждала от себя такого, и рыдает она, рыдает, не ждала от него такого, и не может остановиться, и скатилась, его стащив за собой, вниз к подножию, и затихла.

— Я, не думай ты, я не дура. Дура, думаешь? Я не знаю.

Он кладёт ей палец на губы.

— Цыц, сударыня. Враг подслушивает.

— А скажи мне, чего расплакалась.

— Так от счастья. Чего тут знать?

Обожает она его и поэтому снова плачет.

И поэтому им смешно.

И смеются, и он неспешно снова в гору их продвигает, как упрямый фуникулёр, на таком ещё не каталась, всё как будто бы в первый раз, и достигли чего хотели, и насытились, наконец.

Под окном к себе возвращаются кинозрители с разговорами, узнаваемы голоса, Федерико разбудоражил, а Григорий с Анной молчат, тела рядом, а думы порознь, и прознать про них, даже им самим, не до этого, после как-нибудь.

— Ты уроки брал? Или сам даёшь?

— Это ж, Анна, одновременно.

— Обалденная эта тень у тебя тут на потолок. Смотри, наискось через всё. И на нас с тобой. Как живая, да?

Он сказал:

— Хокусай. Сто видов оконной рамы.

Улыбнулась.

— А ты рисуешь? А я, знаешь, тушью на ватмане. Раз в году найдёт, а потом проходит.

— Процесс нравится? Скрип пера?

— Типа да. Терапия нервов.

— Ну и что там из-под пера?

— Свои сны. А, может, чужие.

— Ну а всё-таки?

— Стекла битые. Потому и вспомнила, что окно.

— А в осколках там отражения? Всё, что было когда-то целым?

— Ты пугаешь меня, Найдёнов. Ты шаман?

— Да тут угадать несложно.

— Ты про стёкла?

— А ты про что?

— Ты военным был?

— Было дело.

— А теперь что?  
— Теперь что? А что теперь? Перестал им, Анечка, быть. И стал мирным как Мать Тереза.  
— А про что ты пишешь? Об этом можно?  
— А про что читаешь? О том нельзя?  
Рассмеялась, зевнула сладко.  
— На вопрос вопросом? Гэбэшник, Гриша? Принесу тебе завтра.  
— Да не спеши. Ну, а вдруг я и в самом деле?  
— Я рискну. А ты разбирайся.  
Он обнял её и целует, так целует, как под софорой.  
И о чем теперь говорить?  
Что могло, уже всё случилось. И пора бы тут и расстаться.  
— А я, знаешь, чуть не удрала.  
— В смысле?  
— В смысле, домой в Москву.  
— Сколько дней нам с тобой осталось?  
— Ну, билет на второе. Оно не в счёт.  
— Трое суток. Целая вечность.  
— Почему не четверо? Ах, ну верно. Трое. Завтра уже сегодня.  
— Да, увы. Сегодня уже вчера.  
Помолчим, примиряясь с правдой, с перескоком сквозь ноль часов.  
— У тебя бывает так, что ничто не имеет смысла?  
— Почему бывает? Я так уже год живу.  
Хохотнула.  
— А как же пишешь?  
— Так сама сказала — как говорю.  
— Нет, а в самом деле?  
— Ну как? С трудом. Изворотливо. Между капель.  
— Знаменитым станешь?  
— Хотелось бы.  
— Но?  
— Да всё тут сплошное «но».  
— Так сказал же, что изворотлив. Значит, сможешь перехитрить?  
— Понимаешь, себя же знаю. Надоест мне скоро, вот уже скоро, вот уже вот, им угождать.  
— А спрошу из вредности, Гришенька. А кому?  
— А кастраторам жизни, Анечка.  
— Лихо сказано! Так и пишешь?

— Всё кастрируют, суки-бляди! Мертвечину им подавай! Оседлали намертво Маркса и Ульяновым погоняют, и пророчат нам, негодяи, дали светлые, пидарасы!

— Ты с войны сюда?

— С семинара, Анечка, молодых, что про армию сдуру пишут.

— А у нас молодой писатель до сколько?

— А вот именно. До забора.

И теперь она его обняла и целует, и носом шмыгает.

— Расскажи.

— Да нечего, Анна. Просто горы. Просто война.

После гор город кажется ниже, тесно дома и страшно мне, получается, что я выжил на неведомой тут войне, получается, что, как прежде, тут все ссоры по мелочам, ходят люди в модной одежде, улыбаются сволочам, тут размыты границы между жизнью, смертью, добром и злом, дураки, хапуги, невежды прут в начальники напролом, а талантливые уныло в разговорах свой тратят пыл, неужели тут так и было, когда я туда уходил, неужели в жару и стужу я дышал этим каждый день, чушь, солдат, ты просто контужен, у тебя мозги набекрень, обезумела твоя совесть, скособочена твоя честь, справедливости нет здесь, то есть, нет твоей, но другая есть, так уймись, признайся, что болен, отличи, где кривь, а где явь, не срывай кресты с колоколен, но и новых крестов не ставь, не бравируй помыслом чистым, ты помазан как все вокруг, не тяни давай, подлечись-ка, мой контуженный бедный друг, чем прочнее себя забудем на неведомой тут войне, тем скорее заживём как люди в этой мирной большой стране, чем скорее заживём как люди, а от нас все того и ждут, тем прочнее себя забудем на войне, неведомой тут... Это чьи? И ответ не нужен. Анна гладит Григория ласково, напевает тихонько песенку. И заснули.

И сон приснился.

Сперва Анне, потом ему.

К ней во сне пожаловал ангел, ликом он с Григорием схож, и с Андреем, а тот с Максимом, на которого Глеб походит, и с Аксёновым, яшень-красень, и ещё он, может быть, дьявол, но про то в этом сне молчок, и привёл ангел Анну в Крым, но не в этот, а в тот, на Остров, потому что она Татьяна, и ещё там миллионер; указывает ей сразу ангел, что к Андрею чувства угасли, да к кому же из них троих? и чьи чувства? Татьяны? Анны? догадалась Васю спросить, ну а он в рот воды набрал и хорош собой, загорелый, молодой, с искрою в глазу, улыбается под усами, мол, догадывайся сама, и куда же

пропал Григорий? снова к ужину только ждать? или он с богачом на яхте? нет, не так, он и есть богач, Анне надо бегом на яхту, только ангел зачем-то мешкает, отвлекается, не поймёт, ох не ангел он, а где море тут? вдруг отхлынуло? и как быть? надо прыгнуть, взлететь над сеткой и пробить двойной блок под углом наотмашь, вот и мяч уже на подлёте, высоко, под ногами подиум, он не остров, он полуостров, с трёх сторон рукоплещет зал, море плещется, рукоплещется, и размыты границы между жизнью смертью добром и злом, дураки, привели на кладбище, на надгробной плите читаем, что в могиле Татьяна Лунина, это зря вы, Василий Павлович, вот попомните моё слово, ну зачем так мрачно на вещи? слава Богу, она не Анна, слава Богу, Максим не Глеб, а Аксёнов ей разъясняет, что неверно толкует смерть, умереть тут в этом бедламе означает в иной прорваться, может быть, что ему видней, самый умный из всех, кого Анна знает, может быть, до неё дойдёт, но потом когда-нибудь, в другой раз, а сейчас со всех ног отсюда, не оглядываясь, бежать, говорят, что скоро бомбёжка, а кто выживет, расстреляют у фонтана в Бахчисарае, скоро ужин, слюнки текут, вот Найдёнов идёт навстречу, улыбается, обнимает, говорит, чтоб его держалась, его пуля, знай, не берёт, успокоилась и уснула, улыбнулась сладко во сне.

У Найдёнова сон попроще, оттолкнулся и полетел вниз к земле в темноте сквозь холод, этот сон уже в сотый раз, парашют сейчас не раскроется, приземляйся сам, как умеешь, и освоил с пятидесятого, принуждает себя летать, хуже, лучше, но получается, и планирует, и варьирует, не велит себе быть кручинну, только пятки потом болят.

Пробудился, погладил Анну, разогнал комариный писк, и по собственному велению, и по собственному хотению снова спит. Но на этот раз сон пожаловал не дежурный, а такой, что прежде не видели, так увидим, билеты ж куплены, не с руки сейчас возвращать, но кино оказалось старым, тут ему раздирают душу черти, жёны, редактора, командиры и доброхоты, дамы в возрасте, дамы без, продавщицы, начальник ЖЭКа, всевозможные орги — комс-проф-партшмарт, в ресторанах швейцары, портье в гостиницах, в поездах проводницы с проводниками, друзья бывшие, не друзья, активисты, администраторы, пассажиры в трамваях и люди в лифтах, и прохожие, и попутчики, все обиды недопущенные, все дела недозавершенные, угрызения и досады, упущения, стыд и срам за себя и за всех на свете, эти все вместе с этим всем насаждают, в лепёшку давят,

душат, душат, всё не задушат, а он терпит, он йогу делает, чтоб уметь не дышать подолгу, говорит себе каждый день: это мара, это сансара, это, Гриша, всего лишь сон, вот решения съезда в жизнь, двадцать пятого, хоть какого, это ж лозунг на транспаранте, тряпка с буквами на ветру, а при этом птички поют, так что делай, что должно, и будь что будет; еле вырвался, продышался, и приснилось, что встретил Анну, и узнал её, сразу вспомнил, где же были они вдвоём? в Сиракузах? в Афинах? в Спарте? в Атлантиде? в Стовратных Фивах? с Иоанном на Иордане? с киммерийцами по степи? он во сне её так целует, что смоковницы оживают, вот так встреча, правда ж, не виделись тыщу, несколько тысяч лет, и венчаются в Эльсиноре, ясно всем, что а где ж ещё, и венец над ним держит Гамлет, и Сократ ему помогает, а над Анной с венцом Пенелопа, царь Итаки тут, Одиссей, тут и мама с отцом, и жена с сынишкой, и муж Анны, и старый тренер, Уленшпигель с Пантагрюэлем, а у входа ржёт Росинант, ржёт и ржёт, и вот разбудил.

— Наконец-то, — сказала Анна. — Утро доброе. Ты где был?

— В Эльсиноре.

— А ржал чего?

— Ну не плакать же. Жизнь смешная.

— А мы завтрак с тобой проспали.

— Наверстаем. Иди сюда.

— Я голодная.

— Не причина.

С этим трудно не согласиться.

И Григорий с Анной согласны, их согласию нет границ.

Через час, а может быть, два, она спросит:

— А так бывает?

— Я не знаю, — ответит он.

Улыбнутся.

— А мы красивые. Вот при свете. Смотри какие.

— Да смотрю я. Вижу. Я не слепой.

— Ну и как мы с тобой, тебе нравимся?

— Ну, ты так себе, а я да.

Рассмешил, наконец, без грусти. Но печаль теперь по пятам.

— Ну и как теперь? Что нам делать?

— Пойдём в город и поедим.

— Мне к себе сперва. А как через холл идти?

— Да по норам все, кто не на пляже. Вспомни подиум и вперёд.

— Ясно, Гриша. Хана конспирации.

— Обойдётся, вот уверяю. Буду ждать тебя у причала. Прыгнем в катер.

— А там не шторм?

— Если шторм, то вплавь доберёмся.

И она уходит, смеясь, по дорожке по коридору, и печальная, и весёлая. Проводил её долгим взглядом.

Море серое, сине-чёрное, а по небу чернил разлили и разбавили молоком, солнца луч в горизонт упёрся и блестит там больничным светом. Шторм на убыль, едва три балла, но желающих распугал, и на катере почти пусто, будоражно стучит движок, и посудинка эта малая под названием громким «Викинг» вперевалочку по волнам по заливу тащится на ту сторону, и Найдёнов с Анной на баке, взявшись за руки, их качает, в уши ветер, брызги в лицо, на губах и брызги, и губы, неподдельный солёный вкус приключения и восторга, он и сладкий, и сладко дышится, и в глазах, чёрт возьми, любовь.

И на той стороне залива у причала сели в пролётку, тут их две на Утёс катать, и возница, усач в архалуке, просто кладезь для геронтолога, заломил им под небеса, но Найдёнов, он же по Африкам, и торгуется как берберы, и спустились к земле поближе, покатали вверх по дороге, скрип рессор, и копытца цокают, архалук незыблем, чинары мимо, вне эпох и забот с тревогами, и в конце концов добрались к ресторану у водопада.

— Шашлыки?

— А, может, форель?

Ну могли б и быка зажарить, и слона с китом тоже б съели.

— Ты не пьёшь вина? Писать надо, да?

— Я, конечно, не пью. Но выпью.

— После будешь меня винить?

— Ни тебя, ни себя не буду.

— А я буду.

— Любой каприз.

Рассмеялась.

— Ты бесподобен. Ты по жизни такой? Или для меня?

— Для тебя, конечно. А так, угрюмый.

— Да к тому же и импотент?

— Точно! Видишь, сама всё знаешь.

На еду набросились, водопад журчит, он домашний такой, он тоненький, дождь покрапал и перестал, гром раскатами

долетает едва слышными, еле-еле, а над морем над горизонтом, там подлили ещё чернил, и сверкают немые молнии. Ну и тут всё тоже без слов, утоляют голод, смотрят в глаза, в их бокалах рубиново-ароматно «Хванчкара» убывает и прибывает. Наконец приборы отставлены, уже можно и говорить, но молчат, игра вдруг затеялась, кто же первым хоть слово скажет, и в гляделки тоже игра, в ней не сыщется победителя.

— Любишь пасмурную погоду?

Это он спросил, уступив галантно Анне первенство по молчанию.

А она быстра как мангуст:

— Ты всегда уступаешь даме?

— Ничего я всегда не делаю. Всё решается одноразово. И с нуля. Понимаешь? Нет?

— И со мной с нуля?

— А в чём разница? Ситуация — лучший гуру.

— И куда мы с тобой с нуля? Далеко мы с тобой заехали?

— Прямиком в тридцатое мая.

— Это всё?

— Ну вот «Хванчкара».

Рассмеялась.

— Да, преуспели.

За соседним столиком местные, трое, четверо, может, пятеро, не трезвы и пьянеют дальше, с Анны глаз не сводят давно.

— Неуютно. Давай уйдём. Съели, выпили. Прогуляемся.

Не успели, один уже рядом, приглашает даму на танец.

— Извини, дорогой, пожалуйста. Дама только со мной танцует.

— Так а ты ж не танцуешь.

— Вот именно.

— Так танцуй тогда. Ты танцуй давай.

— Я бы рад, друг. Музыка нету.

— Так а мы нам организуем! Для гостей. Танцуйте, пожалуйста!

Он отходит, но он вернётся. И Григорий с Анной уходят. В спину громко им говорят, непонятно и фрикативно. И возница везти не хочет, говорит, что надо набавить, а на самом деле резину тянет, не лежит душа его помогать инородцам, чтоб избежали предлагаемых развлечений. Вот и музыка зазвучала, Челентано с магнитофона, и сейчас догонят, вернут.

— Побудь здесь. Старик не опасен.

И Григорий вернулся к тем, а потом и от них вернулся.

— Можно ехать, — сказал вознице.

Тот и так уже влез на козлы, ему крикнули от стола. И зацокали вновь копытца, путь под гору не то, что в гору, настроение тоже вниз.

— Вот же люди! — вздыхает Анна.

— Это тянет на афоризм.

— Ну и что ты им там сказал?

— Игра слов. Непереводаемо.

— Язык знаешь?

— Какой?

— Понятно. Показал им ксиву гэбэшную?

— Ну, вот видишь, как угадала. Не читать мне книгу твою теперь.

— Слушай, Гриша, ты голову мне морочишь?

— Ну, а как ты хочешь? Чтоб не морочил?

— Да не знаю уже, я чего хочу.

— Хочешь, правду скажу, как есть?

— Ох, не знаю. Ну, говори.

— Денег дал им вот все, что были. Гадким трусом себя там выставил. Таким мерзким, что замараешься. Если тронуть. Гордые люди.

Едут молча, почти приехали.

Анна дух переводит.

Расхохоталась.

— Так мы что теперь, без гроша?

— Я рассчитывал на тебя, Саид.

Обнимает его, целует.

— Я не знаю, кто ты и что ты, но хочу быть с тобой всегда. Дай ещё кому-то, пожалуйста, чтобы мы с тобой не расстались.

И покинув пролётку, берут такси и несутся по набережной залива, тут почти как в Александрии, ехать долго и сбоку море. Хлынул ливень и барабанит, набивает «Волге» в салон, словно перья в подушку, уют особый.

— А куда мы?

— А без понятия. Командир, давай в Эльсинор.

И таксист, подмигнув, кивает, и они, обогнув залив, мимо Мыса, вот Мыс уже, едут дальше, и море сбоку.

Анна шёпотом:

— А там что в «Эльсиноре»? Кабак? Отель?

— Там посёлок рыболовецкий.

— Да? И кто ж его так назвал?

— Ну как, кто? Ещё Одиссей. Может быть, Андрей Первозванный. Розенкранц с Гильденстерном. Гамлет. Выбирай, Анюта, любого. Кто там первую рыбку себе поймал, тот и дал ему это имя.

— И, конечно, ты, милый, знаешь тайный смысл такого созвучия?

— Это, Ватсон, элементарно. Означает на праарийском скумбрию эвксинскую с понтом.

Рассмеялась. Смешная шутка. Неужели он так и пишет? Далеко пойдёт, если выдержит. И похоже, и непохоже.

Давно ливень уже покинули, балагурят поверх оскомины, едут, едут в закат багровый, и никак пока не доедут.

— А на самом деле?

— На самом деле там развалины, Анна, крепости на обрыве на берегу. Может, турки, а, может, греки...

— Финикийцы, — сказал таксист. — По старинке Абракка-Акка. Но давно зовут Эльсинором. Говорят, поэт Пушкин так называл.

Бригадир рыбацкой артели рад Найдёнову, как родному, Боря, с голым могучим торсом на веранде под виноградом с самоваром с семьёй за чаем, ну вот, лучше и быть не может, к чаю сушки, варенье, бутылъ с вином, за столом детишек с пяток, шурин, брат и жена Варвара, кто что любит, тем и доволен, и по крепкому воспитанию, по рыбацкому, без разбавок, тут вопросов не задают и на Анну глаза не пялят, громких тостов не произносят, и беседа течёт неспешно про Гюго и про рыбный промысел, и про то, что жизнь хороша. На отшибе тут флигелёк, свежее выбелен, пол скрипуч, накрахмалены занавески, матрац панцирный, дверь с засовом, и кувшин с водой из колодца, и, друзья, доброй ночи вам.

— Так, а мы же всех перебудим.

— А по-тихому?

— А пружины?

И Григорий Анну ведёт, с остановками, с поцелуями, с плоским бледным лучом фонарика под ногами, чтоб не ступить босиком на ежа с гадюкой, он ведёт их к сетям на берег, те здесь свалены для просушки, и на них почти как в стогу.

— Удивительно, мне не холодно. Было холодно, стало жарко.

— А не видишь? Тут ливня не было. Тут вообще закуток особый. Тут оазис. Всегда тепло.

— И зимой?

- Зимой не бывал.
- А откуда ты тут всё знаешь?
- Подвизался у Борьки тут в том году.
- Изучал рыбацкую жизнь?
- Да башку приводил в порядок.
- Получилось?
- Суди сама.
- Сумасшедшая с сумасшедшим.

Сети пахнут как океан, и глубинами, и простором.

И Григорий Анне глаза в глаза, а там звёзды, себя не видно, и сегодня снова вчера, и ненастья все там остались, и Григорий с Анной, в объятиях, закатились в завтра опять, Боже, как я тебя хочу, Гриша, Гришенька, Анна, Анна, ну войди уже, он вошёл, он вошёл уже, ну войди же, он вошёл, наступило лето.

И ночь вздрогнула.

И слились, два в одно, на миг ли, на вечность, два в одно, навсегда, на миг.

Теперь оба глазами в звёзды, с хрипотцою дышит прибой, они тоже дух переводят, ветер тёплый их влажных гладит, затихает, потом опять, все движения — морю с ветром, остальное остановилось, даже звёзды.

Пауза ночи.

Побыла, потешила.

Подалась.

— Боже, снова тебя хочу.

— Анна.

— Гриша, Григорий.

— Анна!

Под ней сети пружинят, дышат и узлами ей давят в спину, и не давят уже, и давят, благодарна, милые сети, вы впивайтесь в меня, держите, боль дарите, сильней давите, ох терзайте меня, держите, ох не дайте сойти с ума.

В Доме творчества за обедом пустовато и ностальгично, уже многих не досчитаться, поразъехались, время вышло, за столами зияют бреши, а казалось, что мы Гекубе? что она нам? ан-нет, Горацио, как-то всё же она нам как-то, да и как-то ей как-то мы. Да, Горацио? Паутинки протянулись, никто не видел, а порвались, и сразу вот тебе, ну не так, как цепь у Некрасова, тем не менее — отскочило, тем не менее, прикручинило.

За столом у Анны один фантаст, подменяет собой всю троицу, но как раз и не подменяет, а смущён, кто бы мог подумать, как юнец на свидании, вот впервые с ней один на

один, и молчит как пень, говорит, что харчо не очень, а на большее не хватает ни фантазии с мизантропией, ни уверенности в себе, а блистал же на свой манер при Заречко и Буженинове, драматурге с бытописателем, в их присутствии Рубанок полагал себя исполином, щедро потчевал с каждой трапезой всех своим скабрёзным нуаром, на их вкус пришёлся, имел успех, а без них, бедолага, сдулся, оробел, пред Анной не забалуешь, вот помалкивает в харчо, и его развлекает Анна, не скучать же ей за двоих, тербит ему нервы с невинным видом, ну а как хотел, остряк доморощенный, реванш, милый, за весь сезон; Анна речь завела о Ксавьере Холландер, о её на шумевшей «The Harry Hooker», разумеется, он не знает ни английского, ни Ксавьеру, не беда, Рубанок, мужайся, Анна знает, тебе расскажет мемуары дамы по вызову, а подробности, не взыщи, что написано, знай, пером, то тебе сейчас и втемяшат, ты к скабрёзностям тяготеешь? ну так вот тебе под харчо, под котлету с пюре, под чай, к трём положенным блюдам, — сегодня отвальная, — подают четвёртое, подавись; Анна тешится, тот потеет, протирает очки салфетками. На Найдёнова через столики Анна даже и не глядит, чтоб не мудрствовать, не терзаться, и вообще ещё им отпущены на двоих два дня и две ночи, и вообще никто тебе, Анна, конспираций не отменял.

Оба классика тоже убыли восвояси, почить на лаврах; у Найдёнова за столом только двое, он, сам Григорий, и она, Маргарита Львовна, вот такой вам обед вдвоём.

Воробьёва и говорит:

— Наконец-то! Можно спокойно беседовать.

А Найдёнову, как и Анне, палец в рот в тот день не клади.

— Раз уж так, Маргарита Львовна, а скажите мне, дорогая, между нами по старой дружбе, а какого ж лешего так у нас, что в почёте такие бездари?

— Это, Гришенька, про меня?

Рассмеялись, им стало весело, почему-то легко сегодня им беседовать с глазу на глаз.

— Нет, конечно. Вы настоящая.

— Ну, спасибо на добром слове. Ты про что? Про литературу?

— Да уже, пожалуй, про всё.

— Ох, пройдоха ты, Гришенька! Гнев на милость? Уж не вздумал ли ты, Григорий, обольстить меня? Я кремень.

И смеются, ну правда ж, весело.

— А ответ на вопрос ваш, юноша, на наивный ваш, на лукавый, вы и сами прекрасно знаете. Раз играешь, играй по правилам. Или знай, как их обходить. Не умеешь ни то, ни это, в сторожа иди, по ночам пиши. В стол пиши и жди перемен. Передай мне, будь добр, горчицу. Ну, я как, ответила? Ты доволен?

— Вы в ударе сегодня, Маргарита Львовна.

— Так мы ж в курсе, что есть с чего.

— Первый жаркий денёк?

— Ага. Не тревожься. Не жду добавки. Не сейчас. Потом как-нибудь. А? Заглянешь ко мне в Москве?

— Обещать сейчас легче лёгкого.

— Необычный ты. Врать не хочешь. Крепко битый? Не отвечай.

— Я отвечаю вам. Кроме вас всё равно, блин, никто не вкурится. Я не крепко битый, а насмерть.

— Так и знала! Вот так и знала. Ну, спасибо, что разъяснил.

— Сам не знаю, чего вдруг брякнул.

— А я знаю. Спасибо, Гриша. Ну а ужинать будешь сам. Улетаю вечерним рейсом.

Он ей руку целует.

— Bon voyage!

Анна в «люксе» тут проживает, не хотела прежде к себе, потому как всё же неловко, перепад социальных уровней, и смутить горазд, и унижить, а мужчин нельзя унижать, но теперь уже будь как будет, за спиной уже Эльсинор, на спине его отпечатки, и комфорт по контрасту не будет лишним, а возросшая гравитация, притяжение их к друг другу, их отчаянье и решимость до разлуки не расставаться, нивелируют остальное.

Соглядатаев прежних нет, можно сделать и послабления в конспирации, прозрачной и без того, но условились, тем не менее, всё ж на вечер, на после ужина, передышка нужна обоим.

Не увидел Григорий Анну за ужином, не иначе как проспала, и подвоха не ждёт, ну а если вдуматься, то к подвоху будьте готовы, всегда готов!

Пуще прежнего пусто в столовой вечером, Рубанка и того уже след простыл; атмосфера детского праздника, в класс пришёл, а там никого, за любую парту садись мечтай. Через два стола от Найдёнова мирно пищу вкушают двое, «Забодая» автор прославленный Павел Нудельман во плоти и Зиновий Каракалпакский, в них загару прибавилось, «Арарат» с собой.

— Посмотрели уже «Полёт», Григорий?

— Только слышал пока восторги. Обязательно посмотрю.

— Завтра тут покажут.

— Вот видите, на ловца и «Полёт» летит.

В этой трапезной опустевшей разговор через два стола отдаётся гулом под тусклой люстрой.

— А вы знаете, к нашей Аннушке нагрязнул супруг?

— Да не сам, — добавляет Нудельман. — А с каким-то принцем из Африки.

А Зиновий Каракалпакский, он же дока, он вносит ясность:

— С принцем крови, но не из Африки.

— А откуда ж?

— Из Кирибати.

— Это где же?

— Да где-то там. В Полинезии. Да, Григорий?

— Я не местный, — сказал Найдёнов. — Кирибати? Впервые слышу.

— Ничего удивительного, Григорий, — полагает Каракалпакский.

Да и Нудельман с ним согласен:

— Верно-верно, не удивительно. Почему, Зиновий?

— Так нет на карте. Обрело независимость только-только.

— Верно-верно, — кивает Нудельман. — Только-только с пальмы спустились.

У обоих лица как в покере, их тандему мимика давно ни к чему, а зато «Арагат» в подмогу.

— Ну а раньше как назывались?

И ответил Каракалпакский, что намерен в беседе выяснить, — на короткой ноге он с супругом Анны, а теперь вот знаком и с принцем, принцем крови из Кирибати, — Соломоновы острова. Он напутал, ты знай, Горацио, но скажи, Горацио, что с того?

А Найдёнов им вот что высказал:

— Соломоновы острова? Ну так это ж другое дело!

— Верно-верно, — кивает Нудельман. — Так а что, Зиновий, послом он теперь туда к ним?

— Душа Павел, каким послом? Он проездом с ним на охоту. В горы, Павел. На кабана.

— Верно, Зяма. На кабана.

— Вот такой вот, значит, сюрприз, — сообщает Каракалпакский. — Нашей Аннушке. Это, друзья, любовь. Полагаю уже умчались. Шёл на ужин, уже кавалькады нет.

У себя Григорий из чемодана достаёт бутылку «Пшеничной», что всегда там на всякий случай, чтоб

memento нам, значит, могi, наливает себе стакан, выпил залпом, дух перевёл, и пошёл бродить над обрывом и смотреть, как вечер густеет, и смотреть на звёзды, когда зажгутся, и когда их ему зажгли, убедил себя он доходчиво, что всё в жизни всегда всё к лучшему, это лишние были два дня, две ночи, что, казалось, им предстоят, и Крупье их смёл со стола, так что радуйся, друг Григорий, а не марью дуйся, Горацио, и печальный рассказец придумался, и Найдёнов к себе отправился записать его покороче.

Постучали в дверь к нему шёпотом и толкнули, и входит Анна, у Найдёнова ум за разум, и сперва ему дежавю, на ней белое кимоно, всё в цветах вишневых и розовых, в руках книга в газете «Правда», а в глазах, туда лучше вам не смотреть.

— А я думал, ты укатила.

— Не позвали. Не до меня. А ты думал, что распрощался?

— Здравствуй, Анна. Чертовски рад.

На кровать присела, заплакала.

— А ты пишешь? Ни дня без строчки? А я книгу тебе. Возьми. А ты водку пьёшь? А налей мне. А чем закусывать? У меня там фрукты. А принести?

— Да не надо. Водой запей.

— Не зову к себе уже, да?

— Так и правильно. Время позднее.

— Ты обижен, да?

— Не дури. Хватит плакать. Выпей давай.

— Хватит плакать? А знаешь, мне какво?

— Так тем более. Пей до дна.

— У мужчин на всё есть ответы. Вот всё просто как-то у вас.

— Давай так, это что в газете? — посмотрел, полистал. — Так и знал. Давай так, я за ночь прочту, а за завтраком утром завтра всё как раз и обсудим. А? Как тебе такой план? Шедевр?

Анна встала.

— Прости меня. Дрянь я, Гриша. Ты прости меня. Много мне вдруг всего.

— Мне прощать тебе, Анна, нечего. А за книгу спасибо. Спокойной ночи.

— Я с ума от тебя сойду.

— Вот поверь мне, того не стоит.

— А вот это не нам судить.

— А кому?

— А ты в Бога веришь?

— Так он думать не запрещает.

— Кому как.

Невесело усмехнулась.

— А возьми меня. Я отдамся. А гори оно всё огнём! В один день и с ним, и с тобой. Помоги мне пасть. Не побрезгуй.

— У тебя уже получилось. В одни сутки со мной и с ним.

— Да к чертям твою арифметику! Просто трахни меня и всё.

На полу уже кимоно, вот и трусики, чтоб ладонь в них запустить, как Найдёнов любит, но не сладок тот миг ему, много вдруг и ему всего, кимоно возвращает на место молча, а пока надевал на неё, решился.

— Ну тогда, раз тебе цинизму, то давай к тебе на кровать. На кровать к тебе, на кровать, где супруг тебя только что. Ну не только что, час тому. Так сойдёт? На шедевр потянет?

— Ты не шутишь?

— Я не шучу.

— Разозлился, да? Ну идём, раз так.

На второй этаж лестница в два пролёта, ступени каменны, широки, посредине дорожка прижата к ним металлическими прутами в набалдашниках с позолотой. За конторкой дежурной пусто, ну хоть в чём-нибудь повезло. Да, не так себе представляла, как придёт он к ней в её «люкс».

— Ну давай, расскажи, показывай, как тебя он. Берусь повторить точь-в-точь.

Так отчаянно всё и гадко, что свободы хоть отбавляй, и нелепым ей представляется в этих рухнувших измерениях, что решил он предохраниться, — от кого? зачем? что за бред? — но сказать ей на это нечего, и молчит, и лежит под ним, погрузившаяся, раскорячившись, принимая его труды и как должное, и как грубость, и как ласки, и как позор, и пронзается вдруг бесстыдством, настоящим, без оговорок, и, пронзённая, враз вскипает, и её волной опрокинуло, утопает в водовороте, вовлекается, в спираль скручена, вовлекается целиком, сметена стихией, сама стихия, сметена стихиями, сметена, отдаёт себя им на милость, в руце Твои предаю себя, и страдает Анна и тешится, стонет, охает, смеется-плачь.

Он закончил, поцеловал, встал, оделся.

— Пошёл читать. Разбудить вас на завтрак, девушка?

— Погоди. Посиди. Прошу.

Он присел на кровать к ней, к нему, ко всем.

— Лучше б всё-таки мне откланяться.

— Хоть понравилось?

— Несомненно.

— Наказали падшую? Поделом ей?

Сразу вспомнилась та девица у скамейки сто лет назад, как она приложила смачно всем, кто был там: «И поделом!», Гриши не было, не расскажешь, да и что теперь говорить.

— Поделом ей? — переспросил. — Мне отмщение, аз воздам.

— Вот что знаешь! А веришь в это?

— Ещё как.

— А как?

— Да молча. На всю катушку.

— Так мы что с тобой, христиане?

— Несомненно. Сама не видишь?

Рассмеялась; промозгло, горестно.

— Боже правый! Что мы творим?

— А найдётся выпить?

Ему нашлось. Холодильник, свежи гостинцы, и коньяк початый в звёздах на фюзеляже.

— Тем запретных теперь больше нет? Скажи, как зовут его.

— Максимом, Гриша. Зачем тебе?

— Лучше знать, чем гадать. А так ни зачем.

— Садо-мазо? Коньяк хорош?

— Не без этого.

— Ты про что?

— Мой ответ на оба вопроса.

— У тебя не принято тушеваться?

— Ситуация — лучший гуру.

— Вот как вышло всё. Больно, да?

— Всегда больно, пока живём. А тебе что, периодически?

Рассмеялась.

— Мудрец Найдёнов. Ты и пишешь, как говоришь?

— Научусь когда-нибудь, полагаю. Ты зачем просила к тебе присесть? Время позднее, книжка толстая.

— Да хотела сказать спасибо. Извиниться.

— Давай. Вперёд!

Рассмеялась.

— Спасибо, Гриша.

— На здоровье.

— Прости меня Бога ради.

— Не нуди, пожалуйста. Ладно? Мне прощать тебе ровно нечего. Good night, lady. And dream sweet dreams.

Не решилась просить остаться, он ушёл и читал всю ночь, а она до утра проплакала, и потом приснился ей сон, в нём Найдёнов давал ей денег, чтоб она от него отстала, а она, архалук напялив, торговалась, набавить надо, надо справить ей экипаж, золотую карету с упряжкой цугом, и

умчится она тогда от Найдёновых и Аксёновых, от Максимов, Григориев и Василиев, от всех Глебов, Андреев, спецслужб и минкультовцев, от амбиций, страстей и нужд, напрямик в небесный град Китеж, что покоится на дне озера, унеслась бы, никак не сторгуются, а Максим с принцем крови из Кирибати, те велят Найдёнову не плошать, и от Анны не откупаться, а купить у неё за деньги ночь утех себе, ночь любви, и они ему подсобят, а не то ж он один не сдюжит, по всему, кобылка-то норовиста, и они на Анну втроем, папуас и Максим с Найдёновым, заседают со всех сторон, заполняют, переполняют, так, что сил уже никаких, что поделать, денег взяла, теперь куплена, продана, нужно выдержать, скоро кончится, скоро утро, скоро завтрак, скоро домой, к мужу, к Максиму, с ним она там всё забудет, всё обойдётся, только Макс он и там, и тут, перепуталось всё, запуталось, не иначе дьявол попутал, вот поди теперь разберись, может, надо не соглашаться? с кем и с чем? да со всем, что есть, всё, что так, не так, и не так — не так, всё не так, ребята...

У Найдёнова в чтении дежавю, сразу несколько, вперемежку, пересказан ему роман был на днях благодетелем в ЦДЛ, и теперь на страницах за поворотами уже знаешь, что там за ними, и другое интересуется, интонации, как рассказано, и забавно видеть различия между сказом в дыму задушевности, под коньяк и выплески откровений, и читаемым ныне текстом южной ночью в тиши с цикадами, канонический соревнуется с пересказанным, аж кричат, честно бьётся, обороняется, чтобы титул свой отстоять, а вот выдюжит ли до гонга, мы узнаем, достигнув точки, ты готов до точки? всегда готов! И ещё Найдёнову Анна видится в персонаже с именем Таня, Аня-Таня, каким вас ветром? да известно каким, Григорий, бурным ветром воображения на основе личных знакомств, а ещё тут, конечно, ввод войск по просьбе, войска вводят, пошла стрельба, и Найдёнову надо выпить, вот брызг мозгов, пошла стрельба в упор, кишками замотала штыковая, и рукопашный, хрусткость и скор, под вздох, под вздох, темно в глазах, ну что, Иисус? ну что, Аллах? ну кто, ну что, ну где, ну как — светает.

Дочитал, умылся, уснул без снов.

И приснилось ему тайком, от друзей, от врагов, от всех, что воюет он, но не тут, а там, на отцовской большой войне, и фашистам уже кирдык, вот Рейхстаг, пиши на колоннах, а Найдёнов тоской снедаем, и причины у той кручины всё

никак во сне не ухватит, как же так, почему не рад, вдруг узрел и вскрикнул от ужаса, Боже правый, только не это, пробудился, фух, слава Богу, отдышаться никак не может, надо выпить, ну и дела, в этом сне он там в день Победы был не русским, он немцем был, ну и ну, вашу мать, ну нафиг.

Выпил, лёг, лежит размышляет над причинами с результатами, в размышления всяко лезет, и из книги, прочитанной и понятной, и из жизни прожитой, непрочитанной, недожитой, чего тут больше, от искусства ли, от Творца, где реальность и где фантазия, без стакана не разберёшь.

Их за завтраком нет обоих, и в обед их тоже не видно, кто, что думает, то и думает, и на сей раз вот зря как раз. И за ужином он один, не один как раз, с пополнением, много новых, а Анны нет, надо думать, что укатила, надо думать, но он не хочет, приказал себе и не думает, и со всеми приветлив молча, ублажает свой аппетит. Перед ужином он на почте телеграмму отбил Мамаю, чтоб тот слал сюда перевод, ну хотя бы целковых двести, лучше триста, лучше пятьсот, потому как, ну потому; меж собою Найда с Мамаем счёт давно не ведут, лет двадцать, завтра что-нибудь телеграфом и прибудет сюда, уверен, для дальнейшего поддержания вдохновения и всего.

Прогулялся по территории после ужина. Анны нету. В моцион увязались с ним ещё трое из новоприбывших, но поддерживать разговор в его планы не входит на этот вечер, потерпел их на первом круге и отклонялся на втором.

И в девятом часу постучался к ней. Дверь толкнул, заперта. И тихо. Развернулся уже уйти. Отворила, не отворила, просто ключ в замке провернулся. Он вошёл, она у окна в фиолетовом сером сумраке.

— Не включай. Садись, если хочешь.

— Натерзалась?

— Снов насмотрелась.

И молчат.

Он на стуле в сумраке плотном, Анна спиной к нему у окна силуэтом темнее сумрака.

— Прочитал?

— Да, принёс. Спасибо.

— Ну что скажешь?

— Про смелость или про качество?

— Про что хочешь.

Долго молчат.

— Я пойду?

— Побудь, если можешь. Где-то там коньяк на столе.

Тоже миг, вам скажу, не хуже, чем другой, о котором знаем, в том ладонь, под ней шёлк и шерсть, а тут бархат — коньяк и темень; если нюх и слух у тебя звериные, если знать, как действовать в темноте, если выверен твой глоток не на глаз, а в трудах прилежных, то тогда, Горацио, во мраке глоток такой озарит, Горацио, и тебя и мрак.

Повернулась к нему лицом, к подоконнику прислонилась, руки сложены на груди, сумрак гуще, тушует абрисы.

— Ты к причастию?

Не ответила.

— Я побуду, сколько смогу.

— Благородно.

— А то! К тому же тут сейчас лучше, чем где угодно. Это мне так коньяк сказал.

— Вот как даже? Пришёлся, да?

— Мне коньяк? Лишь бы я ему. В остальных же точках пространства, говорит, сейчас хреновато, говорит, сейчас пустовато, пресновато, солоновато, горьковато и скучновато. Так что тут, поверь, хорошо.

— А я думала, грешным делом, хорошо как раз там, где нас нет. Разве нет?

— Так а нас и нет.

Может даже, что улыбнулась в темноте, шелестнули губы.

— Радикально, Гриша. С плеча. Циник, да? А мне помогает.

— На здоровье. Любой каприз.

Не видал он, как тушью она по ватману, но представить себе он легко умеет, он же выдумщик, он писатель, он пришёл из неяви в явь добывать проявленность новую, а на ватмане для него карандаш любимое дело, не писал бы, вложил себя бы в нанесение тонких черт на бумагу грифелем из графита, у него в приятелях на Москве мастер жанра Серёжа Гета, обалденные чудеса вытворяет карандашом, и зовётся это, Горацио, гипер, знай себе, реализм, ты бы глянул, с ума бы спятил, а Найдёнов момент вкушает, коньячок босичком по жилкам, и удобный надёжный стул, — возведут на царство, с собой возьмёт, лучше трона и быть не может, — всё способствует созерцанию, удивительному занятию, в нём соитие с замиранием, в нём движение и покой; вот в различных оттенках шорохов через все оттенки графита проступают оттенки бархата, сперва синего, потом чёрного, переходят южные сумерки в ритме танго в южную ночь.

— А зачем мы, Гриша, живём?  
— Это ты подметила верно.  
— Что подметила?  
— Что зачем?  
— А не знаешь? Ты же писатель. Ну хоть чем-нибудь обнадёжил бы.

— Я согласен, Анна, с раввином. Ах какой прекрасный вопрос! Неужели ты, Мойша, хочешь испохабить его ответом?!?!

Рассмеялась шёпотом в темноте.

— Кто ж ты, Гриша, на самом деле? Ангел? Дьявол? Герой? Пират?

— Выбирай за счёт заведения.

Рассмеялась.

— Ну вот. Кудесник!

— Знаешь, что, моя дорогая? А упрись-ка ты в подоконник.

— Нет, не надо, прошу тебя.

Тем не менее, слово за слово, повернулась и наклонилась, под халатом без ничего, ну не надо же, ну зачем же, ну не надо же, ну пусти, ну нельзя так, нехорошо же, сам же знаешь, нехорошо, ну пусти уже, что ты делаешь? снова будет презерватив? а сама скажи, разгадай, хочешь в попу? без вазелина?! что творишь ты? что мы творим? там на зеркале, сам найдёшь? боже правый, давай уже, ой не надо так, ой давай...

— Ты б потише бы.

— Не могу, да и ну их всех, все в кино.

— Точно, Анна. Все на «Полёте».

И летят на тот подоконник в слабых отсветах фонаря у неё из глаз искры яркие.

...не могу уже, Бога ради, отпусти уже на кровать, и кровать тут уже знакомая принимает их как родных, и пятнадцатый тур балета, Марлезонский, Бахчисарайский, да без разницы, хоть Таврический, воплощается будто новый, новым вытанцем, новым высверком, выправляет горести в страсть.

Под окном из кино идут, но второй этаж он не первый, пересуды вяло сюда, и Зиновий Каракалпакский тоже, видно, не Федерико, не Тонино Гуэрра он.

Встал Найдёнов, прошёл к столу, в темноте глоток совершает.

Говорит ему Анна радостно, говорит печально ему:

— Да, скрутило меня, а ты выкрутил, раскрутил. Благодарности принимаешь?

— Не сегодня, если не против.

— Так и знала. Спасибо всё же. Получились лишние дни?  
— Получились.  
— А ты им в морду?  
— По балде им. Своей балдой.  
Улыбаются в темноте.  
— Чародей и маг ты, Найдёнов.  
— А ты просто Шахерезада.  
— Это чем же?  
— А не соскучишься.  
Рассмеялась и тихо плачет.  
— Почему так люди живут?  
— Как ты терпишь всё это, Господи? — говорит в темноте Найдёнов и за Господа отвечает: — У меня такой же вопрос к тебе.  
— Да уж. Верно же. Что тут скажешь? Ну и как теперь без тебя?  
— Без меня? Кому без меня? Я вот.  
— Чтоб ты, Гришенька, был здоров!  
— Предлагаю паллиатив.  
— Боже! Ты словари читаешь?  
— Я как раз пришёл в настроение обсудить с тобой «Остров Крым».  
— Разругаемся?  
— Вот узнаем.

И пустились Григорий с Анной, оба-двое, он и она, и она и он, и то так, то эдак, в чехарду запрещённой книги, что Аксёнов им сочинил и уехал, и, Бог, храни его, и идея там просто блеск, Крым за белыми, красными не был взят, и построен дворянами тут на острове русский мощный капитализм, и живут себе припеваючи по соседству с эсэсэсэр, там мы знаем что, а тут вот что, сохраняют нейтралитет, и от турок отбились славно, вот и горя бы им не знать, только миром идеи правят же, вот и здесь родилась такая, от лукавого, ясно, с жиру, и захватывает умы, союз общей судьбы возник, не сидится ему на месте, и желают объединиться и войти в состав СССР, ну и дальше, ясно, ввод войск, всем хана и тушите свечи; тут прямая аллюзия, кто не понял, на Афган, на декабрь наш в семьсят девятом, как вошли мы туда в него; и Григорий с Анной, увлёкшись, персонажам кости перебивают всем подряд, и себе, и всем, все нюансы перипетий взалёб, сбивчиво вспоминают, не дают друг другу сказать, умолкают, и снова tutti, вот она тебе, друг Горацио, эта самая сила искусства, что Гекуба им, да? ан-нет, в темноте, неодетые, вот, казалось бы, и о чём они?

о прочитанном, вот над вымыслом жарко спорят, позабыв на время про время, отложив печаль на потом; и в конце концов у Григория с Анной разномнения их притёрлись, точки зрения их совпали, и сложилась головоломка.

Можно дух им перевести.

В двух словах получилось вот что: потрясающий этот замысел воплотился не бог весть как, и на вкус их, Григория с Анной, в данном случае совпадающий, стиль романа не впечатляет, а напротив — не впечатляет, и рассказана эта басня дуболомно и скудоумно. А тебе оно как, Горацио? Я согласен, что им видней.

— Вот не думала, не гадала, что найду себе однодумца.

— Не поверишь, та же фигня.

И подсели к столу, и по рюмочке за Аксёнова, есть за что, за отвагу, Василий Павлович, в темноте, зато от души.

— Вот не знали с тобой друг друга ещё несколько дней назад. Вот не думали, не гадали. А теперь вот за Васю пьём, прочитав его сочинение.

— Если б только, — сказал Найдёнов.

Рассмеялась.

— Да нет, не так. Слава Богу, не только это! Так и знай, герой. Слава Богу!

— Богу слава, — сказал Найдёнов.

— Гриша, что такое судьба?

Он ответил без промедленья, в темноте, зато от души.

— Интриганство, Анна, небес.

Рассмеялась.

— С ума сойду. Гриша, Гриша, где ты был раньше?

— Я готов тебе повторить, что готов на тебе жениться.

— Если что?

— Если ты захочешь изменить всё. Со мной рискнуть.

Вот вздохнула, уж так вздохнула.

— Это ж надо нам быть с тобою в разговоре этом, Григорий, аки змии холодными. Ты согласен?

— Аки змии? Любой каприз.

— Ты бываешь серьёзным?

— Поверь, всегда.

— Сам сказал, ничего ты всегда не делаешь.

— Нет, не делаю. Да, не делаю. Но серьёзность это ж не деланье. Это, Анечка, состояние максимального, равномерного напряжения души с телом. Осознанка, если угодно.

— Записала бы.

— Свет зажечь?

— Вот уж нетушки!

Засмеялась. И умолкла. Темно. Молчат. Но Найдёнов, мы помним, рыцарь, уступает дамам, сказал:

— Ты что, правда, ломаешь голову портить жизнь себе или нет?

— Да не знаю, Гриша. Да вряд ли. Я слетела, Гриша, с резьбы.

— Слушай, Анна. Смотри сюда. Не приехал бы твой супруг, так и ты б никуда не слетела б. Ни с резьбы, ни с чего другого. Это раз. Ты с этим согласна? А теперь и два тебе. Слушай. А что, собственно, приключилось? Ну скажи мне. А ничего. Всё, что было к тому моменту, на своих местах и осталось. Ничего ни на пядь не сдвинулось. Остальное сумбур рефлексий, обвал мнений, скандал души.

— И откуда слова находишь?

— А ты выгляни из оконца и узрей, что полный ажур. И кати спокойно домой. И блюди очаг всем на радость.

— Прозвучало недружелюбно.

— Смысл оставь. Интонацию прочь подай.

— Интонацию? Вот как просто. Я влюбилась в тебя. Как быть?

— Анна, Анна, чего ты хочешь?

— Наконец вопрос на засыпку.

— Хочешь, здесь сейчас и простимся? Проведу денёк в Эльсиноре, чтобы ты спокойно уехала. Как тебе такой план? Шедевр?

— Ты и вправду такой?

— Какой?

— Да не знаю. Такой, как есть.

— Анна, Анна, мы воду в ступе.

— Правда. Глупая говорильня. Расскажи про войну мне. А? Это как, когда смерть в лицо?

— Ну, свобода такого уровня.

— От чего свобода?

— От жизни. От уплаты за электричество.

Рассмеялась.

— Да ну тебя. Ну а правда?

— В слова не влезет.

— А напишешь?

— Прозу не стану.

— Почему?

— Так уже ж ответил.

— А стихи?

Он кивнул в темноте.

— Так, на ощупь. В них больше про возвращение.  
— Тошно было?  
— И есть, и будет.  
— Не сопьёшься?  
— Ну почему? Если Родина скажет «спейся», то Найдёнов всегда готов.

— Давай выпьем?  
— Давай, Анюта. За тебя, мечта моей жизни!  
— За тебя, Григорий. За нашу встречу.

Холодильник нутром весёлым осветил на миг часть вещей, и захлопнул; фрукты холодные и конфеты «Южная ночь». А ты помнишь их, друг Горацио, там обертка цвета индиго, на ней пальмы, над ними звёзды, золотую по небу россыпью, а внутри в шоколаде там мармелад, не едал вкуснее, а ты?

Анна снова прошла к окну, потянулась, халат накинула.

— Воздух вкусный. Иди сюда.

Подошёл, стоит, не касаясь.

— Ну, а мы с тобою поместимся хоть куда-нибудь, а? Скажи. Не в слова, так хотя б в себя бы. Или сердце лопнуть должно?

Он ответил:

— Не знаю, Анна. Знаю только, что боль нас лечит.

— И калечит?

— Нет, Анна, лечит. А калечим себя мы сами.

— А зачем же?

— А чтоб вот знали!

Рассмеялась.

— А что? Ты прав.

Обернулась и обняла.

— Я хочу тебя. Будь со мною.

Он обнял её и молчит.

— Ну, шепни хоть разок, что любишь.

И он шепчет, едва разобрать: когда с тобой мы наконец расстались, пылал закат над серыми домами, с тех пор прошло уже немало лет, но всякий раз перед заходом солнца я горьким одиночеством болею...

— У нас день впереди и ночь?

— У нас день впереди и ночь.

— Не расстанемся?

— Не расстанемся.

— А потом уйдёшь?

— А потом уйду.

— Я уеду?

— А ты уедешь.

- Я люблю тебя.
- Я люблю тебя.
- Ты найдёшь меня?
- Я найду тебя.

Он ушёл от неё на рассвете тихим утром второго июня, оглянулся в дверях и вышел, это ляжет на ватман тушью.

Жили долго потом ещё и она, и он, Григорий и Анна, в новый век далеко заехали, всегда помнили, не забыли, но не встретились уже никогда.

\*\*\*\*\*

Хотите - верьте, а лучше - проверьте! Первого апреля в Хайфе открылся новый магазин "МИЛЛИОН КНИГ". В переводе на чистый иврит - לִימון סְפָרִים – ЛИМОН СФАРИМ. Без лимонов не обошлось, потому что этот магазин - детище книжного клуба "Лимонник". В ассортименте новые книги и букинистика, на все вкусы и по самым доступным ценам.

*Магазин "Миллион книг - Лимон сфарим" работает с 10-30 до 18-00 по адресу: Хайфа, Книжный переулок между Герцль, 32 и Нордау, 15.*

Страница в «Фейсбуке»: <https://fb.me/limonsfarim>

\*\*\*\*\*

## Время Жэ

Недоумение намертво прилипло к лицу начальницы.

Эл забеспокоилась – Графеновая леди Зет, директор Научного центра под патронатом правительства, редко теряла самообладание. И только в том случае, если это нужно было для дела. Получить грант на новые разработки, например. Или выбить для Центра приглашения на межпланетный саммит.

Зет, казалось, сделала неимоверное усилие, разлепив губы, в глазах плясали шальные искорки. Выглядела она так, будто еще не решила, сходить ли ей с ума сейчас, или подождать до обеда.

– Поступил заказ, от которого мы не можем отказаться. Им, – Зет многозначительно указала пальцем вверх, – нужен мужчина. Жизнеспособный и полноценный. Мы должны восстановить мужской геном и к концу года предоставить готовый экземпляр.

У начальницы вырвался неуместный смешок, и она откинулась на спинку кресла.

Эл брезгливо вздрогнула, поправила очки. Восстановить мужской геном?! Она слабо улыбнулась, но наткнувшись на тяжелый взгляд Зет, вжалась в кресло.

Если это действительно заказ правительственной службы, то они хотят невозможного. Мужчины, как ущербная ветвь эволюции, выродились три века назад. С тех пор женщины стали хозяйками этого мира – разгребли генетический мусор, оставленный в наследство мужчинами, научились сами зачинать детей, выстроили правильный разумный социум, наладили связи с внеземными цивилизациями... И они должны снова впустить сюда вирус по имени «мужчина»?

Эл вздохнула – проект ляжет на ее плечи. Ей только двадцать два, но начальница прекрасно знает, как Эл относится к работе. Хотя лучше торчать в лаборатории допоздна, чем выслушивать от матери, что, мол, пора планировать личность ребенка и подавать заявку в Дом зачатия, а не грызть гранит науки там, где все края уже обглоданы.

Эл сняла очки, потеряла переносицу. Она до сих пор не простила матери своей близорукости. В современном мире, где можно проектировать внешность и личностные характеристики детей до рождения, мама решила, что у дочери должен быть недостаток! Так, считала она, Эл будет выделяться на фоне идеальной внешности своих сверстниц. Что ж, она действительно выделяется, хоть и не лучшими качествами. Корректировать запланированный дефект оказалось невозможно, линзы Эл не любила, вот и приходилось щеголять в очках...

—...приступишь немедленно, — Зет собралась, ее голос звенел сталью. — Это очень серьезно. Обсуждается вопрос вступления Земли в Межгалактический союз. Нас обвиняют в истреблении мужской особи и отказывают в сотрудничестве, ссылаясь на негуманные и варварские подходы. Земля обязана развеять эту клевету, а значит, наш Центр должен воссоздать мужчину, чего бы это ни стоило!

Зет поднялась, показывая, что разговор окончен. Эл задержала взгляд на начальнице: красивое волевое лицо, уверенные движения, комбинезон облегает безупречную фигуру. К счастью для Зет, ее мама была лишена желания сделать своего ребенка особенным.

Эл молча кивнула, неуклюже выбралась из глубокого кресла и вышла из кабинета.

Экран дрожал в воздухе, перед глазами мелькала надпись: «Информация устарела и удалена из хранилища».

Эл нахмурилась. Выходит, они знают про мужчин не так много. В хранилище данных остались скудные сведения об эпидемии генетической болезни, выкосившей мужчин за два поколения. Наваянные болезнью апатия, отвращение к физической нагрузке, тяга к отравляющим организм стимуляторам и зависимость от виртуальной реальности, - вырвали мужчин сперва из социальной жизни, а потом — из биологической. Данные прошлых эпох были тщательно прорежены: из истории от мужских особей остались только имена и род занятий. Колумб, Ньютон, Леонардо да Винчи, Гагарин... Женщины опасались воссоздать в дочерях ущербный ген и попытались избавиться даже от воспоминаний.

Но сейчас эта осторожность здорово мешала. Предположим, в инкубаторе они смогут вырастить тело, а модификатор просчитает личностные параметры, но нужны исходные данные! А в хранилище не оставили даже

анатомического атласа мужского тела! Будь она трижды главным конструктором Центра – задача невыполнима.

Эл порылась в кармане, выудила тонкую пластинку стимулятора, положила под язык. Вещество моментально впиталось в слизистую, и отметка на шкале настроения бодро поползла вверх. Теперь можно работать дальше.

Она нажала кнопку на служебном браслете связи, переключаясь на отдел исторических исследований. Экран мигнул, над столом повисло вечно удивленное лицо старшего археолога Ви, и приподнятые брови еще больше подпрыгнули под челкой.

– Что-то случилось, Эл?

– Меня интересуют находки, датированные временем до женской эры – когда мужская особь еще была полноценной. Странные, нерасшифрованные, противоречивые – любые.

Ви хлопнула ресницами, выразить удивление бровями уже не получалось – они исчерпали лимит прыжков вверх.

– Му-мужская о-ос... – она качнула головой, будто отказываясь произносить нелепое словосочетание. – Хотя, погоди... Только вчера пришел отчет... Вот, нашла! Артефакт 3564! На месте древней столицы обнаружили городскую библиотеку – первый век женской эры. Вскрыли вакуумное хранилище. Обычные книги, все давно оцифрованы, кроме одной. Язык попытались адаптировать, но лингвисты не смогли расшифровать смысл книги. Предположительно, это примитивный ритуал сближения женской и му-мужской особи для создания потомства. И, кстати, по инструкции артефакт как малоинформативный должен быть уничтожен в течение...

Эл не дослушала, прервала разговор, торопливо принялась набирать код лаборатории аннигиляции.

– Элли, хватит просиживать штаны за неблагодарной работой!

– И это говоришь ты, бывший сотрудник Центра?

Лицо мамы лучилось с экрана жизнерадостностью, на шее красовался нелепый пестрый шарф. Это в современном-то мире, когда все давно перешли на стандартные комбинезоны!

– Потому и говорю, что знаю. В космосе полно прекрасных мест – взять хотя бы мой плавучий остров...

– Можешь не намекать, в гости не прилечу. Занята, – отрубил Эл.

Мама подалась вперед – казалось, она вот-вот вывалится из экрана. Эл попыталась спрятать бумажную книгу за спину,

но безуспешно. Она застонала, только этого не хватало! Мама была страстным коллекционером старинных вещей, и если она заприметила артефакт, то не даст Эл прохода.

– О чем пишут? – глаза мамы заблестели.

Как это ей удается? Эл никогда не видела, чтобы мама принимала стимуляторы. Она - единственная из всех знакомых Эл - умела обходиться без них.

Эл начинала потихоньку закипать. Если маме скучно и хочется съездить на Пляндианский курорт, неужели нельзя это сделать с подругой вместо того, чтобы доставать ее глупыми разговорами в рабочее время?

– О мужчинах, – выпалила Эл, приготовившись к шквалу встречных вопросов. Но мама вдруг замолчала. Лицо вытянулось, стало непривычно серьезным. Она скомкано попрощалась – экран связи погас.

Эл моргнула, брови поползли к потолку. Еще немного и она превратится в Ви! Мама отключилась сама, не напомнив ей про Дом зачатия? Невероятно! Наверное, где-то неподалеку взорвалась сверхновая, и сознание мамы зацепило волной...

Эл вернулась к чтению. Она добросовестно пыталась понять книгу, но пока преуспела не больше лингвистов. Взять хотя бы название – «Взбесившаяся плоть». Поначалу Эл думала, что речь идет о болезни, возможно – той, что привела к вырождению мужчин. Но догадку пришлось отбросить. Первые десять страниц книги, к сожалению, ничем не напоминали медицинский справочник – скорее походили на фольклорную историю-роман. Версия Ви о ритуале сближения для создания потомства также потерпела фиаско. История описывала хаотичные встречи мужчины и женщины в совершенно не подходящих для зачатия местах – офисах, лифтах, подворотнях, туалетах. Более того, эти двое не думали о детях, и, судя по всему, страдали от нервного расстройства. Вот, например:

*...Брюнет коснулся меня, и в животе запорхали бабочки.<sup>1</sup>*

Ощущение, что внутри тела ползают насекомые или пресмыкающиеся – явный симптом расстройства восприятия.

И дальше совсем непонятное:

*Между нашими телами пробежало нечто вроде электрического разряда. Взгляд незнакомца изменился,*

---

<sup>1</sup> Здесь и далее использованы цитаты из книги Сильвии Дэй «Обнаженная для тебя».

*будто с его глаз соскользнул щиток, открыв сражающую наповал силу воли... Излучаемый им магнетизм усилился до такой степени, что уже, казалось, воспринимался на физическом уровне, как некое вибрирующее силовое поле.*

Электричество... Щиток... Силовое поле... Может, речь идет о неисправных киборгах? Нет, даже сломанный киборг вел бы себя логичнее.

*Сердце мое забилось быстрее, губы непроизвольно приоткрылись. И пахло от него чем-то приятным и одновременно греховным. Не одеколоном. Может быть, мылом. Или шампунем. Чем-то потрясающе притягательным.*

Учащенный пульс наверняка от интоксикации организма. Запах «греховный»... Эл порылась в словаре – то есть ошибочный, неправильный, плохой. Выходит, запах плохого шампуня, но не одеколона, почему-то казался женщине притягательным, но вызывал интоксикацию?

*Все внешнее перестало существовать, и мое тело жадно потянулось к незнакомцу... Ну как меня могло так тянуть к мужчине, слова которого вызвали гнев и досаду?*

Наконец-то правильный вопрос! Первый проблеск разума за всю историю. Вероятно, у женщины наступил редкий период ремиссии.

Эл отложила книгу – больше половины прочитано, а она и на одно нейтринно не приблизилась к пониманию мужского психотипа, разве что узнала некоторые физиологические подробности. Поморщилась, вспоминая сцены спаривания. Как негигиенично!

Она поднялась, прошлась по кабинету. Взгляд привычно скользил по ровным серебристым поверхностям – уютное кресло-хамелеон, корректирующее позвоночник, за стеклом в лаборатории жужжат аппараты, из окна вид на море, семьдесятю этажами ниже кипит жизнью мегаполис. Все предсказуемо, привычно, спокойно... Было совсем недавно.

Эл закусил губу – первый раз в жизни она не знала, как справиться с заданием.

Она просидела допоздна в лаборатории, ломая голову над дилеммой сотворения мужчины. Прогнала несколько вариантов мужской матрицы, слепленной по информации из артефакта 3564, получила нежизнеспособных монстров и бросила пустые попытки.

Возвращаясь домой, Эл умудрилась поцарапать мобиль – не вписалась в ворота собственного гаража.

Она попыталась вычеркнуть все неприятности дня, забывшись во сне, но ее настиг кошмар. Эл снилось, что за ней гнался неуклюжий робот, он бился током и источал сильный запах. Эл в ужасе убегала от робота и одновременно силилась вспомнить, как называется этот запах. Слово вертелось на языке, но ускользало от внимания.

Разбудил ее писк браслета – экран с бодрим лицом Зет завис посреди спальни.

– Греховный... – пробормотала Эл вместо приветствия.

Зет сделала вид, что ничего не услышала, и поинтересовалась успехом проекта. Эл заверила, что все под контролем и есть наработки. Вряд ли начальница поверила, но обе прекрасно понимали – лучшего конструктора Зет все равно не найдет.

Эл приняла душ – водный, а не обычный ионный, наверное, единственная устаревшая привычка, которую она переняла от мамы с радостью; заказала в комбайне завтрак, оставив выбор на совесть машины, на ходу сжевала его, даже не разобрав, что именно отправила в рот; натянула комбинезон...

Она приложила браслет к сканеру на массивной герметичной двери. Поправила съехавшие на переносицу очки. Момент был ответственный – если ее не пустят в закрытый сектор, то Зет может попрощаться с Центром. Кажется, Эл нашла решение дилеммы, но она очень сомневалась, что оно понравится Зет.

Дверь бесшумно открылась, в проеме появилась вытянутая в струнку Тета, заведующая сектором.

– Специальное распоряжение Зет. Нужен доступ к временной магистрали, – она напряженно сглотнула, выдержала взгляд буровчиков глаз.

Пришлось соврать. Если ей повезет – Тета не станет докладывать Зет сразу. У Эл не было полномочий для активизации магистрали, не говоря уже о путешествиях в прошлое до женской эры. Эту ветку блокировали на уровне правительства. Но оставался небольшой шанс, что Центр оставил лазейку в мужское прошлое на случай экспериментов. Шифр придется взламывать, и Эл к этому подготовилась.

Тета хмыкнула и, наконец, отошла в сторону, пропуская внутрь.

Эл старалась не думать, что будет, если их временную магистраль вдруг проверит не только Зет, но и

правительство, или службы Межгалактического союза... Она должна вернуться с результатом. Победителей не судят.

Эл стояла в отсеке точки доступа магистрали. Тета с другой стороны прозрачной стенки отсека вводила с панели ключ-код, чтобы отправить ее в сказанное наобум время женской эры. А Эл с волнением прислушивалась, как жужжит в кармане комбинезона тюнер, который она собрала за ночь – ищет свободные потоки, возится с шифром. Тюнер должен сработать раньше, чем Тета введет ключ.

Тета оторвала взгляд от панели управления, уверенно кивнула. Эл отрицательно покачала головой. Она не готова! Удивление на лице Теты начало переходить в беспокойство – еще секунда и та поднимет тревогу. Наконец тюнер в кармане щелкнул, Эл дала отмашку, подождала, пока Тета включит поток, и запустила тюнер.

Сильное давление сжало в комок, Эл скривилась, думая лишь о том, чьи координаты сработали первыми – ее или Теты.

Было темно и неудобно, в бок давило что-то острое. Эл попыталась встать – из-под локтя уехала опора, раздался грохот, и на нее посыпалась рухлядь.

Теперь она была уверена, что попала по назначению. Вряд ли во времена женской эры Эл бы где-то нашла такой хаос.

Она включила служебный браслет в режим подсветки. Луч выхватил ржавые полки, мотки пыльных шнуров, пустые коробки, в углу скучала разбитая тележка. На стене слабо мерцал индикатор точки доступа временной магистрали.

Эл фыркнула – не могли сделать выход потока в более цивилизованном месте!

Она направила луч на противоположную стену и обнаружила дверь, толкнула ее со всей силы, в полной уверенности, что та заперта, и вывалилась в ярко освещенный холл. Неловко встала с колен, проверила карманы – тюнер и анализатор на месте – и лишь тогда подняла голову.

На нее в упор смотрел мужчина. Первый в ее жизни! У Эл закружилась голова, она задержала дыхание. А вдруг он болен или опасен? Теперь она бы с удовольствием снова зарылась в хлам подсобки, но внутренний голос с интонациями Зет холодно заметил, что так она задание не выполнит. Эл судорожно выдохнула и осталась на месте. Чего только не сделаешь ради любимой работы!

– Вы новый лаборант? – мужчина поправил очки.

Эл неопределенно пожала плечами.

– Сергей, завлабораторией.

Он протянул руку, Эл удивленно на нее уставилась. Сергей сконфузился, убрал руку за спину. Он говорил с акцентом, но Эл понимала речь – восточно-славянский диалект использовался до сих пор.

– Мы не встречались раньше? Кажется, я вас знаю... – Сергей улыбнулся.

Эл на секунду замешкалась. Она никогда не видела улыбающихся мужчин, и сейчас это произвело на нее странное впечатление: сбило с толку, и, похоже, понравилось.

– Нет. Это невозможно.

Она может поддержать разговор и тайком включить анализатор личности, пусть сканирует геном. Эл пристально посмотрела на нового знакомого. Высокий – да. Брюнет – нет. Костюм не носит. На Сергее болталась исключительно неудобная одежда – штаны из грубой ткани перетянуты поясом, мятая рубашка на пуговицах. Волосы с легкой проседью. Глаза голубые? Нет, карие – блестят и с интересом ее разглядывают. Неважно. Она изучила книгу, там был совсем другой типаж. Хоть фольклорная история казалась странной, но других ориентиров Эл не нашла. Сканирование отменяется.

– Всего хорошего, – она проскользнула мимо Сергея в холл.

С разбегу наткнулась на двух девушек в обтягивающих древних платьях, едва прикрывающих ноги и грудь. Глаза и губы девушек были разрисованы и выглядели нелепо. Эл не удержалась от смешка. Но при всем этом девушки вели себя заносчиво – будто их воспитывала ее мама в убеждении, что недостатки делают женщин особенными.

«Институт стратегических исследований ключевых проблем» – прочитала Эл на карточке, прикрепленной к платью одной из девушек. Ключевых проблем чего? Впрочем, судя по тому, что мужчины скоро вымрут как вид, проблем в обществе было невпроворот.

– Эй, погодите!

Эл оглянулась – Сергей. Этого еще не хватало! Она поспешила к выходу, миновала стойку администратора. Электронный календарь над стойкой показывал дату: 21 июля 2017 года.

Тюнер выхватил канал, который когда-то использовался Центром. Она достала приборчик – скачок произошел в их временном пространстве двадцать три года назад. Интересно, с какой целью?

Стеклянная вертушка выпустила Эл наружу.

Она зажмурилась – привыкла к монолитным серебристым зданиям, а здесь все было выпуклым, раздражающе ярким – окна с цветами, балконы, какие-то надписи. Сейчас мамин шарфик казался верхом сдержанности.

Она разнервничалась, потянулась за пластинкой стимулятора, но пальцы нащупали только приборы. Эл глубоко вдохнула, стараясь успокоиться – ничего с ней не случится за несколько часов; бывало, и пару дней торчала в лаборатории без стимуляторов. Она отыщет нужный типаж, сделает скан генома и сразу вернется домой.

Нужный типаж... Легко сказать. Вокруг десятки типажей – не заводить же разговор с каждым!

Она огляделась. Магазин одежды «Смерть мужьям», прочитала на вывеске Эл. Интересно, имеет ли это отношение к последующей катастрофе? Она перевела взгляд. Кафе «Рыжая корова»... Кафе! Эл вспомнила, что в книге мужчина и женщина сближались именно там.

Она заняла свободный столик у окна. Стул был жестким и совершенно не желал подстраиваться под тело. Что ж, чем быстрее она вычислит геном, тем скорее вернется домой – в порядок и комфорт.

Эл насчитала в зале семнадцать мужчин – ей предстоит много работы.

Она вытерла пот со лба – термонастройка в комбинезоне сломалась, как и кондиционер в кафе, и непривычная к крайности температур Эл разомлела от жары. Она перевела ленивый взгляд на следующего кандидата и сразу проснулась.

Парень был копией идеального мужчины из фольклорной истории. Брюнет, голубые глаза, одет в костюм. Что там еще... Звериная грация, лицо, достойное резца скульптора, железные бицепсы. Эл не могла почувствовать, как от него пахнет, но была уверена, что запах будет... как же его... греховным. Вот! Две девушки, делившие с носителем идеального генома столик, глупо хихикали и краснели. Это вполне могло быть результатом «электрических разрядов», «магнетического притяжения» и «бабочек в животе».

Все сходится, надо действовать! Эл привстала, дождалась, когда парень повернет голову в ее направлении, махнула рукой.

– Эй! – крикнула она через зал.

Парень самодовольно улыбнулся, подмигнул ей, но остался сидеть на месте. Девушки за его столиком встрепенулись, посерьезнели и недобро уставились на Эл. Приблизиться к их троице Эл расхотелось, а иначе анализатор не запустит скан. Она лихорадочно перебирала в памяти содержание романа. Есть! Эл наконец-то вспомнила фразу.

– От твоего взгляда у меня по телу пробегает ток и встают дыбом волоски на шее! – громко выкрикнула Эл.

Посетители кафе прекратили есть и уставились на нее. Соседки парня прыснули со смеху. А парень с достоинством павлина поднялся и медленно направился к Эл. Его подружки резко оборвали смех и беспокойно заерзали на стульях.

– Мы знакомы, малыш? Если что, я Влад, – парень сел напротив.

Эл мотнула головой и незаметно нажала кнопку анализатора сквозь ткань кармана.

– Запала на меня с первого взгляда? – подмигнул Влад, – Прямо как в романах!

Запала? В смысле упала? Но она же на него не падала! Какая разница, ей надо выиграть время.

– Да, точно! – согласилась Эл. – Как в романах!

Она прислушалась к своему телу – к счастью, бабочки в животе вели себя тихо и пока не беспокоили. Хорошо. Может, мужчины не так опасны, как кажется. Тем временем Влад, не отрываясь, смотрел на нее. Эл это вполне устраивало, лишь бы он оставался в пределах досягаемости анализатора.

А вдруг ему станет скучно? Надо бы поддержать разговор.

– Я так хочу тебя, – медленно произнесла Эл заученные слова, посмотрела в потолок, выживая из памяти очередную фразу, – мои соски затвердели...

– И я тоже думаю, зачем время терять? Сегодня в семь романтический ужин у меня дома, там и сольемся в страстном сексе! Пиши телефон!

Парень оскалился хищной улыбкой, положил руку ей на колено. Эл отпрянула, вскочила. Как омерзительно! А вдруг он действительно заразен?

– Недотрога! Такая редкость! Ты просто отпад, малыш!

Снова кто-то куда-то падает. Станный сленг. Эл отдышалась, села на место. Надо потерпеть еще хотя бы пять минут, пока анализатор не закончит скан.

– Пиши телефончик!

– Зачем? – искренне удивилась Эл, – я запомню.

– Разводишь? – Влад хмыкнул. – А сейчас проверим, – и он надиктовал десять цифр. Эл повторила цифры сначала в прямом порядке, затем, чтобы развеять сомнения – в обратном.

– Типа умная? – Влад вдруг погрузился, – а работаешь кем?

– Главный конструктор научного центра.

Влад совсем сник.

– Знаешь, малыш, сегодня не получится. Звони завтра. А лучше забудь телефон.

Эл забеспокоилась – анализатор еще работает, а Влад уже поднялся из-за стола, сейчас он уйдет и скан собьется. Эх, зря она начала говорить правду, надо было напрячься и вспомнить еще что-то из книги.

Влад сухо попрощался и вернулся к своим подругам.

Анализатор затих, отключившись. Оставалось надеяться, что скан успел завершиться.

Эл поспешно встала, выскочила из кафе.

Доставать анализатор на улице она не решилась, пришлось идти в пыльный парк через дорогу от кафе. Эл немного побродила по аллеям в поисках зоны отдыха с удобными креслами и чистой травой, но, увы, нашла только жесткие скамейки с выломанными перекладинами. Пришлось довольствоваться этим.

Она с волнением нащупала кружок анализатора. Рука задрожала, и Эл с тоской подумала о стимуляторе. К счастью, мысль перебила радостная новость. Сканирование личности выполнено на сто процентов! Эл запустила расшифровку – анализатор издал глухой звук и принялся за работу. Она гипнотизировала мини-табло взглядом, уже мерещилось, что она видит как эмоциональная, интеллектуальная, физическая, творческая составляющие складываются в единый геном. Геном идеального мужчины.

Табло дрогнуло, выдало результат: данные противоречивы, полная расшифровка невозможна. Эл чуть было не выпустила анализатор из рук, но собралась, запросила предварительные результаты. Данные были многовариантны: все составляющие колебались от нуля до ста процентов, будто анализатор одновременно считывал

характеристики двух диаметрально разных людей. Сломался прибор? Нет – в таком случае он бы не включился. Скорее всего, дело было в личности Влада.

Что ж, придется забыть о романе и поискать другой типаж.

Эл устало вздохнула, оглядела ближайшие скамейки. Парк заполнили мамы с детьми, перед ней чинно прошлась пожилая пара, мужчина и женщина держались за руки. Интересно, каково это всю жизнь провести с мужчиной рядом, задумалась Эл. Наверное, очень сложно. А может, наоборот? Что она, в сущности, знает о мужчинах?

Напротив нее – через клумбу с засохшими от жары цветами – сидел серьезный молодой парень, пальцы бегали по экрану небольшого прямоугольного устройства. Парень был худым и нескладным, густые волосы мышиного цвета забраны сзади в хвост. Полная противоположность Владу. Как раз то, что надо.

– Меня зовут Эл.

Она присела рядом, незаметным движением включила анализатор. Парень вздрогнул, нехотя обернулся, окинул Эл внимательным взглядом, по-женски длинные ресницы дрогнули.

– Здорово, подруга. Я Техновикинг.

Странное имя. Из древнейшей истории Эл помнила, что викинги отличались воинственным нравом. Парень не был похож на воина, ну да ладно, она тоже была не похожа на букву «Л».

– Что делаешь?

– Набиваю фраги в танках онлайн, – не отрываясь от экрана, ответил Техновикинг, – я за наших, только прокачался до первого сержанта.

Фраги? А она думала, что неплохо знает восточно-славянский диалект. И какие танки?

– А что, война началась? – обеспокоенно спросила Эл.

– Да ты чё, с сервера упала? Не знаешь про «Ворлд оф Тэнкс»?

Техновикинг так удивился, что чуть не выпустил устройство из рук. Раздалась заунывная музыка.

– Ёж твою медь! Продул сражение!

Парень зло глянул на Эл и снова уткнулся в экран. Эл расслабилась, откинулась на спинку скамейки. Она оставила попытки понять Техновикинга. Она просто дождется, когда скан закончится, и уйдет. Наверняка парень этого и не заметит...

Организм без стимуляторов бунтовал – Эл тошнило, кружилась голова, поднялась температура. Пронзительно захотелось вернуться домой и главное – чтобы ни одного мужчины рядом.

Это была безнадежная затея – анализатор не расшифровал ни одной личности, что совсем не удивило Эл. Удивляло другое – как такие нелогичные существа протянули еще сто лет.

После Техновикинга она познакомилась со Стасом – парнем, одетым во все обтягивающее и разноцветное, и очень похожим на девушку. У Стаса был томный голос и плавные движения. Он вздохнул ей рассказывал про Виктюка, Сартра и куртуазных маньеристов, но быстро охладел и замкнулся в себе, когда выяснилось, что сие великое творчество прошло мимо Эл.

Потом был Артем – полный мужчина с хитрыми глазками и непропорционально толстыми губами. Он хвастался работой, одеждой, женой и детьми, то и дело подчеркивая, сколько стоят его часы, шуба жены и айфон сына. Артем угостил Эл мороженым, но у него не оказалось наличных, и он предложил Эл заплатить за две порции самой. Она честно призналась, что у нее тоже нет денег, и мороженое пришлось вернуть продавщице. Они распрощались по-деловому быстро.

Единственный мужчина, который подошел к ней сам, вручил глянцевый листик и пригласил на групповую медитацию. Он был жилист, лыс и носил посвященное имя Несорвал. Кому именно он посвятил имя, Несорвал скромно умолчал. На вопрос, зачем нужна медитация, Несорвал недоуменно ответил: «Чтобы достичь состояния ничегонеделания». Эл устало констатировала мысль, что странно стремиться к ничегонеделанию человеку, который и так ничего не делает...

Эл вернулась в Институт, беспрепятственно прошла мимо стойки, за которой зевал скучающий администратор, побрела к подсобке.

Она провалила задание всей жизни. Мужчину воссоздать невозможно. Если и есть способ взломать код мужского генома, то он ей не по зубам.

Эл забралась на подоконник с ногами, облокотилась на откос, закрыла глаза. Если она сию минуту не доберется до стимулятора, то сойдет с ума – ей никогда не было так плохо. Спасительная магистраль совсем рядом, в любой миг она

может вернуться в свое время. Стало все равно, как ее там встретят. Пусть отдадут под суд, пусть...

Эл вдруг осенило – а ведь ответ лежал на поверхности! Анализатор сбойл по той же причине, что и ее логика – поведение мужчин было противоречиво. Идеальный Влад оказался на проверку лишь красивой картинкой. Тщедушный Техновикинг мнил себя великим воином. Состоятельный Артем пожалел денег на угощение. Тонкий ценитель искусства Стас не ценил людей, которых отражало искусство.

Истинные качества личности шли вразрез с внешней демонстрацией и, похоже, представлением мужчин о самих себе. Самообман был таким сильным, что анализатор принимал иллюзорный образ за вторую личность, накладывал параметры на физические данные, уровень интеллекта, диапазон эмоций, потенциал к развитию, получал нереалистичные результаты и прекращал расшифровку.

Техника не выдержала сопротивления личности. Но нечего валить все на технику. А она, старший конструктор, чем думала? Да, мужчины вели себя крайне эгоистично, но и она недалеко ушла от них. Разве Эл старалась по-настоящему узнать мужчин? Нет! Они были сырьем для ее опытов. Она думала только о результате.

Эл уронила голову на руки.

– Могу я чем-то помочь?

Да, хотела сказать Эл, можете – надо всего лишь сгонять в будущее и убедить Межгалактический союз, что женщины не варвары. Эл усмехнулась, просто из двух видов эгоистов одному повезло меньше.

– Это невозможно.

– Эту фразу я от вас уже слышал утром. Вы ошибаетесь. Невозможно слепить мужчину из глины. А все остальное двоим людям по силам, – Сергей подмигнул, глаза за стеклами очков насмешливо блеснули.

Она невольно улыбнулась.

– Сергей, почему вы беспокоитесь обо мне? Я вам чужой человек.

– Как сказать, – Сергей хмыкнул, уселся рядом на подоконник, – сегодня ночью мне приснилась похожая на вас девушка. А утром по дороге на работу я захотел купить вот это, – Сергей достал из кармана браслет из плоских камешков бирюзы, – и пока расплачивался, ловил себя на мысли, что это со мной уже случилось.

– Дежавю? Такое бывает, время нелинейно.

– Нелинейно? Да оно замкнуто в круг! Как пришел в Институт, ноги сами понесли к подсобке... Держите, теперь это ваше, – Сергей взял ее руку, бережно надел браслет.

В этот миг и у Эл появилось ощущение дежавю. Браслет был ей знаком. Но откуда? Сопоставлять и делать выводы не хотелось. Впервые за день Эл расслабилась, почувствовала себя уютно – и неожиданно поняла, что больше не думает о стимуляторах.

Эл сама не заметила, как разговорилась – о работе, об отношениях с мамой, упустила лишь тот факт, что она из будущего. Сергей делился своими переживаниями – оказалось, что за четыреста лет проблемы ничуть не поменялись: все те же упрямые начальники, невыполнимые задания, все то же одиночество. Сергей мечтал о семье и детях, и Эл с радостью бы дала себя удочерить – так спокойно было с ним рядом, как никогда не бывало с мамой.

Сотрудники Института разошлись по домам – рабочий день давно закончился, в коридорах одна за другой щелкали лампы – охрана выключала свет.

Эл спохватилась, замолчала на середине фразы. Она не может здесь остаться навечно. Надо возвращаться.

– Сергей, можешь угостить меня чаем? Во рту совсем пересохло.

– Конечно! Я сейчас, только закрою кабинет.

Эл кивнула, дождалась, пока Сергей исчезнет из виду, и шмыгнула в подсобку. Точка доступа временной магистрали горела зеленым – дорога открыта.

Эл выбрала на виртуальной панели время и нажала кнопку.

Неловко оправдываясь, она покинула закрытый сектор. Пусть Тета думает, что хочет. Эл не нарушала правил – она вернулась за секунду до своего отбытия и по факту магистралью не воспользовалась. Однако гордиться было нечем: столько сил потрачено, а проект топчется на месте. Она до сих пор не поняла, как воссоздать мужской геном. И вряд ли поймет.

Эл опустилась в кресло, положила в рот пластинку стимулятора. Закрыла глаза, ожидая прилива сил, но почувствовала лишь, как расслабляются мышцы. Радости и воодушевления не было – только пустота. Захотелось снова оказаться рядом с Сергеем. Эл с благодарностью посмотрела на бирюзовый браслет.

Они болтали долго – час, или даже больше. За это время анализатор мог бы считать характеристики личности три-четыре раза – она была уверена, расшифровка бы прошла успешно. Но Эл не решилась его включить. Это казалось предательством. Это было неправильно.

Эл нажала кнопку вызова.

– Как дела, мам?

Она избегала смотреть матери в лицо, чувствуя неловкость.

– Элли, девочка моя, с тобой все в порядке?

Мама выглядела обеспокоенной – оно и понятно, Эл очень редко начинала беседу первой, да еще посреди рабочего дня. На шее мамы красовался очередной яркий шарф, и этот стиль вдруг показался Эл очень знакомым.

– Да, все хорошо, – соврала Эл. – Мам, а что случилось в Центре двадцать три года назад?

– Двадцать три года... В Центре всегда крутится много проектов, ты же знаешь... – мама отвела глаза.

– А над чем работала ты?

– Мы искали альтернативу стимуляторам. Но через год проект завис. Я ушла в декрет и целиком занялась тобой, – мама попыталась улыбнуться, зачем-то поправила и так безупречную прическу.

Из-под рукава показался браслет – бирюза сверкнула голубым огоньком, обожгла глаза. Эл поперхнулась слюной, закашлялась.

– И альтернативой стал высокий мужчина с карими глазами... – тихо произнесла она.

Обе замолчали.

– Элли, прости. Я не могла сказать прямо, но всегда хотела, чтобы ты знала – моя дочь особенная. И не потому, что близорука, – это следствие. При естественном зачатии дефекты не корректируются...

– Как это проект невыполним? – Зет сжала руку в кулак так, что побелели костяшки пальцев.

Эл отказалась садиться и стояла с гордо поднятой головой. Поза ей нравилась, тем более это было удобно – очки не съезжали на нос.

– Имеющихся данных о мужчине недостаточно для получения кода генома.

Зет скривила идеальное лицо и превратилась в уродливую старуху.

– Ты хочешь опозорить нашу планету перед Галактикой? Да? Ты этого хочешь?

Казалось, ещё чуть-чуть и у Зет пойдет изо рта пена. У Графеновой леди истерика? Впрочем, она могла замотаться и забыть принять утром стимулятор.

– Насчет опозоренной планеты спросите у женщин и мужчин прошлого. Они все были слишком заняты собой, чтобы думать друг о друге. Хотели стать идеальными! А параметры идеалов несовместимы с жизнью.

Зет отпрянула назад, будто ее ударили по лицу.

– Мы считаем, нам не нужны мужчины, – продолжила Эл после паузы, – но все почему-то сидят на стимуляторах. И даже не догадываются, что потеряли, окопавшись в однополом обществе...

Сзади кто-то выругался, и Эл различила знакомый тембр голоса. Она обернулась – на пороге кабинета не спеша проступал из воздуха Сергей. Он качнул головой, увидел Эл и просиял.

– Извините, без приглашения... Вернулся, а дверь в подсобку открыта... Я не мог, не мог упустить шанс еще раз увидеть ту женщину, на которую ты так похожа....

Эл хлопнула себя по карману – со всеми передрыгами она забыла выключить тюнер, и тот до сих пор поддерживал канал связи с прошлым!

– На этот раз, Эл, я прощаю тебе глупый спектакль. Надеюсь, он не повторится.

Зет вплотную подошла к Сергею, внимательно осмотрела его с головы до пят, удовлетворенно кивнула.

– Хорошо. Приоденем, поменяем прическу. На смотрины для Межгалактического союза самое то.

Браслет Зет завибрировал, она вставила наушник, переключилась на звуковое сообщение. С каждой секундой лицо начальницы приобретало новый оттенок серого. Она дала отбой, подняла на Эл пустые глаза.

– Они сказали, что мужчины недостаточно. Им нужен ребенок.

Эл улыбнулась, сняла очки. За ребенком дело не станет – двадцать три года назад мама позаботилась об этом.

## **Красная юбка**

Ниночка не любила зеркала и облака. В зеркалах она никогда не выглядела изящной, стройной, - ее собственные круглые формы, отраженные зеркалами, не оставляли в душе ощущения покоя и гордости за себя. Совсем. То есть – принципиально наоборот. И она грустила. И очень расстраивалась. А облака пугали с самого раннего детства, когда мама повела ее в больницу, навестить бабушку. Тогда был зимний, холодный и синий вечер, в небе стояли равнодушной стражей сиреневые облака – и в разрывах между ними были пугающие черные дыры. Дыры грозили. Дыры втягивали в себя. Дыры были зловещими. Нина навсегда запомнила эти облака, их мистический хоровод.

Бабушка не выздоровела, хотя мама обещала Нине, что все будет хорошо. И боль от несправедливости, от пустоты – бабушка ее очень любила и была с ней терпеливее и добрее всех, – не прошла никогда. И когда в небе плыли драконы, пытающиеся съесть кошку, или лошади, несущиеся этими холодными пустыми полями, она чувствовала тревогу и тосковала. Лучше было, если совсем без облаков. Если только синева и чернота. Днем густая синька, ночью – гладь ровного холодного бархата. Никаких дымов или картинок. Ни великанов, ни змей, ни богинь с косами-канатами.

Нинин папа, долговязый, хриплоголосый, не любил жену. Нинина мама его раздражала, повергала в уныние, никогда не могла ему угодить. И готовила – то она невкусно, и одевалась, как колхозница. И читала плохие книги. Нина не очень понимала, какая папе беда от маминых книг. Сам он вообще не читал. И не готовил еду – мол, не мужское это дело. И ничего не делал. Чтобы не мешать жене учиться хозяйствовать. Только ворчал, злился – и рокотал.

Нина всегда старалась быть незаметной. Приходила в гости с мамой – и начинала искать уголок потише и потемнее. На кухне. Возле книжного шкафа – с книгой или журналом. Когда ей надо было поехать в другой городской

район – они жили на окраине, там ходили высокомерные индюки и не менее высокомерные их хозяева, – ее била дрожь на остановке трамвая. Казалось, все смотрят только на нее и жгут взглядами. И видят, какая она жалкая в своем пальтишке, перешитом из маминого, или в бесформенном плаще цвета гнилого абрикоса, подаренном теткой на окончание школы.

Училась Нина легко, как бы между прочим, особого значения всем этим суффиксам-дробям не придавала. У нее и своих проблем было достаточно. Она придумывала себе другую жизнь. Или проще сказать – какую-то странную тайную сторону. Фантазию – броню. Придумала друга, умного, понимающего. Рыцаря и поэта, который писал ей чудесные письма. Она так вошла в роль адресата этих писем, что никогда не забывала заглянуть в почтовый ящик. А вдруг письмо там, оно пришло?

Даже когда тетка, та, которая с плащом, позвала ее поехать вместе в Ригу, - тетке было страшно одной отправляться в дальнюю дорогу, – Нина и в Риге проверяла почту. Почти не задумываясь о том, что никто ей не напишет. Тетка не отпускала ее ни на минуту, а на взморье, перед зеленоватым золотом волн, Нина грустила, шептала кому-то «я здесь, я совсем одна». Зимой, когда в их помертвевшем, притихшем городе, в снегу и полусне, живыми казались только большая полуголая новогодняя елка с лампочками и упрямые снегоочистители на бульваре, Нина загадывала желания. И верила, что с приходом января, с хлопающей дверцей холодильника утром после застолья, когда салаты и курица-гриль особенно вкусные, с парадно-вымученными голосами и лицами ведущих на телеэкране, - все устроится. Все пойдет иначе.

В замерзшем окне белой полянкой, ледяной тарелкой стыло озеро. Нина смотрела туда, мечтала, что ее найдут, с ней подружатся. Она поймет, зачем и как надо жить. И ее доброта вдруг откроется хорошим людям. И исчезнет тетка, которая считала ее неудачницей и занудой. Да еще требовала посадить Нину на голодную диету. И мама перестанет повторять «почему у тебя все не так, как у других?». И больше не будет разговоров о деньгах. О том, что их нет, нет совершенно – и никакие новые милые вещи не будут доступны. Туфли, диван, серебряная цепочка с изящной феей-кулончиком. Эта фея, крохотная, изящная, снилась ей по ночам – и она просыпалась с тяжелой головой

и мыслями темными, невеселыми, как лужа у подъезда после сильного дождя.

Зимний бал в конце первого семестра проходил в заводском зале. Институт договорился с шефами, что можно будет устроить танцы, капустник, и накрыть столы в большом холодноватом помещении, на двери которого были сплошные «запрещается»: «Вносить еду...», «Открывать окна...», «Залезать на...», «Куриль в ...». Студенты ликовали, носились по залу, как молодяк пасущегося в горах стада, кричали так громко, будто надо было разбудить уснувшего летаргическим сном. Смех и музыка смешались, стояли ватной подушкой над залом, столами с напитками; над затоптанным, облитым сладкими ручьями линолеумным полом.

Нина делала вид, что ей весело. Натягивала щеки к ушам, непрерывно улыбалась. Внутри было пусто и зябко. И голова гудела, кружилась, хотелось застонать. Веселья не получалось. Никак.

Ее позвал танцевать высокий рыжеватый парень. Старшекурсник. Он неуклюже прижал ее – просто символически, чтобы топтаться, изображая танец. Смотрел он в другую сторону, Нина подумала, что он даже не рассмотрел ее. Зал качался, музыка била по ушам. Барабаны отдавались болью в груди.

Они выпили белого безвкусного вина. Рыжеватый пригласил другую девушку. Нина потихоньку пробиралась к выходу. Парень догнал ее у гардероба. Спросил лениво:

- На турбазу поедешь? Брат у меня – инженер на этом заводе. Есть ничего местечко. Он устроит. Едем?

Она растерялась. Пожала плечами, а губы уже проговорили «поеду».

Автобус был шумный, он подпрыгивал на заметенной снегом дороге, молодежь гоготала, все шутили и смеялись, стараясь друг друга перекричать. Смех был истеричный, судорожный, без причины. В поездку Нина надела свою любимую красную юбку в клетку. Она была не очень теплая, не по сезону – но Нина ее любила, и сама себе казалась в ней вполне привлекательной.

Пока доехали, стемнело. Снег стал густо-голубым, с черными провалами, звезды осторожно выглядывали из-за темного леса, окружавшего домик турбазы. Вылезли из автобуса, шумели, кидались в снег, кричали. Потом гурьбой пошли к крыльцу. В теплом предбаннике за столом сидела

большая вахтерша. Она ворчливо здоровалась, но, заметив Нину, грозно поинтересовалась:

- А ты куда? У нас таких нет!

Нинин новый приятель – она уже знала, что его зовут Антон, – нежно и ядовито улыбнулся вахтерше, попытался ее задобрить, но вахтерша не желала ничего слушать. Антон подхватил Нину, вышел с ней на крыльцо. Закурил. К ним подошел заводила и лидер студенческой музыкальной группы Жуков, больше привыкший отзываться на короткое «Жук». Он тоже молча закурил. Потом сказал:

- Что ж, выхода нет, зайдем иначе.

И Антон увлек Нину за угол. Жук сказал:

- Вроде это здесь... Первое окно – столовая, второе тоже, а это – то, что надо.

Нина испуганно спросила:

- А что будет? Куда мне теперь деваться?

Жук расхохотался:

- Тебя у медведей на коньяк выменяем... Не дрейфы!

Антон кивнул:

- Окно вроде то... Давай!

Он взял Нину за талию и приподнял; Жук со смехом подсаживал ее сзади, очень откровенно поглаживая по тому месту, что ниже спины. Рывок, еще - и она схватилась, обмирая от страха и стыда, за оконную решетку. Жук свистнул – и окно открылось. Нину, как куль с мукой, закинули в комнату. Она почти плакала, а парни в комнате смеялись.

- Давай, давай, мы не укусим! Голь на выдумки хитра! Вахтерша – дура, темнота, не понимает, что ей против нашего интеллекта не устоять! Иди, грейся!

Окно закрылось. В комнате было темно, очень тепло. Парни ватагой вышли из комнаты. Кто-то уже в дверях бросил:

- Располагайся, мы пить!

Она одернула красную в клетку юбку, тонкую не по погоде, села на краешек кровати. Антон пришел через полчаса. Веселый, возбужденный. С бутылкой. Потер ее щеки, чмокнул в лоб:

- Жива? Прекрасно!

И позвал ее в их компанию. Она охнула, сказала, что ее вахтерша заметит, нельзя. Антон покатился со смеху:

- Да она уже давно с нами пьет! Это ж порядок такой, она должна для проформы пошуметь, возмутиться, сделать вид, что стоит на охране дисциплины.

Он потащил Нину за собой. Вахтерша сидела в центре накрытого стола. Она было уже краснолицая и веселая.

- А, и ты тут, - закричала она, увидев Нину. Нина смутилась, спряталась за Антона.

За столом все кричали, пили, ели, громко и нестройно шутили. Желтоватая самогонка, бордовое вино, сверкавшее в стаканах рубинами, пиво - лилось, веселили, горячили. Она не пила, потерянно жевала гренку - сухую, безвкусную, запивала компотом. Смотрела широко открытыми глазами, старалась быть незаметной.

Кто-то, приобняв Нину за плечо, спросил, дыша ей в ухо:

- Знаешь, перепелочка, как турбаза называется? «Веселые аисты»! Правда, классно?

Потом все стали разбредаться по комнатам. Антон ввалился в комнату и сразу уснул, упав на кровать. Нина примостилась на диванчике. Ей было вполне нормально, только твердый валик остро резал бок и шею.

Утром все пошли в зимний лес, бросались снежками, падали в сухой пушистый снег. Сбивали с веток белые подушечки, пытались перекричать друг друга. Потом, когда уже вечерело, и синие дали, лес и воздух вокруг турбазы были прошиты серебром звезд и плавленой медью фонарей, поехали в город. Ехали шумно, автобус подпрыгивал на виражах, гогот и смех били по ушам и отдавались в груди болью и странным недоумением. Нина чувствовала себя очень одинокой. Она сидела одна у окошка. Антон пробился к ней сквозь плотный узел молодых и шумных, присел рядом, сказал сухо:

- Как тебе наши забавы? Весело? Не жалеешь, что поехала?

Она пожала плечами:

- Нормально... весело.

Он хихикнул, сказал:

- Ты не рассказывай ребятам, что я проспал... Ну, что у нас ничего не было...

Она кивнула. Опять пожала плечами:

- А что должно было быть?

Он опять хихикнул, прошептал ей на ухо:

- То, ради чего в молодости ездят на турбазу!

Через полгода Нинина мама сообщила:

- К нам придут Прибыловы. На ужин. Соня - моя школьная подруга. Ее сын - прекрасный парень. Скромный, не гуляка.

Нина нервно переспросила:

- Они вместе с сыном не могут дома пообедать? Надо обязательно идти к нам?

- Я сказала – на ужин. И Соня давно интересовалась. Относись к этому просто. Я купила говяжий язык. И еще будет «наполеон».

Вечером того дня, когда пришли гости, Нина долго сидела в библиотеке. До закрытия. Читала до рези в глазах. Домой шла медленно. Дома во всех комнатах горел свет. Мамин голос, официально-сладкий, измененный в честь гостей, звучал победно. Отец что-то рокотал о политике. Потом, пока Нина медленно и без всякого настроения переодевалась, к политике немного искусственно добавились цены на автомобили и дачные огурцы. Нина застегнула пуговицы на розовой, невероятно уродливой кофточке, которую мама предупредительно разложила на кресле.

Зеркало вернуло Нине ее натянутое нервное лицо. Рыжие встрепанные волосы – мама всегда говорила, что этот цвет надо перекрасить. И испуг. Именно испуг, будто ее звали на охоту, где она будет дичью, зверем, на которого охотятся.

Нина вздохнула. И медленно вышла на кухню. За наполовину уже разоренным столом сидели незнакомые люди. Молодой человек, грузный, в рубашке, которая намочила от жары подмышками, с красными пятнами на щеках, смеялся звучно и натужно. Незнакомые мужчина и женщина, затянутые в выходные одежды – он в жестком костюме, она в платье с блестками и большими бусами из фальшивого жемчуга – пили, возили ложками в помятых салатах. Мама и отец нестройно поддакивали. Все были возбуждены.

- А вот и Ниночка! - прокричала чужая женщина с бусами. - Крупная такая девочка!

Нину замутило. Она дернулась. Мама примирительно затараторила:

- Садись... Возьми себе тарелку. Гости заждались. Мы уж тебя думали идти искать. Выпьешь?

Нина примостилась на углу стола. Натянуто улыбалась. Чужая женщина пьяным голосом командовала:

- Чего жмешься? Тут твой дом, и все твое. Мы вот пьем, говорим мамочке твоей, хозяйюшке и умнице, моей подруженьке, спасибо, так она все вкусно приготовила. Садись-ка в центр, вот сюда, возле нашего богатыря. Ну, посмотрим, оценим тебя...

Нина села возле их сына, - она сразу поняла, кто этот растекшийся по табуретке краснолицый парень. Он наклонился к ее уху:

- Что ты пьешь? Я на «ты», не возражаешь?

Она неуверенно промямлила:

- Можно мне компот?

Сидела, будто проглотила язык, ела мало, не чувствуя вкуса пищи.

- Я - к слову, – Эрик... Будем знакомы. Селедочки? Может, вина?

Почему-то от этого не сочетаемого «Эрик» и «селедочки» она ощутила тошноту. Старалась изображать на лице внимание и покорность. Молчала. Кивала.

Эрик пожелал курить. Ему указали на балконную дверь. Он захохотал, заявил, что такой строгий режим в его доме не может царить, да и не приживется, подхватил Нину и увлек за собой на затянутый желтыми деревянными панелями балкон. Нина нехотя пошла.

За столом с напряженной готовностью смеялись. Ветер над городом и кроны деревьев под балконом ровно качались. Тихо ворчали незнакомые ночные птицы. Еще тише шелестели шинами ночные редкие автомобили. Эрик закурил, искоса глянул на Нину.

- Не будешь? Не куришь? Терпеть не могу эти домашние сборища.

- Зачем тогда согласился приходить?

- Маман моя – как колючка; умеет так пристать – не отвертись. Просто насмерть. Они с твоей мамашей вместе учились. Теперь вот детишек хотят свести. Да, такие вот дела... Ты полная, не в современной моде, знаешь? Я таких, в принципе, не люблю...

- Может, вам лучше уйти?..

- ...Ты не в моем вкусе.

- ...Думаю, разговор окончен.

- С чего это? Я не манекенщицу выбираю. Да, ты не очень... но лицо ничего, да и ведешь себя вполне...

Нина тяжело дышала, схватившись за балконные перила. Эрик усмехнулся пьяно и самоуверенно.

- А что на правду обижаться? Нас предки хотели познакомить. И я не против. Ты шансон любишь?

Она сбивчиво что-то бормотала. Он сгреб ее большими липкими руками:

- Ты не робей. Если все получится, не пожалеешь. Я спокойный, не капризный, люблю домашнюю готовку,

шансон и у костра с друзьями посидеть. А эти красотки, вертихвостки, дешевые... Мне такую даром не надо. Насмотрелся. Ну, идем в дом, а то ты дрожишь!

Станным, нелепым образом тем вечером ничего не закончилось. Эрик потащил Нину в короткую поездку в Вильнюс. С двумя парами друзей. Двумя мужьями и двумя женами.

Вильнюс был чудом, сном наяву. Она всегда любила эти прибалтийские города, с их легким налетом европейской чужестранности и милыми крошками-кафе. Площадь Гедиминаса, янтарь, прохладное неглубокое море.

В поездке Эрик вел себя по-хозяйски развязно, командовал, давал всему грубоватые комментарии. Говорил ей неуклюжие и грубые словечки, неловко шутил, покупал ей литовский хлеб и янтарные вещички. В автобусе на обратном пути он ее поцеловал, в темноте, в странном слезящемся свете тусклых лампочек.

А потом сделал предложение. Назавтра утром, заехав перед работой, он сделал ей предложение и при родителях положил на Нинину ладонь тяжелое безвкусное кольцо, напоминающее подкову.

Ночью Нина не могла уснуть. Она думала про книжных героинь, про романтический, изящный Вильнюс, в котором словно затаились до поры все ее самые смелые мечты и надежды. Про кольцо, которое так тяжело и холодно обхватывало палец...

Они поженились. Эрик всем гостям на свадьбе тыкал своим свадебным подарком в лицо:

- Вот бриллиант, настоящий! Не хухры-мухры! На рождение сына еще подарю – знай наших!

Дни потянулись блеклые и долгие. Придя с работы, Нина заставляла мужа в кресле или на диване, с семечками, пивом, с пепельницей, полной окурков. Он смотрел телевизор, громко советовал спортсменам, политикам, психологам. Его раздражали все; все казались тупыми и глупыми.

Нина молча разгружала сумки, прибирала в комнате, на кухне. Жилье было свое, скромное, но все же собственное. Эриковы родители выменяли для них однокомнатную квартиру. Разговаривать с мужем было почти не о чем. Иногда, проходя мимо огромного зеркала в коридоре, она украдкой бросала на себя взгляд. «Господи, кому такая может понравиться?.. Кажется, я еще больше поправилась...».

Лицо было уставшим, без красок, бледным, волосы тоже потускнели. Эрик говорил, что им надо детей, быстро, и не одного:

- У моего отца был старший брат... Недоразвитый. И когда их родители, мои бабушка и дедушка, начали болеть, слабеть, все упало на одного папу. И моральные, и денежные проблемы... Я хочу, чтобы меня в старости досматривали дети. Чтобы разделили труды. Ты поняла?

Она понимала. И вспоминала свое отражение в зеркале. И в нужные для зачатия дни сжимала зубы, стараясь не закричать и не убежать – и терпела. Эрик смотрел на нее без нежности, чуть насмешливо, сильно критически. Хотя всегда интересовался, хватает ли ей денег на хозяйство. И злобно и страшно кричал по телефону на подчиненных (он работал в фирме отца). И грозился с ними разделаться.

На годовщину свадьбы он преподнес жене нитку крупного жемчуга. Она вздрогнула. Жемчуг казался ей знаком печали и слез. А мужнины мокрые поцелуи так и не стали ей приятны.

Следующей весной Эрика вместе с его отцом арестовали. Нина узнала об этом от его матери, которая так кричала в телефонную трубку, так голосила, будто земля сдвинулась с орбиты. Был суд. Долгий. Свекор и муж получили тюремные сроки.

Нина не ощущала ни грусти, ни сочувствия. Она продала обручальное кольцо, сняла огромное страшное зеркало. Потом поехала в Вильнюс. Поселилась в маленькой гостинице. Гуляла одна по чудесным улочкам, ходила в оперу. Замирала на первых тактах увертюры – и так сидела неподвижно до самого финала, словно боясь, что у нее отнимут эту невероятную красоту.

Она читала, сидя на террасе с чашкой ароматного, волшебного бодрящего кофе. Слова в книге складывались в теплую, радующую волну, очень напоминающую надежду, - нет, почти уверенность в том, что счастье есть. Оно далеко, его не рассмотреть и не найти. Оно, - очень даже может быть, - и не придет. Но книга лежала перед ней, как тайна. Как мелодия, в которой Нина было уверена.

Перед отъездом, когда она сдала ключ, собрала вещи, и вышла на светлую улицу, какую-то особенно в этот день приятную и интеллигентную, она заметила в витрине магазина юбку. Красную. Точно такую же, или очень похожую на ту, что у нее раньше была. Нина, не раздумывая, вошла в магазин и купила ее. В примерочной из зеркала на нее

глянула вполне симпатичная женщина, немного полноватая, но вроде бы счастливая. С яркими глазами. И прекрасными волнами рыжих волос. Очень красивых волос.



Яков Шехтер родился в Одессе, окончил два института в Сибири, с 1987 живет в Израиле. Главный редактор литературного журнала «Ариэль», член международного Цеп клуба, Шехтер занимал различные места в конкурсно-диалексах «Гейша», «Сетевый дождь», стал лауреатом премии им. Ю.Нагибина. Яков Шехтер обладает непревзойденным талантом рассказчика. Его часто называют переводчиком Ирвинга Штингермана. Чем так привлекает его рассказчик Шехтер? Прежде всего тем, что это вымышленные истории. Но главное – в каждой из них есть проникновение за полог, разделяющий действительность и эвентирну, скрывающий чудесный механизм управления миром.

*«За десятилетия собирания фольклора мне довелось услышать множество удивительных историй. Я копил их, точно скарл, собиравший вытравленные монеты, ведь события, конечно же, можно, иногда придумать самой стрелитовой аидумки. Чудесные, удивительные, странные происшествия, случившиеся с праведниками и разбойниками, богачами, и бедняками, учеными и неучеными, занимают его ширину спектра достоверности — от записей, имеющих отношение до абсолютной правды. Есть страно документальные истории с указанными конкретными имен и точными географических подробностей, есть явно вымышленные, есть притчи, и мемуары, и анекдоты. Подобно сказочку рыцарю, я долго не мог с ними расстаться, любил в одиночестве при свете электрической лампы их читать бесконечно, на после долгих часовых вытравки ретинке рассказывать друзьям и пытаться слышать сокровища на всеобщее обозрение».*

Яков Шехтер

Яков Шехтер

Есть ли снег на небе





**ЯКОВ ШЕХТЕР**

**Есть ли снег на небе**

FANTASY PROSE

*«Яков Шехтер обладает даром сочетать обыденное с чудом, простое с парадоксом, современное с архетипичным».*

Катя Капович, поэт

В импринте «FLAUBERIUM» в серии «FANTASY PROSE» готовится к выходу книга Якова Шехтера «Есть ли снег на небе». В нее вошли рассказы про чудеса, случившиеся с праведниками и разбойниками, богачами и бедняками, учеными и неучеными в России, Белоруссии, Украине, Польше, Америке, на Святой земле. Два десятилетия писатель собирал еврейский фольклор, ему довелось услышать такие истории, в которых, помимо занимательности, есть проникновение в тайную сторону жизни, скрывающую чудесный механизм управления миром. Поэтому рассказы Я.Шехтера отражают не только философский, этнографический и житейский опыт, но и мистические грани нашей реальности.

## Маленькая Одесса

*Little Odessa. Так на туристических картах Нью-Йорка называется сейчас район южного Бруклина, где в начале семидесятых поселись еврейские беженцы из СССР, большей частью прибывшие из Одессы. Теперь этот район называется “Маленькая Одесса” или “Little Odessa”.*

*Из рассказа экскурсовода.*

Ой... Как объяснить доходчиво, что такое Брайтон? Представьте себе торговые ряды Привоза в ста метрах от Ланжерона и пустите для полноты счастья поверху железную дорогу. А если нужен колорит, разбавьте публику детьми разных народов: китайцами, мексиканцами, пакистанцами и пуэрториканцами. Только не переусердствуйте... Нашего брата должно быть больше. О, что-то вырисовывается...

Теперь немножечко географии. Кони-Айленд авеню разрезает Брайтон Бич авеню пополам. Или где-то около этого. Справа, если стоять лицом к океану, вплоть до Ошеан Парквей — проходной двор на пляж. Это как Обсерваторный и Купальный переулки. Справа, как я уже говорил, Привоз в ста метрах от Ланжерона, но слева... Если мы говорим о маленькой Одессе от Кони-Айленд до Пятнадцатого Брайтона, то слева — Дерibasовская. Слева, начиная от Одиннадцатого Брайтона, выходящие на океан кондоминиумы Ошеан Фронт Лакшери. Если хотите красиво жить, приготовьте миллион долларов... Напротив — театр «Миллениум», ресторан «Одесса»... Здесь нет задрипанных домиков, заселённых пакистанцами, турками и нелегалами из России. Ими забиты примыкающие к Привозу кварталы между Брайтон и Нептун авеню.

А теперь, если вы вошли в образ того, что в Америке именуется «маленькая Одесса», для туристов и новоприбывших исторический экскурс по Брайтону «от дяди Яши». Для верности его лучше озаглавить так: «Прогулка по бордвоку, или Краткая история Брайтона в изложении Яши Вайсмана».

— Жизнь на Брайтоне появилась в конце девятнадцатого века, когда в восьмидесятих годах железная дорога докатилась до Брайтон и Кони-Айленд пляжей. Локомотив не успел добежать до океана, как умные люди выстроили на побережье четыре гостиницы, отель «Брайтон Бич» — наибольшая из них. Что такое значное место, и где был Лас-Вегас конца девятнадцатого - начала двадцатого века? Два вопроса в одном. Это Кони-Айленд. Это дамы в длинных до земли белых кружевных платьях, затянутых в корсаж, и в широкополых шляпках с лентами или перьями, как тогда было модно, чинно гуляющие по набережной с кавалерами в строгих чёрных костюмах при галстукке и шляпе-цилиндре - как же без них, без шляп и тросточек; тогда же, замечу, дамы в океан заходили в платьях, приподняв подол, неглубоко, по колено, поначалу в тех же самых кружевных и кринолиновых, а после Первой мировой войны, раскрепостившей нравы, - в спортивного кроя платьях с вошедшим в моду воротником-матроской, самые смелые - босиком, воспитанные в строгих традициях - в чёрных чулках и матерчатых туфлях. Да-да, дамы заходили в воду в чулках, купальники для женщин ещё не вошли в моду, а мужчины - у них свободы в выборе пляжной одежды было побольше - щеголяли в облегающих купальных костюмах, закрывающих тело и плечи, но оголяющие кисти рук и ноги ниже колена - не более того! - полиция строго следила за соблюдением нравственности, хотя и проигрывала, как обычно, в борьбе с проституцией.

Что ещё?! Развлекательный Кони-Айленд — это казино на Ошеан Парквей, театры, рестораны, аттракционы, собачьи и лошадиные бега, азартные игры, шоу, музыка, кабаре — короче, всё, что взбредёт в голову, чтобы выпотрошить карманы любителей приключений. Вся экзотика мира собрана в одном месте — слоны, верблюды, бенгальские тигры, дельфины, морские котики, заклинатели змей, пожиратели огня, канатоходцы, эквилибристы... Восторг и опьянение. Любовь и разорение. Туристическая Мекка. Это и есть Кони-Айленд, хотя правильнее именовать его Кони-Айленд Бич, или Луна-парк, чтобы не путать с Кони-Айленд авеню, между которыми на глаз около двух миль. Там в конце девятнадцатого века, - уточнил рассказчик, - на пересечении Кони-Айленд и Брайтон Авеню выстроили ипподром. Технический прогресс не позволил ему долго жить, и в 1911-м ипподром перестроили. Резвые скакуны и гончие собаки уступили место новому идолу фордовской Америки - автогонкам. Скорости были не в пример

нынешним, но аварии со смертельным исходом сделали своё дело. Под напором судебных исков владельцы автодрома дрогнули, закрыли бизнес и продали поляну. Запомните, дети мои, это место - район Десятого Брайтона - и смахните вековую пыль с дачных домиков. Перед вами автогонки с азартными играми; стряхните и эту пыль - собачьи и лошадиные бега... Входите во вкус? И что вы почувствуете после этого: запах навоза или машинного масла? Ничего вы не чувствуете. Вы видите лишь то, что мы имеем на этом злачном месте сейчас, когда двадцатый век дышит на ладан, уступая место веку высоких технологий, — тесную застройку дряхлых домиков-близнецов, кафе «Глечик», книжный магазин «Чёрное море», над крышей которого громыхает метро... А где «Чёрное море», там и «Турецкие ковры»...

Яша говорит витиевато, не умолкая, его гладкая речь кажется заученной и не единожды высказанной; Изя, хоть и теряет нить за пышностью слов, слушает, как замороженный, не решаясь прервать рассказчика, поймавшего кураж.

— Но теперь, дети мои, самое главное: как попали сюда мы, одесские евреи, кто замолвил за нас доброе слово и кого должны мы благодарить за то, что находимся здесь, а не где-нибудь в Коламбусе.

Яша на секунду умолк, мимикой и интонацией выражая пренебрежительное отношение к городам, далёким от океана, для одесситов для повседневной жизни непривлекательных.

— Молодость Брайтона совпала с дореволюционными волнами еврейской эмиграции из России. С собой беженцы привезли идиш. Да-да, — его голос возвысился. — Это сейчас здесь везде говорят на русском. А в начале двадцатого века идиш был разговорным языком южного Бруклина. Здесь зажигались звёзды Бродвея и Голливуда... Здесь познала любовь мама Барбары Стрейзанд и научился играть в шахматы Роберт Фишер... А в пляжной моде после Первой мировой войны произошла сексуальная революция, женщинам позволили демонстрировать обнажённые руки и даже ноги...

— Что ты говоришь? — иронично ужаснулась Шелла... — Женщинам позволили оголить ноги? Их не обглодали до косточек?

— Не радуйся преждевременно... Не более чем на пятнадцать сантиметров выше колена. Но революция — она и есть революция! Цельный купальник продержался недолго

и перед войной распался — отдельный купальник нанёс мощнейший удар по многовековой христианской морали скромности и целомудрия, открыв всеобщему обозрению женский пупок, — дядя Яша искренне восторгался. — Только ради этого стоило бросить неотложные дела и рвануть на Кони-Айленд и Брайтон Бич пляжи!

— Скоро пора обедать, — не выдержала Шелла. — Нельзя ли эту часть сократить? Так мы никогда не дойдём до наших времён...

Дядя Яша смиренно кивнул.

— Молодость Брайтона закончилась со вступлением Америки во Вторую мировую войну. Молодёжь ушла в армию. Вернулись не все. — Дядя Яша замолк, выдерживая траурные тридцать секунд памяти по погибшим. — Год за годом... Еврейская жизнь угасала. Врачи, адвокаты, брокеры переезжали в Манхэттен, покупали дома в Лонг-Айленде и Нью-Джерси... Брайтоновская публика изменилась — улицы, прилегающие к Брайтону Бич авеню, заселили пуэрториканцы. С ними пришли наркотики. Преступность захлестнула улицы. Бизнесы закрывались. С наступлением сумерек жители многоквартирных домов боялись выходить из дому. Участились изнасилования и вооружённые грабежи...

Изя остановился и медленно обернулся вокруг себя, ощупывая глазами камни истории: «Невесёлые были времена. Мы на руинах исчезнувшей цивилизации».

— На руинах идишистского Брайтона, — печально уточнил Яша. — Его голос дрогнул и затих, переживая трагедию городов и местечек, где идиш, язык его детства, превратился в дым Холокоста... Когда он заговорил, духовые трубы уступили место жалостному плачу скрипки:

— Что вам сказать? Если бабелевская Молдаванка — это аль-капоновское Чикаго, то Брайтон шестидесятых — это компот с косточками из Гарлема и Чикаго. За считанные годы сады белой акации превратились в кактусовые рощи, золотые пляжи Аркадии — в голливудские сцены мафиозных разборок. Но что прикажете делать тем, кто в этих садах провёл юные годы? Встретил первую любовь и почувствовал сладостный вкус поцелуя? То-то и оно... Вот куда в начале семидесятых приехала Одесса, не привыкшая жить без моря и горячего летом песка.

— Ты прямо поэт, — польстила Шелла. Дядя Яша благодарно улыбнулся.

— Брежнев сделал тогда хитрый ход, — обращаясь к Шелле, пояснил он. — Чтобы показать Никсону лицо русских евреев, — мол, вот кто рвётся из СССР, — эмиграцию нашпиговали уголовниками и деловыми людьми с криминальным прошлым. Настаиваете на свободе выезда евреев из СССР? Получите!

Дядя Яша задумался; его слушатели выжидательно молчали. Не дождавшись аплодисментов, длинным монологом он завершил триумфальную речь.

— Ты слышал о раввине Каханэ и «Лиге защиты евреев»? Об этом не говорят, но мне-то чего бояться — я ведь не баллотируюсь в Президенты. Мы не застали времена, когда в Америке были расовые бунты, когда полыхали Детройт и Чикаго и, спасаясь от насилия, белые оставляли свои дома и бежали в пригороды. Брайтон оказался единственным местом, где картина была обратной. С чего это началось? Могу рассказать, я уже приехал тогда... На Шестом Брайтоне пуэрториканец изнасиловал тринадцатилетнюю еврейскую девочку. Раньше это сходило с рук. Но с Одессой приехали кулаки. И невиданное прежде дело — они сожгли дом насильника. Стало шумно на Брайтоне. К одесским евреям прибыло подкрепление — «тихие» хасиды из Боро-Парка и Уильямсберга. С каждого дома они выволокли на улицу по одному мужчине. Невысокого роста хасид поднялся на высокое крыльцо, распахнул длинные полы сюртука и показал израильский автомат «Узи». — Вам лучше тихо и мирно уйти, — негромко сказал он... — Меир Каханэ собрал брайтонских стариков, и они перекрыли Кони-Айленд авеню. Он сказал громкую речь и зажёл огонь в самых тихих сердцах. Я не был там и не могу передать дословно, но люди плакали. Он задел их за живое, и это звучало примерно так: «Вы сидите по уши в яме с дерьмом и боитесь открыть рот. Так высуньте голову! За вас это никто не сделает!» Что говорить, когда до нас никому не было дела, именно Каханэ начал борьбу за право российских евреев на эмиграцию. Его люди никому не давали проходу — шумно митинговали у советского посольства, бойкотировали гастроли артистов. Конечно, они немножко нервничали и кидали бомбы. Это нехорошее дело — швырять бомбы. Но их услышали. Подключились сенаторы Лаутенберг, Джексон... Пошёл другой уровень. Деловой разговор. Мы — вам, если вы — нам. Когда надо, в Вашингтоне умеют говорить языком Молдаванки.

— Брайтон ждёт своего Бабея, не зная, что дядя Яша уже приехал, — польстила Шелла без тени иронии и сарказма, когда подуставший летописец Брайтона завершил тронную речь.

Вторая лекция состоялась следующим днём, когда Яша вытащил Изю пройтись по набережной. Не торопясь, дошли они до «Татьяны». Яша пригласил племянника опрокинуть стопочку.

— Я угощаю.

Изя сконфузился: «Так не пойдёт, пополам», — и Яша осерчал: «Не морочь голову! Начнёшь работать — вернёшь две».

Закусили пирожком с мясом и двинулись в сторону Кони-Айленд аттракционов. Яша набрал в лёгкие океанский воздух и, вдохновлённый вчерашним успехом, приготовился к продолжению бенефиса.

— Слышал ты что-нибудь о Зяме Гринберге?

Изя отрицательно покачал головой, но Яша не ждал комментариев — если в Одессе спрашивают, ответ давно лежит в кармане. В зависимости от вопроса — в верхнем пиджаке или в заднем брюк.

— Зяма был серьёзный человек, в Одессе директор крупного гастронома и немножечко, как сейчас говорят, мафиози. Когда он увидел, что шантрапа не даёт людям вздохнуть, он пришёл с парой человек в полицию и говорит:

- Наши дети не могут выйти на пляж и окунуть в океан ноги, чтобы не получить по морде и остаться без штанов. Жёны боятся зайти в лифт, чтобы не быть ограбленными или изнасилованными.

- Это куда не годится, - отвечают в полиции, - но мы не можем возле каждого лифта держать охрану, а по поводу пляжа - пусть ваши дети вечером сидят дома.

— Хорошо, — сказал Зяма, — мы понимаем ваши проблемы, но позвольте нам тихо решить свои. У нас есть хорошая традиция - жители гуляют по улицам и заодно смотрят за порядком. У нас это называлось «народная дружина», самооборона, другими словами.

— Хорошо, — согласились в полиции, — но чтобы без грубостей. В Америке главенствуют суд и закон.

— Что за вопрос?! — воскликнул Зяма, держа в кармане ответ, купленный у мальчиков Каханэ. — Мы будем тихо гулять с жёнами и смотреть, чтобы после одиннадцати вечера никто громко не разговаривал.

Что было дальше? Весело и сердито. Гуляет по набережной интеллигентная пара и держит в дамской сумочке пистолет. Станиславский в таком случае говорил: пистолет стреляет, даже если его об этом не спрашивают. На шум налетает полиция.

— Вы что-то видели?!

— Упаси Бог.

— Слышали?!

— Кажется, стреляли.

Полиция обыскивает мужчин — божьи одуванчики. А в дамские сумочки в Нью-Йорке не заглядывали в те годы. И шантрапа дрогнула. Она увидела непонятную ей силу, пренебрегающую рекомендациями полиции: выворачивать карманы, едва грабители вынимают нож. А когда совершенно случайно на брайтоновских переулках сгорело ещё пару домов, пуэрториканцы повалили отсюда пачками. В результате, — с пафосом завершил дядя Яша, — Брайтон разговаривает по-русски. С одесским акцентом. Нравится это вам или нет. Кому же наводить порядок, открывать бизнесы и делать гешефты, как не детям Молдаванки... В Манхэттене есть Китай-город и Маленькая Италия. Лицо русского Бруклина, словами коренных американцев, — Маленькая Одесса. Заметь, — с гордостью поднял дядя Яша указательный палец, — не Киев и не Москва... Одесса, которую мы потеряли, здесь!

— А что Зяма делает теперь? — с надеждой на продолжение спросил Изя.

— На Брайтоне стреляли... Время было такое... Зайдем, помянем...

О том, что у Изя проблемы с ФБР, Яша Вайсман не знал. Иначе не устроил бы своё семидесятипятилетие в ресторане «Парадайз», облюбованном русской мафией.

Моня, гардеробщик ресторана и старый приятель Яши, увидев его, завопил, подражая бандитам со стажем: «Только за то, что ты ко мне зашёл, ты уже попал на пять штук! А теперь давай разговаривать».

Разговаривать Яша умел. Он нашёл пару-другую слов, и Моня обрадовался, когда Яшины слова долетели до его уха: «О! Я вижу, ты не потерял форму. Зайди попозже, поболтаем за жизнь».

Как и Яше, Моне семьдесят пять. Или около того. На хлебное место Моню пристроил племянник, работающий в «Парадайз» музыкантом. Почему конкурс на место

гардеробщика такой же, как в театр киноактёра, догадаться несложно — плакат над Мониным окном предупреждает: сервис в «Раю» платный. Один доллар за каждую сданную в гардероб вещь.

— Ты, по-видимому, уже миллионщик, — быстро прикинул Яша доходы гардеробщика. — Ещё и приторговываешь мелочишкой...

— Не помирать же с голоду. Кушать-то всем хочется, — прибедняется Моня и шепчет приятелю на ухо: «У нас неприятности».

Когда гости разошлись и официанты упаковывали для Яши недопитые напитки и несъеденное горячее, Моня сболтнул по секрету, что пару недель назад у них пропал вышибала, боксёр, Серёжа Кобозев, чемпион Америки в первом полутяжёлом весе.

— Хозяин сам не свой. Было дело, наш музыкант сцепился с одним сопляком, бандитом недорезанным, и чтобы привести Длинного в чувство...

— Кого-кого?

— Длинный — это кличка. В школе его звали Нос, от фамилии Носов. Серёжа затащил его в кабинет хозяина ресторана...

— Валеры Земновича? — небрежно уточнил Яша, показывая, что он не с Луны свалился.

— Ну да... Мне племяш говорил, что хозяина крышует Япончик. Пока его не посадили на нары, Валера никого не боялся. Все слышали, какими словами он крыл Длинного, видели, как он перед его мордой для острастки пистолетом размахивал... Потом его слегка поколотили и вышвырнули на улицу. Обычное дело, никто раньше не возбухал. Знал своё место. Но через несколько дней Серёжа исчез. Вроде бы в автомастерскую поехал и провалился сквозь землю.

— Судя по тому, как ты это подал, ты связал это с недавним конфликтом?

— Трудно сказать. Блатные обидчивы. Лучшие друзья если сцепятся, друг друга зарезать могут... Хозяин, думаю, знает, в чём дело — иначе не ходил бы чернее тучи. Чует моё сердце: на Брайтоне наступают новые времена, — своё мнение Моня мог бы оставить при себе: все русские газеты шумели об аресте Япончика — Вячеслава Иванькова — и гадали, начнутся ли разборки в криминальной среде.

На другой день Яша пригласил на ужин сестру и племянников: «Приходите горячее доедать. И торт долго стоять не может — портится».

За столом пообсуждали прошедший вечер, гостей, оркестр, Моню-гардеробщика с его маленьким бизнесом — торговлей телефонными карточками и канадской виагрой...

Соня, Яшина жена, гордо заявила на весь стол:

- Если бы у меня не болели ноги, я, как и раньше, стояла бы на Четвёртом Брайтоне и торговала русскими лекарствами. За один день я имела не меньше твоего Мони. Мне и сейчас, стоит появиться на Брайтоне, старые клиенты тут же подходят: Сонечка, есть ли горчичники? Сонечка, есть ли у тебя валидол? Эх, если бы не мои ноги...

Яше приспичило закурить, и он потянул Изю на кухню. В табачном дыму философствовать легче:

— Сейчас только и говорят о Япончике. Но и до него на Брайтоне были серьёзные люди — один Евсей Агрон чего стоил. Много было пролито крови, много. Это теперь на Брайтоне гуляют в ресторане в любое время. Залётные фраера и мелкая шушера, шастающая вечерами в поисках лёгкой добычи, исчезли. Что нужно обывателю? Чтобы работали бизнесы и на улицах было тихо. А когда я сюда приехал, тишины не было. Всё решали пистолеты и крепкие кулаки.

— Ты упомянул Евсея... Я читал, его называли крёстным отцом русской мафии. Ты лично что-нибудь знаешь о нём? Не понаслышке, а лично. Сплетни я и сам в газетах могу прочесть.

— Э-э... Сложный вопрос. Агрона застрелили в мае восемьдесят пятого. С тех пор много воды утекло. Я расспрошу Моню.

— Куда катится мир? — Изя патетически вознёс руки к небесам.

Яша оторопел: «Вообще или сейчас?»

Горничные, гувернантки, швейцары, телохранители, личные шофёры, повара и садовники, волею случая оказавшиеся поблизости сильных мира сего, — лучшие друзья полиции и журналистов. От них утекает за стены замков информация о личной жизни принцессы Дианы, Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта... Сева, музыкант ресторана «Парадайз», кроме брайтонских королей, никого из вершителей судеб мира не видел, поэтому его уши нацелены исключительно на кабинет владельца ресторана, где короли уединяются иногда на закрытую ассамблею.

Результатом прослушки Сева поделится с Моней:

- К Земновичу заходил Графман. Он был в автомастерской. Разговаривал со слесарем. Тот сказал: боксёра замочил Нос. Кобозев заехал чинить вседорожник и встретил Носова в компании с Гозманом и Ермишиным. Они отозвали его в подсобку поговорить и внезапно набросились втроём. Серёжа отбивался, и Нос выстрелил ему в спину. Из мастерской его вывели под руки, посадили в машину и увезли.

Монины глаза округлились.

- Это всё, что я знаю, - опережая расспросы, быстро добавил племянник. - Включи воображение, если оно есть у тебя. Скормили тело крокодилам во Флориде или уронили в каньон в Аризоне.

Моня сразу понял, с чем это кушают, и тихо спросил:

- Земнович пистолет всегда при себе держит?

Сева неопределённо пожал плечами:

- Откуда мне знать. Он лишь справился: "Где они?" Граф ответил: "Длинный в Германии, Ермишина видели в Бостоне, а Гозман в бегах".

Кому Моня может продать секретную информацию, по «Би-би-си» не прошедшую? Яше. С примечанием: «У меня нюх, хозяин хочет продать бизнес».

- Ты большой знаток, - съязвил Яша. - Прочёл с утра свежий отчёт ФБР?

- Мне не надо читать. Я и так знаю, кто чем дышит. Постой, как я, в гардеробе, послушай, понаблюдай, и ты будешь тоже знать, кто торгует героином, кто ввозит в страну девочек танцевать топлес в барах Нью-Джерси, у кого подпольный игорный бизнес, а кто зарабатывает на жизнь рэкетом, потрошит парковочные счётчики и телефонные автоматы.

Штаб-квартира Мони за гардеробной стойкой. Туда стекаются новости южного Бруклина. Яша черпает информацию из газет. Или из телевизора, также черпающего новости из газет. Летом гардероб не работает. Монин канал иссякает, и Яша единолично властвует на трибуне. Установлена она на бордвоке — ноги, если не дать им детальную инструкцию, сами туда идут.

— Ты читал «Новое Русское Слово»? — Моня газеты не читает, и Яшин вопрос — пальба в воздух, но язык его так хорошо подвешен, что завертеться может с пол-оборота. — Александр Спиченко, арестованный ФБР по делу Татарина, заключил сделку со следствием и согласился выступить на суде в обмен на смягчение наказания.

— Что же нового он сказал, чего я не знаю?

— Раскрыл тайну исчезновения твоего Кобозева, — живо протрубил Яша.

— Он такой же мой, как и твой! — рассердился Моня. — Выкладывай! Мне некогда!

— Со слов Спиченко, Кобозева, раненого в спину, долго возили по Бруклину, не зная, что с ним делать.

— Что я тебе сказал?! — радостно завизжал Моня. — Я и без тебя знал, кто его кокнул!

— Не перебивай! Ты можешь когда-нибудь до конца дослушать?!

— Н-ну?!

— Кобозев умолял отвезти его в больницу, но тут Носов вспомнил о Спиченко, и Кобозева увезли в Нью-Джерси, где Спиченко снимал дом у Фимы Скурковича, владельца московских ресторанов «Гамбринус» и «Панда». Задний двор дома идеально подходил для захоронения. Бандюги поочерёдно рыли каменистую землю лопатой и кочергой от камина. Тело зарыли неглубоко — напоследок для верности Ермихин свернул Кобозеву шею. Его останки полиция обнаружила, когда Спиченко дал показания.

— И что нового ты мне нарисовал? Я и без тебя это знал — не хотел говорить!

— С тобой нельзя разговаривать! — рассерчал Яша. — Апломб, как у директора ФБР! Всё знаю — только не летаю!

Дальше лучше не продолжать и отойти от друзей подальше. Когда пушки стреляют — музы молчат.

Детей грех обманывать, но для заокеанской Одессы широкая деревянная набережная вдоль Кони-Айленд и Брайтон Бич пляжей — это как варенье из белой черешни с лимонной корочкой и без косточек. «Пахнет морем, и луна висит над самым Ланжероном...» — ком в горле после первых аккордов. Кому не посчастливилось родиться в Одессе, тот воспринимает эти слова без ассоциаций с пахнущим йодом морем, так же как маленький Энтони, для которого чёрная икра — осетровое варенье. Выглядит ведь одинаково.

— Я на Брайтоне двадцать семь лет, с семьдесят третьего года, — предаётся воспоминаниям дядя Яша, — и должен сказать: Одессе русская эмиграция обязана тем, что видит Брайтон таким, — широким жестом он обвёл панораму вокруг себя. — Мы, как запорожцы за Дунаем, «затурканные евреи», себя называем «заокеанские одесситы» или... —

Яша хитро прищурился, подбирая иное определение, — «забушевские американцы». — Он засмеялся, довольный филологической находкой. — Забушевские, потому что голосуем за Буша.

Вечерний моцион — Яша с Изей возглавляют шествие по бордвоку, а следом, в нескольких шагах, Шелла и Слава Львовна. Обычный ритуал с июня по август. У Сони болят ноги, и на скамеечке перед домом она председательствует в совете старейшин.

— Что представлял из себя Брайтон Бич от Ошеан Парквей до Кони-Айленд, когда в семьдесят третьем сошёл я с борта самолёта? — оседлал Яша любимую тему. — Запущенные двухэтажные домики, забытые детьми еврейские старики, несколько кошерных лавок, маленький ресторан, грохочущие поезда сабвея, веселящиеся пуэрториканцы, вот, пожалуй, всё. Если я чего-то забыл, оно стоит того. Грязь и опустошение — таким я застал Брайтон, — Яшино вдохновение разгорается. — Был в Нью-Йорке известный в ту пору ортодоксальный раввин Рональд Гринвальд, имевший большие связи. Когда возник вопрос, где расселять русских евреев, он предложил построить в Квинсе комплекс многоэтажек с дешёвыми апартаментами. Построили... Но первая волна сразу же разделилась: Одесса захотела море, а привыкшие к удобствам Москва и Ленинград выбрали благоустроенный Квинс. Ты читал Довлатова? Что он видел, кроме достопримечательностей Квинса и красот Манхэттена? Он сказал два слова за Брайтон? Ему нечего сказать — он гордый, и Брайтон презирал.

— Ну ты загнул... — заступился Изя за «зеркало эмигрантской литературы».

— А ты почитай «Иностранку», — обиделся Яша. — Довлатов — певец Квинса. Сто восьмой улицы. От которой до Манхэттена двадцать минут на метро. О Бруклине, о Брайтоне ни слова. А Одесса предпочла презируемый обеими «столицами» Брайтон, и только потому, что рядом был океан. Москва и Ленинград наслаждались безводным Квинсом и чурались брайтонских халуп, а Одесса имела их всех в виду и наслаждалась бордвоком. Правда, произошла маленькая загвоздка — когда в Квинсе выстроили многоэтажки, заартачились шахтёры: почему достаются они только русским. Опасаясь обвинений в дискриминации, многоэтажки разбавили чёрными. И началось. Когда лифты превратились в кабинки для изнасилования, питерская и

московская интеллигенция дрогнула, упаковала чемоданы и сбежала в более дорогие дома. А Одесса хотела жить на море, и, когда ей наступили на ноги, заговорили пистолеты из дамских сумочек. И сейчас мы видим: дорогие кондоминиумы, банки, ювелирные магазины и рестораны наступают друг другу на пятки. Вот что за четверть века сделала здесь Одесса...

Не спеша они дошли до Кони-Айленд аттракционов и повернули назад. Слово «пистолет» не выходило у Изи из головы:

— Ты говорил как-то о Евсее Агроне. Обещал выяснить у Мони, — вкрадчиво заговорил он.

— Тебя, я вижу, он заинтересовал.

— Сам начал...

— Да, ты прав. Хоть это и криминальная, но история. Писатели её приукрасят, из бандитов сделают Робин Гудов — сейчас принято романтизировать уголовный мир. Жанр теперь даже есть на эстраде — «блатной шансон». Тьфу!

— Хватит философствовать — ты не Вольтер. Знаешь — скажи. Нет — пошли дальше.

— Ты куда-то торопишься!? Базар закроется и тебе колбасы не хватит? Взял привычку перебивать старших и сбивать с мысли... Если хочешь что-то узнать, задал вопрос и молчи! Умей язык держать за зубами.

Изя плотно сжал губы. Яша выговорился, выплеснув раздражение на дощатую набережную, и успокоился. Дар рассказчика не позволил ему долго бурчать.

— Хорошо. Расскажу то, что слышал от Мони. Если что не так — все вопросы к нему. — Он глубоко вздохнул и чуть вскинул голову. — Их было трое, кого на Брайтоне по очереди называли Доном: Агрон, Балагула и Иваньков. Иваньков здесь пробыл недолго — с девяносто второго по лето девяносто пятого. Революцию на нашем острове он не произвёл и ничем выдающимся не отличился. Рэкет, наркотики, выбивание долгов... Ничего нового. Джентльменский набор.

— Таки да! На первое — рэкет, на второе — наркотики. На десерт...

— Что за привычка перебивать! — вспыхнул Яша, не позволив Изе договорить. — Комментатор...

— Ша! Успокойся! Ты в Америке! Слово сказать нельзя. Продолжай — я молчу.

Яша по инерции поворчал, но желание высказаться взяло верх:

— Евсей появился на Брайтоне в семьдесят пятом. Редкостный дебошир, вор и убийца. Русские бизнесы вставали на ноги и нуждались в поддержке — местная шантрапа набросилась на новеньких, как волки на одиноких ягнят. Агрон привёз борцов и боксёров, на Брайтоне для прикрытия школу спортивную открыл, обложил бизнесы данью... Залётные фраера здесь не свили гнездо — кастеты и пистолеты работали без осечек. Евсей наладил контакт с итальянцами, с семьёй Дженовезе. Они его оценили, величали Доном. Жестокий был человек, но сам виноват, что летом восьмидесятого схлопотал пулю. Был такой одессит, Вадик. Фамилия то ли Любарский, то ли Люблинский, или Липовецкий, не помню уже. Прошло столько лет. Вор в законе, как и его отец. В американской тюрьме чёрные его опустили. Не знаю, как это дошло до Евсея, но он не позволил ему в ресторане сесть с ним за один стол. «Ты же опущенный, — прилюдно сказал он. — Не можешь рядом с нами сидеть». Зря он так сказал. Такие оскорбления не прощаются. Вскоре... Евсей, как обычно, обедал в ресторане «Одесса». Зашёл Вадим, шапка надвинута была на лицо, и никто его толком не разглядел, вытащил пистолет, стрельнул Евсею в рот и убежал. Ранение страшное, пуля прошла навывлет, но Агрон чудом выжил, хотя правая часть лица застыла навек в кривой зловещей ухмылке. Как ни старался детектив, навестивший Агрона в «Кони-Айленд госпитале», расспросить его о стрелявшем, Евсей отвечал: «Не беспокойтесь, я сам позабочусь об этом».

— Он отомстил Вадиму?

— Почему он должен был ему мстить? Никто Вадима не видел. Знали только, что он сильно на Евсея обижен. Кто-то распустил слух, что не обошлось здесь без Балагулы, правой руки Агрона, который давно заслужил право самому называться Доном. С подачи Балагулы Агрон расширил круг интересов — топливо, бензин, — но в новую эпоху Агрон не вписался, остался убийцей и рэкетиrom. Образно говоря, он летал на «кукурузнике», а Балагула мечтал о «боинге» — его влекли алмазы Африки, нефть, героин. Другой размах.

— Давай об убийстве...

— Субботним утром четвёртого мая восемьдесят пятого года Евсей по привычке собрался в русско-турецкие бани в Ист-Сайд в Манхэттене. Он стоял на лестничной площадке в ожидании лифта в своём дома на Ошеан Парквей, когда

прогремело два выстрела... С этого дня вплоть до восьмьдесят девятого года место Агрона в ночном клубе «Эль Кариб» занял Марат Балагула.

— Так кто же стрелял в Агрона?

— Вадим. Его убили позднее. Не помню когда.

— Вот так история. С ней ты мог бы выступить на русском телевидении с циклом «Брайтонские рассказы».

— Не умничай! — беззлобно рассерчал Яша.

— Ладно, не злись. А что Балагула? Чем он отличился на нашем острове?

— Балагулу «родили» дыры в законодательстве. Он провернул много дел. Одно из его самых известных и громких называлось красиво: «цепочка маргариток». По федеральному закону, действующему в то время, оптовики по продаже бензина и дизельного топлива сами собирали налоги с мелких распродаж. В конце года сдавали их государству. В Одессе это называется: «Бери - не хочу!» Схема элементарная — создаются липовые оптовые компании, продающие бензин в розницу. В конце года компании исчезают. Где собранные налоги? Тю-тю... Другая махинация тоже связана с топливом. Его использовали как дизельное, так и для домашних систем обогрева. Хохма в том, что топливо для домашних отопительных систем налогом не облагалось. Ну как не принять подачу? Это как в волейболе: рука тянется погасить высоко поднятый мяч. Дальше проще пареной репы — создаётся отопительная компания, которая покупает топливо для отопления и продаёт его по разряду дизельного. Налоговый сбор идёт в карман Балагулы.

— М-да... А на чём он погорел?

— На самоуверенности. Пригнал в Нью-Йорк танкер с левой нефтью, бросил в порту якорь и внаглую начал качать. Итальянцы предупредили его: «Ты под колпаком. ФБР поставило на трубу счётчик и контролирует каждый твой шаг». Он отмахнулся...

— Страшный человек, — показал Яша на крепкого пожилого мужчину, вышедшего из воды. — Я его по Одессе знал. Еврей по отцу, грек по матери. Кличка за ним ходит. Немец. Четыре судимости. А сейчас он миллионер. Во многих бизнесах плавает.

— Чем же он страшен? — осведомился Изя.

— Жестокий. Лютый, я бы даже сказал. У него бригада была. Долги выбивала. Случай был. Говорят, его рук дело. Хотя кто докажет теперь...

— Что за случай?

— Убийство громкое. У женщины, она бизнес держала на Брайтоне, муж умер скоропостижно. Жизнь свою он не застраховал, но добрые люди пошли ей навстречу, страховку задним числом оформили на сто тысяч. Договорились — напополам. Деньги она получила, но делиться не захотела. Домой к ней пришли. Глаз вынули. Пацан с ней был трёхлетний, убили. Закон есть: нельзя свидетелей оставлять. А восьмилетнему сыну повезло, к бабушке зашёл на другой этаж. На Брайтоне по бизнесам шапку пустили по кругу. Собрали ему пятьдесят тысяч.

— Почему ты думаешь: его рук дело?

— Деньги-то пацану он сам собирал. Никто в просьбах ему не отказывал.

У страшного человека имя есть. Эмиль.

Яша: «Первый бизнес Эмика в середине семидесятых — ланчонет на авеню X угол 22 Ист. Район тихий, итальянцы, ирландцы, евреи. Вокруг пять нелегальных ночных клубов семьи Гамбино. В покер играли до четырёх утра. Завтракали у Эмика. Утром начинались бега. В зале телефонная компания автоматы поставила. Ставки принимались по телефону. Они были горячими. Механики четыре раза за день вынимали деньги. Эмику — шесть процентов от выручки. За неделю триста долларов набегало. Сейчас это не деньги, а тогда, когда чашка кофе стоила тридцать центов, а проезд в метро — пятьдесят, сам посчитай. Гамбино установил у него в подвале четыре игровых стола. Выручка — пополам. Когда в Бронксе застрелили кого-то из семьи, Эмилю принесли парабеллум и сказали: “Стреляй в любого чужака, который зайдёт в ланчонет”. Он три дня не работал, ждал, пока Гамбино уладит конфликт.

— Откуда подробности?

Яша лишь загадочно улыбнулся.

— Так чем ещё знаменит Эмик на обетованной земле южного Бруклина?

— У Эмика, пока Буш не подписал с Мексикой торговое соглашение, шесть швейных фабрик было. В двухэтажном здании на Тринадцатой Вест был грузовой лифт. Туда свободно въезжал грузовой трак. На нём завозилось сырьё и вывозилась готовая продукция. Но однажды в ночь с

пятницу на субботу в морском порту взорвали стену склада. Полиция сбилась с ног. А трак с европейским товаром две недели простоял у Эмика на втором этаже.

— Ты так говоришь, будто свидетелем был.

— Четверть века прошло. Но, если это не галлюцинации, за рулём трака был я. Если вздумаешь капнуть, — дядя Яша скорчил лицо и прикинулся простачком, — у меня справка есть от психиатра, что я параноик и несучёрт знает что.

Опа! На Брайтоне пошли аресты. Не на Ошеан Вью, где можно снять пуэрториканку в любое время суток, не на шумной Брайтон Бич авеню, где торговля идёт мимо кассового аппарата, а на тихой Тринадцатой улице, в доме, в котором живут Изя и Шелла. В той тихой Одессе, которая далека от Привоза. И кого взяли? Двух милых старушек, восьмидесятилетних Ханну Марковну и Иду Моисеевну. Их вывели в наручниках, вокруг был собран полк полицейских машин, «красавиц» посадили в одну из них и под эскортом увезли в участок. Предполагали, по-видимому, что старушки живыми не сдадутся и будут отстреливаться — иначе, чем обязаны почётному караулу?

В теленовостях пояснили: старушки были заурядными продавцами наркотиков и обслуживали клиентов, не выходя из дому. Ужас! Живём на Брайтоне, как на пороховой бочке.

В Америку Эмик приехал в мае семьдесят пятого. Год до этого сидел в Италии. Не хотел приезжать, хотя друзья достойные зазывали, — с кем-то вместе сидел на зоне, с кем-то бизнес в Одессе делал, — звали, кто — в Майями, кто в Калифорнию, большой выбор был. Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Сан-Диего. В Лас-Вегасе обещали кисейные реки и молочные берега. А он упрямец. Сам себе на уме. Да и Таня, жена, в Америку не рвалась. По правде, говоря, из-за неё и он не хотел в Америку ехать. Сидел в Италии. Купил небольшой автобус, старый, подержанный, но на ходу, и возил «наших» на базар. Затем, когда освоился, развернулся и новоприбывшим устраивал автобусные экскурсии по Италии, а дома кромсал ножом карту. Выбирал, где Тане понравится.

...Через сорок лет с соседом по Маразлиевской, в пятом номере жившем, он делился воспоминаниями:

— В Австралию не взяли — жена полная. А как ей не быть полной, если на пятом месяце она. Третьего ребёнка ждёт. В Новую Зеландию не поехали сами. В консульстве сказали,

старшему сыну обрезание делать надо. Какое обрезание, когда ему в школу скоро идти? Прошли собеседование в ЮАР, Южно-Африканскую Республику, богатую и процветающую в те годы страну. Буры активно приглашали белых переселенцев. Нам на становление давали на руки сто сорок тысяч долларов. По тридцать пять тысяч на человека. Учили ещё не родившегося. Дом давали, бизнес. Я выбрал рыбный магазин. Подписал обязательство жить в белом районе, спать с автоматом, с чёрными не работать. И тут за неделю до отъезда началась там война, чёрные с бурами. Вызвал американский консул, расспросил. Он обо мне всё уже знал: «В курортном управлении работали?» — Я головой киваю. Консул галочку ставит в своих бумагах и продолжает: «Ездили на машине в командировку в Очаков?» Киваю головой. «Там двадцать километров запретная зона. Что видели?» — Ничего не видел. Там кусты. — А за кустами? — Ничего не видел, — Эмик хитро прищурился. — Хотя знал, что там танкодром. Консул не поверил, но дал разрешение. Я выбрал Майями. Прихожу домой, а жена не хочет на юг. Подавай ей северный штат, чтобы зимой снег был. Приехали в Коннектикут. Мы были третьей русской семьёй. Но не мог я там находиться. Скука. Друзья в Бруклин позвали. Начал с ланчонета на авеню X. Мебельные магазины и швейные фабрики были потом. В алмазы я не полез, хотя друзья настойчиво закликали.

...В другой раз, в благодушном настроении пребывая, Эмик поучал соседа по Маразлиевской:

— Рассказать, что такое «точное время»?

— Расскажи.

— В начале семидесятых за одну минуту я потерял бизнес. Его цеховики продавали. С товарищем я договорился купить его за пятьдесят тысяч. Продавцов трое было. Столик на семь вечера был заказан в «Алых парусах». Если помнишь, кафе такое на Дерибасовской было. Встречаюсь с товарищем, а он говорит мне, в три погибели скрючившись: «я что-то сожрал. Сейчас уделаюсь». Я на него рывкнул: «Беги в подворотню!»... Ровно в семь входим в кафе, они выходят. Сталкиваемся в дверях. Альтман, он был старше меня на двенадцать лет, говорит: «Вы несерьёзные люди. Мы вас не знаем, и никому вас не будем советовать».

А финал... Если говорить об Эмике, то у него есть название: «**По лошадиному паспорту**»:

Эмик умер в январе 2017-го. Жил шумно, четыре судимости нахватал, а умер тихо, в кресле перед телевизором. Жена, татарка, бывшая оперная певица, троих детей ему подарившая, ужин на кухне готовила. «Эмик! Эмик!» — звала она. Он не отвечал. Она подошла, думала: задремал, толкнула слегка в плечо — он мёртв.

Жён у него было четыре или пять, смотря как считать. Учитывать ли первую, Машку, эстонку, сына ему родившую, на которой женился по лошадиному паспорту?

Его освободили в пятьдесят третьем по бериевской реабилитации. Срок за кражу был небольшой, и с возрастом подфартило — призывной. На флоте тогда четыре года служили, туда и распределили.

Эмик вспоминал: «С Машкой я познакомился в поезде. Нас после учебки везли в часть. А она в том поезде бригадиром была. Блондинка. Волосы до плеч. Если делала причёску — папаха на голове. Наклоняла голову, упасть могла. Влюбился сразу. В часть ко мне приезжала. Но давать не давала: “Только после замужества”. У срочников паспортов нет, а мне неважно. Прибегаю к старшине, украинцу, люто он ненавидел советскую власть: “Делай что хошь, надо жениться срочно!” “У Орлика нашего есть лошадиный паспорт, — говорит старшина. — Похож на общегражданский”. — “Давай!” Быстро сделали фото. Вклеили в паспорт Орлика. В эстонском загсе по-русски ни бум-бум. Штамп поставили в паспорт Орлика. А ей — в её паспорт. Три года она ко мне приезжала. Я тут же на гауптвахту, за бутылку водки получал отдельную камеру. Она привозила надувной матрас. На нём сына заделали. В пятьдесят шестом вернулся из лагеря её отец Ульманис. Десять лет отсидел за борьбу против советской власти. Один приехал в часть: “Я знаю, она любит тебя, а ты её. Мне на хрен, кто ты: еврей, русский, татарин. Ты советский.. Останется она с тобой — убью тебя, её и ребёнка”. Машка больше не приезжала. А я до сих пор помню её. Не могу забыть, так сильно любил».

Эмиль родился в тридцать четвёртом, в Одессе, на Маразлиевской, 7. Когда война началась, отец, морской офицер, посадил на пароход жену и двух сыновей и отправил в эвакуацию. Июль 1942-го был жаркий. Эмиль с мамой был на базаре в Моздоке, младший братишка, трёхлетний, остался дома с соседкой. По радио объявили о сдаче Севастополя, мама услышала, сознание потеряла. Знала, что немцы евреев расстреливают. Её в больницу

отвезли, а его в детдом. Когда она очнулась, бросилась разыскивать сына, выяснилось, что вечером детдом эвакуировали. Восемь лет ему тогда было. Из детдома бежал, бродяжничал с такими же, как он, малолетками, дрался, воровал, попрошайничал... В сорок пятом добрался до Одессы на крышах поездов, помнил примерно дом, где перед войной жил. Позвонил в квартиру — мама открыла дверь и не признала. Грязный, оборванный, и вырос за три года. «Мама, это я, Эмик!» — она очнулась и схватила в объятия. В одиннадцать лет пошёл в первый класс.

- Такая вот вместо эпитафии краткая история одесского вора, полугрека, полувеврея, с кланом Гамбино дружившим, в Бруклине похороненного. Кличка за ним нехорошая с детства шла — Немец, Фашист. Я его хорошо знал. Как и жену, Таню, оперную певицу. Казанский оперный театр на гастроли в Одессу приехал. Эмик, как увидел её, в тот же день предложение сделал. Чтобы официально на ней жениться, в Лунном парке на сходке воров разрешение спрашивал. Отпустили.

А «Маленькая Одесса»... Будет место и время, расскажу вам о ней подробнее.

## Сфирот души нашей

(рассказ основан на реальных событиях)

### Кетер

(вступление)

Давид проснулся в прекрасном настроении. Впервые после многих месяцев не болела спина. Помогла физиотерапия, не зря столько денег ушло массажистке.

Он повалился минут десять, пытаюсь понять, что, кроме отсутствия боли, могло способствовать столь возвышенному состоянию духа, но, так и не разобравшись, отправился в ванную.

Ему хотелось сделать доброе дело. Да, подарить кому-нибудь ощущение счастья. Само счастье подарить невозможно – он уже давно живет на свете и понимает, что один человек может дать другому, а что нет.

Станным в этом желании было предвкушение удовольствия. Нет, иногда такое с Давидом случалось; он помнил свою искреннюю радость, когда жена надевала подаренную им очередную драгоценную цацку, округлившись глаза дочка, получившей на день рождения новый автомобиль. Но это все происходило потом, после, а тут он чувствовал, совершенно явно и безошибочно, что доброе дело доставит ему удовольствие.

– Ну-ну, – хмыкнул он, дивясь собственной прыти, – ну-ну!

Как назло, никого из близких не было рядом. Жена, Шифра, укатила в Стокгольм на конференцию, сын сидел в своей Силиконовой долине, дочка с семьей плыла на лайнере вдоль фиордов Норвегии, родителей, увы, давно не было в живых.

Орудя зубной щеткой, он рассматривал себя в зеркале. Зрелище, прямо скажем, грустное. Мысленно он по-прежнему представлял себя загорелым красавцем с пышной шевелюрой, которому ничего не стоило двадцать раз подтянуться на турнике. А в отражении на него смотрел изрядно поживший лысоватый мужчина, с брюшком и мешками под невеселыми глазами.

– Ну и что? – промычал он через зубную пасту. – Я могу это изменить, могу переделать? Надо принимать мир и себя в нем таким, какой он есть, а не впадать в отчаяние от каждого набранного килограмма или потерянного волоса. Тебя сегодня ждет неожиданное удовольствие! Не пытайся его вычислить, плыви по течению, и будь, что будет.

## Хохма

На работу Давид всегда приходил позже всех. Делал он это намеренно – сотрудники должны четко понимать разницу между собой и хозяином фирмы. Не умозрительно и не от случая к случаю, а каждое утро. Про то, сколько часов в день он работает на самом деле, никто не знал.

Его аудиторская контора считалась одной из самых крупных в Тель-Авиве, но - что гораздо важнее, - одной из самых надежных. Ее услуги стоили немало, но они того стоили. Давид создал ее с нуля, с пустого места, и по праву гордился делом своих рук. Гордился, но держал руку на пульсе. Он был в курсе всех рассматриваемых дел, досконально, дотошно, придирчиво. На это уходило все его время, да что там время, вся жизнь. Шифра не зря любила повторять: у меня нет ни мужа, ни отца моих детей, ни собеседника – только главный аудитор.

Сегодня с самого утра он должен был уволить Машу Розанскую, старо-новую работницу. Давид откладывал это болезненное решение со дня на день, никак не мог объявить Маше об увольнении. Колебался и жалел он Машу, тихую, неприметную бухгалтершу. Она работала у него почти два года, но все еще считалась новенькой. Возможно, из-за своего прибора - деревянных счетов, занимавших треть стола.

Когда Маша в первый день своей работы выложила их на стол, сбежалась вся контора. Молодежь вообще не знала, что это за приспособление; те, кто постарше, видели их когда-то, но пользоваться ими никто не умел. Музейный экспонат, вроде логарифмической линейки. Кому придет в голову в эру сотовых смартфонов пользоваться такой дребеденью?

– Там, где я училась и работала, – виновато объясняла Маша, – все пользовались такими счетами.

Она приехала из российской Тмутаракани, города с плохо произносимым названием; около двух лет учила язык и

бухгалтерское дело на иврите, а потом пошла искать работу. Давид взял ее, во-первых, потому что Маша согласилась на очень маленькую зарплату, а во-вторых, потому что его отец когда-то тоже приехал из СССР, правда, совсем из другого региона.

Отцом Давид гордился. Не только из-за блестящей дипломатической карьеры, вершиной которой был пост полномочного посла Израиля в Румынии. Аба Декель приехал в страну перед началом Войны за Независимость, имея за плечами двухгодичный опыт боевых действий. Разумеется, бывшего лейтенанта шестнадцатой «литовской» дивизии Красной армии сразу забрали в ПАЛМАХ, потом в Хагану, и он был хорошо знаком со всеми знаменитыми политическими деятелями и генералами. Свое имя Давид получил в честь Давида Бен-Гуриона, который был ни больше ни меньше, как посаженным отцом, сандаком, на его брит-миле.

Аба Декель еще успел увидеть «большую алию», и несколько раз просил сына принимать в свою контору новых репатриантов. Благодаря этим просьбам Маша и получила работу. В тот, первый ее день Давид тоже подивился странному счетоводному инструменту и тут же распорядился выдать Маше электронный калькулятор. Но Маша отказалась.

– Мне так удобнее. Я уже привыкла.

Тогда, чтобы наглядно продемонстрировать новенькой преимущества технического прогресса, Давид решил устроить соревнование. Посадив рядом Машу со счетами и опытную работницу с калькулятором, он стал давать им задачки на довольно сложные вычисления. К его величайшему изумлению, новенькая справлялась на деревянных костяшках ничуть не хуже, а иногда и лучше, чем работница с калькулятором.

– Ладно, – махнул он рукой. – Считаю на чем хочешь, лишь бы результат был правильный.

К сожалению, счета были не единственной проблемой Маши Розанской. Мало того, что она портила репутацию конторы, придавая ей архаичный вид, Маша работала очень медленно.

«В ее трудовой биографии теперь будет указан стаж в моей конторе, – думал Давид, – и это уже само по себе большой подарок. Держать ее дальше нет смысла, невыгодно».

Он все откладывал и откладывал неприятный разговор, потом пометил в календаре достаточно удаленную дату и написал на листке: «Розанская, финал».

И вот этот день наступил. Давид еще вчера подобрал все необходимые слова и попросил секретаршу вызвать Розанскую ко времени его прихода. Отделаться – и все.

Войдя в приемную перед своим кабинетом, он сразу увидел Машу. Она сидела на стуле в напряженной, болезненной позе, пытаясь прочесть на лице секретарши, в чем причина вызова к шефу. За все годы работы в конторе ее еще ни разу не приглашали на личную беседу, и бедняга, несомненно, беспокоилась. Секретарша сама ничего не знала, но признаваться в этом не хотела, и поэтому напускала на себя туман многозначительности, еще больше пугая Розанскую.

И тут Давида осенило: вот оно, доброе дело. Большое и настоящее, прямо в его руках.

## Бина

Поздоровавшись, он попросил Розанскую немного подождать, прошел в свой кабинет, уселся за стол и пустился в размышления.

«Не увольнять. Это понятно. Но как с ней поступить? Она ведь не одна, вокруг другие аудиторы. Позволяя Розанской работать в таком темпе, я показываю всем остальным, что согласен на черепаший ход выполнения проектов. Одну медлительную Машу моя контора вынесет, но если все остальные перестанут корячиться и перейдут на неспешный темп, тогда...

Розанская не лентяйка; когда бы я ни проходил мимо ее стола, она сидит, склонившись над бумагами. Надо понять, в чем причина ее медлительности. Сейчас хороший момент, она перепугана, ждет известия об увольнении. Узнав, что я просто хочу обсудить, как улучшить ее работу, Розанская обрадуется и на волне воодушевления может сказать то, о чем предпочитает молчать».

Он вызвал секретаршу, попросил кофе для себя и Розанской и подмигнул фотографии отца на столе:

– Ты доволен? Видишь, как я забочусь о твоих «русских»?!

Себя Давид считал «саброй», уроженцем Израиля. Он родился в Тель-Авиве, окончил знаменитую гимназию «Герцлия», отслужил в элитных частях. О стране исхода родителей в доме ничего не напоминало, по-русски отец и

мать категорически отказывались говорить так же, как и литовски, - на языке, который знали в совершенстве. На нем они изъяснялись, когда хотели, чтобы смысл разговора остался непонятным для детей, Давида и Ривки.

– Прекратите говорить на этом дурацком языке! – возмущался маленький Давид, но отец лишь посмеивался.

Книги в их доме разрешались на иврите, отец был его страстным поклонником. Он даже фамилию сменил, заменив галутский винный камень Вайнштейн на Декель – символ Израиля, пальму. Исключение делалось только для американских газет. Литва и СССР остались лишь в рассказах отца, и вот их Давид запомнил на всю жизнь.

Аба Вайнштейн вырос в маленьком местечке неподалеку от Алитуса. Перед самой войной был призван в Красную армию, ранен, прошел ускоренный курс в офицерском училище, вернулся на фронт и снова был ранен. В сорок третьем году перевелся в 16-ю пехотную «литовскую» дивизию, в которой воевали выходцы из Литвы. Евреев там было столько, что в некоторых ротах команды отдавались на идише.

Когда Красная армия освободила Литву, отец, кавалер нескольких боевых орденов, выпросил отпуск и помчался в родное местечко. Каждый раз, вспоминая минуты возвращения, он не мог удержаться от слез.

Чужие люди в родном доме, вывески только на литовском, ни одного еврея во всем местечке. Уклончивые взгляды старых знакомых, уклончивые ответы на его расспросы: не видел, не знаю, не помню.

Аба зашел к человеку, которого считал своим другом. Вместе играли в футбол, вместе выступали в драмкружке на идиш. Янис, увидев гостя, побледнел. Отец не понял почему, но окинув взглядом комнату, повернулся и молча вышел. На столе вместо скатерти был постелен талес, а вечерний сумрак отгоняли свечи в тяжелых бронзовых подсвечниках, точно таких, какие были у его матери и других евреек местечка.

Делать ему тут было нечего. Он пошел пешком на железнодорожную станцию в пяти километрах от местечка, чтобы уехать первым же поездом, но тут до него донесся истошный вопль:

– Аба, Аба!

Он обернулся и увидел бегущую вслед за ним седую женщину.

– Аба, ты не узнаешь меня. Аба? – повторяла она на идиш.

– Нет, – покачал головой отец.

– Я Ривка, твоя соседка Ривка!

Он остолбенел. Перед началом войны Ривке исполнилось шестнадцать лет.

Из нескольких тысяч евреев местечка спаслась только она. Ее прятали на хуторе поляки, старые друзья их семьи. Вырыли яму в свином хлеву, посадили в нее девушку, закрыли настилом, а сверху завалили навозом. Ночью отгребали нечистоты, выпускали Ривку подышать и поесть. Так она прожила три с половиной года, через день теряя сознание от вони и нехватки воздуха. Зато ни одна проверка, а их было немало, не увенчалась поимкой.

Ривка точно знала, кто из литовских жителей местечка убивал евреев, кто помогал убивать, кто грабил оставленные дома. Все эти годы она расспрашивала укрывавших ее поляков и запоминала каждое слово.

Отец отправился в Алитус в НКВД и предложил свою помощь. Его приняли с распростертыми объятиями. Боевой офицер, местный житель, знающий язык, топографию и обычаи был нужен позарез. Через неделю он вернулся в родное местечко всесильным уполномоченным НКВД.

## Даат

Маша осторожно отпила кофе. Вид у нее был настороженный и подобранный, так выглядят люди в ожидании неприятных известий.

– Я уже две недели, как перешла на калькулятор, – тихо сказала она, не поднимая глаз.

– Маша, – теплым тоном начал Давид. – Я внимательно слежу за тем, что вы делаете, и мне очень нравится ваша работа. Разумеется, вы продолжите делать ее и дальше.

Он замолчал, давая Маше возможность перевести дыхание. На ее лице читалось явное облегчение, а потускневшие от напряжения глаза засверкали.

– Я вызвал вас для того, – продолжил он, чуть менее задушевно, – чтобы мы вместе попытались понять, чем вызван невысокий темп вашей работы.

– Это просто, – быстро ответила Маша. Она говорила легко, с подъемом, и Давид понял, что его план вызвать откровенность, удался. – Я два раза проверяю все, что делаю. Так меня научили, так я привыкла поступать.

– Хорошая привычка, правильная, – одобрил Давид. – Не стоит от нее отказываться. Но даже с двойной проверкой... – он замолк, давая Маше возможность самой дополнить предложение.

Она опустила голову, покраснела.

– Мне бы не хотелось об этом говорить, – выдавила она из себя после долгой паузы.

– Ну почему же? – удивленно развел руками Давид. – Мы же просто пытаемся разобраться. Только мы с вами, вы и я. Уверяю, все, что говорится в этой комнате, не выходит за ее пределы.

Маша вздохнула, словно ныряльщик перед прыжком и, не глядя на Давида, быстро произнесла.

– Меня коллеги постоянно просят проверить их отчеты. Говорят, что я хорошо нахожу ошибки. И я проверяю.

– И находите? – ободряющим тоном спросил Давид.

– Нахожу.

Решение плюхнулось на стол, сверкающее, как вытщенная из воды рыба.

– Маша, я давно ищу помощницу Цфире, – сказал он. – Она через полтора года уходит на пенсию, и мне нужен человек, который сумеет ее заменить.

Цфира была главным ревизором конторы, грозным инспектором, наводившим ужас на аудиторов. Она проверяла отчеты перед отправкой клиентам и, если находила ошибки, аудитор получал серьезный нагоняй, иногда заканчивавшийся денежным штрафом. «За последние полтора года, – вспомнил Давид ее слова во время последнего разговора, – наши аудиторы, наконец, научились работать. Количество ошибок резко уменьшилось. Видимо, мои наставления в конце концов возымели действие».

«Эх, Цфира, Цфира, – внутренне усмехнулся Давид. – Причина таилась вовсе не в твоих наставлениях. Да и я хорош, не заметил такое подводное течение в своей конторе».

Маша недоверчиво посмотрела на Давида. Заменить Цфиру означало головокружительный скачок в карьере, влекущий за собой не только почет, но и солидную прибавку к жалованью.

– Вы думаете, я справлюсь? – наконец спросила Маша.

– Надеюсь, – ответил Давид. – Это совсем не просто и не легко, но мне кажется, что у вас хорошие шансы на успех.

Маша отправилась к Цфире с его запиской, а Давид попросил у секретарши еще одну чашку кофе. Предыдущий за время разговора остыл, а пить холодный он не любил.

Давид, боясь обжечься, сделал глоток, и замер от наслаждения. Такой ароматный, вкусный кофе ему еще не доводилось пробовать.

«Вот оно, настоящее удовольствие, – подумал он. – Это потому, что принято верное решение. Доброе дело совместилось с пользой для фирмы. Оттого и кофе кажется вкусным».

Аба Декель улыбаясь смотрел на сына с фотографии. Давид снова подмигнул отцу и сделал еще один глоток.

«И все-таки, – подумал он, – невозможно сравнить мои проблемы с проблемами, встававшими перед отцом. А что бы я делал на его месте? Смог бы, как он? Боюсь, что не смог».

Ривка сообщала фамилию и место проживания убийцы евреев, Аба приходил за ним вечером и брал под арест. Малиновый околыш его фуражки действовал завораживающе, здоровенные мужики ломались без звука, безропотно позволяя себя связать. Вместо участка Аба отводил их в лес, где на глухой поляне уже была вырыта яма. Тогда появлялась Ривка и от имени погибших евреев местечка выносила убийце смертный приговор, который немедленно приводился в исполнение.

Родственникам, приходившим узнать о судьбе арестованного, Аба объяснял, что особо опасный государственный преступник, обвиняемый в казнях мирного населения, отправлен для проведения следствия в Алитус без права переписки. За три месяца Абе и Ривке удалось ликвидировать около трех десятков пособников.

## **Хесед - Гвура - Тиферет**

Цфиру он пригласил для разговора спустя месяц. Главный ревизор его конторы, пожилая венгерская еврейка из Сегеда, носила кофточки с рукавами до локтя и длинные юбки. Религиозной она не была, а одевалась так по привычке, в силу полученного воспитания, хотя свое традиционно-библейское имя Ципора сразу по приезде переменяла на ново-израильское. За сорок лет в Израиле Цфира так и не сумела избавиться от сильного венгерского акцента. Она была одним из первых работников конторы,

Давид начинал дело вместе с ней и доверял ее мнению безоговорочно

– Ну, что скажешь о Маше? – спросил он ее после традиционных расспросов о детях, муже и здоровье. Они так много лет работали вместе, что ощущали себя не сотрудниками, а членами одной семьи.

– Очень и очень странно, – сказала Цфира. – Поначалу я думала, что мне кажется, но после проверок убедилась, правда.

– Ты о чем? – насторожился Давид.

– Понимаешь, у Маши удивительный дар. Она чует ошибку, как гончая собака след. Для начала я дала ей отчеты с явными промахами. Она их быстро обнаружила. Работать умеет, усидчивая, старательная. Тогда я дала ей кое-что посложнее. Без объяснений, дала и все. Маша провозилась два дня, но нашла. Ну, это я еще могла понять, упорство и сосредоточенность могут творить чудеса. Только видела, как у нее глаза блестят от гордости, вполне заслуженной, кстати, и я решила поставить ее на место. Попросила проверить то, о чем она понятия не имеет. И тоже, без пояснений, дала отчет и все.

– И она нашла? – не удержался Давид.

– Нет, – улыбнулась Цфира, – конечно, нет. Просидела день и пришла ко мне с поднятыми руками. Мол, не знаю, как объяснить, но в третьем разделе отчета есть ошибка. Какая – тоже не знаю.

– Она была права?

– Да, абсолютно. Я повторила эксперимент – результат тот же. Давид, Маша аудитор от Бога. Конторе очень повезло, что она оказалась у нас. А ей повезло, что ты сумел разглядеть этот бриллиант.

Совершенно непонятно почему, но история с Машей пробудила в Давиде пласт воспоминаний об отце. Он все чаще и чаще возвращался мыслями к его рассказам, и все больше жалел, что в свое время не уделил этим беседам больше времени.

Аба Вайнштейн отдавал себе отчет, что долго так продолжаться не может. Надо было что-то предпринимать, переводиться в другое место или бежать с поддельными документами, но Ривка не давала ему покоя, требуя новых и новых ликвидаций. В ее груди полыхал огонь мщения, и Аба вместе с ней не мог остановиться. Однако тоже план действий на случай крайней ситуации он все-таки составил.

Все закончилось внезапно. Посреди дня Ривка ворвалась в нему в участок с безумно расширенными глазами. Это было против установленных ими правил. Чтобы отвести подозрения, они никогда не появлялись на людях вместе. Отрицать факт знакомства было бессмысленно, но и давать пищу домыслам не стоило.

– Аба, беги! – с трудом не срываясь на крик, воскликнула Ривка. – Они едут за тобой.

– Кто они?

– НКВД из Алитуса. У них машина сломалась, они чинят ее на хуторе в трех километрах отсюда. Хозяин хутора слышал их разговоры. Он приехал сейчас в местечко, увидел меня на площади и злобно прошипел: «Пришел конец твоему дружку». Ну, я в него вцепилась мертвой хваткой и не отпускала, пока он все не выложил.

Аба молча схватил давно приготовленный вещмешок и опрометью бросился наружу. Добежав до опушки леса, он оглянулся и успел увидеть, как по дороге пылит крытый брезентовым тентом ЗИС. Аба хорошо знал этот грузовик. На нем выезжали братья с хуторов пособников «лесных братьев».

Он шел день и всю ночь, и к полудню вышел к польской границе, возле речки Шешупе. Зона вдоль реки была закрытой, и его несколько раз останавливали патрули. Но форма и удостоверение оказывали привычное воздействие.

Аба понимал, что времени у него совсем немного. Скоро сообщение о розыске доберется до всех участков, и на одной из проверок его возьмут. Он спрятался в кустах, ночью переплыл Шешупе и ушел в Польшу. Через три месяца Аба уже был в Хайфе...

Маша, направляемая Цфирой, входила в дело, как большой корабль, подталкиваемый буксиром, вплывает в гавань. Уверенность в себе красит женщину лучше самой дорогой косметики. Серенькая мышка вдруг превратилась в зрелую, весьма привлекательную женщину. Не красавицу, но очень даже ничего.

Давид обратил на это внимание, когда она пришла к нему просить внеочередной отпуск.

– Понимаете, брат из Америки прилетел. Внезапно! Родной брат. Мы с ним как расстались в Вене, так с тех пор и не виделись.

– А почему он в Израиль не поехал? – неодобрительным тоном спросил Давид.

– У Абы жена русская, Настя. Бросила всю родню, поехала за мужем. Куда иголка, сказала, туда и нитка. Об одном только просила: не в Израиль. Боялась климата, войны и такого количества евреев.

– Так чего же она за еврея замуж пошла? – удивился Давид.  
– Вернее, почему ваш брат женился на нееврейке?

– Ну а на ком там было жениться? – ответила Маша, и снова произнеся трудновыговариваемое название города, продолжила.

– Евреев у нас почти не было, раз два и обчелся. В основном, семьи ссыльных или отбывших срок. В городе два огромных комбината - сталелитейный и химический. Если ветер дул с севера, город накрывал дым из труб сталелитейного, а если с востока из труб химического. По своей воле жить там никто не хотел, а работники были нужны, вот город и открыли для бывших заключенных с семьями. Среди них Аба и нашел свою Настю. Очень хорошая женщина, между прочим. Повезло ему с ней.

– А уехать в другое место разве было нельзя? – удивился Давид.

– Уехать? – в свою очередь удивилась Маша, широко раскрывая глаза. – Вы про паспортный режим разве не слышали?

– Нет, не слышал. Я родился в Тель-Авиве.

– Вам повезло, – грустно вздохнула Маша, и вот тут Давид наконец заметил, как она похорошела.

## **Нецах – Ход – Йесод**

Как все-таки мало Давид знал про отца. Некогда было, вечно бежал по своим делам, строил контору, заводил семью, потом пошли дети, заботы. Думал, еще успею, вот пройду этот поворот, сяду с отцом на выходные и – ... Так и не успел, не расспросил... В памяти остались только самые яркие эпизоды.

В середине семидесятых, когда Аба Декель был полномочным послом Израиля в Румынии, его пригласили на празднование Дня Победы. Министерство иностранных дел Румынии устраивало прием для дипломатического корпуса. Была масса людей, оживленный гомон, шум, после короткой официальной части ожидался роскошный обед. К Абе подошел военный атташе СССР и предложил выпить за

победу. Разумеется, официально они не были знакомы, но иногда встречались на такого рода сборищах.

Английский его был ужасен, однако Аба, не подав виду, вежливо поднял фужер с шампанским.

– Тут душно, – вдруг сказал военный атташе. – Давайте выйдем на балкон.

Дело принимало интересный оборот, атташе явно не хотел быть записанным на пленку. В том, что все происходящее на приеме записывалось и снималось, никто не сомневался. Скорее всего, прослушивался и балкон, но советскому представителю лучше было знать, где прослушивают, а где нет.

Они вышли на балкон, отошли подальше от курящих, и тут атташе, коснувшись своим фужером фужера Абы и негромко произнес по-русски:

– Выпьем за победу, лейтенант Вайнштейн!

Увидев напрягшееся лицо Абы, он улыбнулся.

– Да-да, мы все помним и ничего не забываем. Вы мне симпатичны, я читал ваше дело, и могу сказать, что не знаю, как бы поступил, окажись я на вашем месте при таких обстоятельствах. Скорее всего, сделал бы то же самое. Так за победу?

Они чокнулись, выпили до дна по русскому обычаю, и атташе добавил:

– Об одном хочу вас предупредить. Никогда ни при каких обстоятельствах не оказывайтесь на территории Советского Союза. Вас не спасет диппаспорт и не помогут протесты на уровне ООН. Для нас вы бывший работник органов, перешедший на сторону врага. А с таким разговор один, и вы знаете какой. За победу!

Атташе повернулся через левое плечо и ушел с балкона, а отец долго смотрел ему вслед, не понимая что это: ход советской разведки или человеческая откровенность, проявление загадочной русской души. Прошло несколько месяцев, прежде чем он понял, что разведка была ни при чем.

– Да, такую историю трудно забыть, – укорял себя Давид. – А вот какова судьба Ривки, помощницы отца, в честь которой названа моя сестра, я так и не знаю. И сама Ривка тоже не знает, Отец рассказывал, как после падения советской власти писал в Литву, пытался отыскать ее след. Выяснилось, что Ривку арестовали сразу после его бегства, осудили и сослали в Сибирь. Оттуда она не вернулась, и больше о ней ничего не известно.

И не будет известно уже никогда, если не возьмется за это дело, потратив кучу времени и денег. Но он же не станет этим заниматься, даже в память об отце. Он даже не знает, какая у Ривки была фамилия.

В семейном альбоме с фотографиями, когда-то единственном, а сейчас одним из многих, первые несколько страничек были отведены пожелтевшим от времени довоенным снимкам отца и матери. В основном – матери, ее семье удалось перебраться из Познани в Палестину в конце двадцатых годов, и они сумели привести с собой фотографии.

Отцовской была лишь одна, он выпросил ее у друга юности Мойше Зара из кибуца Дгания. Она открывала альбом, двое улыбающихся юношей и совсем молоденькая девушка под транспарантом на иврите – «Ахшара».

«Подготовка» – так называлась сионистская организация в довоенной Литве, обучавшая будущих поселенцев умению возделывать землю, доить коров, косить сено и прочим сельскохозяйственным премудростям.

– Перед отъездом Мойше в Палестину, – рассказывал отец, – мы пригласили фотографа нашего местечка, и он сфотографировал Мойше, Ривку и меня. Мойше погиб в Шестидневную войну, во время атаки десантниками старых кварталов Иерусалима, Ривка сгнула в советских застенках. Остался я один.

В молодости Давид почти не открывал этот альбом, но после смерти отца стал доставать его с полки и рассматривать фотографии. В последнее время он делал это все чаще и чаще.

– Стареешь, – посмеивалась Шифра. – Что-то рановато, рановато.

В этот раз он привычно положил альбом перед собой на столик, раскрыл и даже присвистнул от удивления: фотографии на первой странице не было. Причину он понял сразу: уголки, которые держали фото, отклеились, и она выскочила из альбома. По-молодому выпрыгнув из кресла, Давид протянул руку к полке и с облегчением нащупал кусочек картона с зазубренными краями.

Сев, он принялся дотошно рассматривать фотографию. На обороте выцветшими чернилами было написано: 1937 год, Ахшара, Мойше Зар, Аба Вайнштейн, Ривка Розанская.

Вот теперь он узнал ее фамилию. Как, оказывается, все было просто. Он даже улыбнулся от удовольствия и вдруг

замер. Розанская... уж не родственница ли она чудо-аудитора Маши?

Нет, не может быть. Маша была замужем, значит это фамилия ее мужа, с которым она развелась еще до приезда в Израиль. Вот он-то, может быть, и родственник. Но вряд ли, скорее, всего однофамилец, слишком большое расстояние разделяет эту, как ее, Кырыгнду, и литовское местечко. Завтра надо будет вызвать Машу и хорошенько расспросить.

Уже укладываясь в постель, Давид вспомнил, что Машин муж не был евреем, и, значит, фамилию она себе вернула девичью, а Машиного брата звали Аба. Эти два совпадения почти лишили его сна.

В контору Давид примчался не на час позже, а на двадцать минут раньше, еле дождался начала рабочего дня и тут же вызвал к себе Машу.

– Скажите, дорогая, – взял он быка за рога, – что вам известно про Ривку Розанскую из Литвы?

– Это моя мама, – ответила Маша, повергнув Давида в состояние ступора.

– Вам нехорошо? – забеспокоилась она, не связав свой ответ с реакцией начальника. – Принести воды?

– Нет-нет! – воскликнул он, трудом обретая самообладание. – Лучше расскажите мне о маме.

– Мама родом из Литвы. После войны была осуждена особым совещанием на десять лет. А потом выслана в Караганду, на химкомбинат, я же вам рассказывала.

Он мотнул головой, невероятное свершалось прямо на глазах, и он был его частью.

– На химкомбинате мама встретила моего отца, тоже ссыльного. Он преподавал математику в Ленинградском вузе, после убийства Кирова был осужден. В общем, прошел тот же путь, что и мама. Я его почти не помню, он умер, когда мы с братом были совсем маленькими.

– А почему вы не вернулись в Литву? Почему остались в этой, как ее, Кырыгнде.

– Вначале было нельзя, а когда стало можно, мы уже прижились, устроились. Да и мама не хотела. Говорила, не желаю возвращаться на землю убийц.

– Где она сейчас?

– Она умерла много лет назад, от рака. Работала на вредном производстве. А нам постоянно повторяла: как только сможете, уезжайте в Израиль. Мы и уехали, как только смогли.

– Вы знаете, кто это? – он вытащил из папки и протянул Маше кусочек картона с зазубренными концами.

– Боже мой! – вскричала Маша. – Откуда у вас эта фотография?!

– Она вам знакома?

– Конечно! Из семейного фотоальбома. Это мама и ее первая любовь, Аба Вайнштейн.

Давид схватился руками за голову.

## Малхут

Тем вечером он, как обычно, остался в конторе после того, как все разошлись. Только Цфира еще посидела часик и тоже отправилась домой. На столе у Давида лежала кипа неотложных дел, но работать он не мог. Без конца расхаживая по кабинету, он пытался объяснить самому себе, как могло произойти столь невозможное совпадение. Пытался, и не мог. При всей реальности случившегося, оно не вписывалось ни в какие вероятностные модели.

Мир, прежде понятный и объяснимый, стремительно утратил прозрачность. В нем зримо и однозначно существовало то, чего Давид всю свою жизнь пытался не замечать.

Подходя к окну, он раз за разом вглядывался в фиолетово-вечереющее небо над Тель-Авивом, словно пытаясь разглядеть в нем Того, Кого нет.

# ПОЭЗИЯ

Рита Бальмина

## Моя Одесса

Ту, мою Одессу детства,  
Доживавшую на идиш,  
Выживая не по средствам,  
Лишь во сне теперь увидишь.

Там с балкона - стрелы кранов,  
Кораблей заморских трубы.  
Порт рычит Левиафаном,  
В рупор матерится грубо.

Дух из коммунальной кухни  
Жухлый, луково-чесночный...  
Над кастрюлей тети Рухли -  
Муж ее беспозвоночный.

Боцман Гольц пришел из фрахта,  
Пьет уже шестые сутки  
И жену - проклятой шляхтой -  
Обзывает - проституткой.

Вьется над двором былинным,  
Где субботний отдых тяжек,  
На веревке - длинным клином -  
Стая выцветших тельняшек.

А под ней "козла" со стуком  
Забивают ветераны.  
Улыбается толстухам  
Нелли Харченко с экрана.

На втором клопов морили,  
Гольц нажрался, как скотина...  
В небеса - хвалой Марии -  
Ангел звука Робертино.

## Воспоминание

Неотвратимо, как псалом -  
Пушинкой пушкинского текста -  
Уже витает над столом  
Воспоминание из детства:  
Бабуля заварила чай,  
А папа смотрит телевизор:  
Свисток, пенальти получай,  
Арбитр поруганный освистан.  
А мама шьет, кляня иглу,  
И кошка сонно лижет плоску.  
У подоконника в углу,  
Где муха оседлала крошку.  
А я с уроками вожусь,  
И буря мглою небо кроет,  
Сгущая косинусов жуть,  
Над ратным подвигом героев.  
Одесский вечер, как всегда,  
Темнеет, исчезая в Лете,  
Чтоб, сквозь года и города,  
Со мной скитаться по планете.

\*\*\*

*Ольге Ильницкой*

...И Одессы не бывало.  
Аппетитно и красиво  
Стюардесса наливала  
Кофе и аперитивы,  
Улыбаясь, как реклама  
Для зубного кабинета.  
Ты была ль, Одесса-мама,  
Или мне приснилось это?  
Словно два больших удава,  
Поглощающих друг друга,  
Город слева, город справа —  
Круг сжимается упруго,  
Укрывая колоннаду  
Бархатом зеленых склонов —  
И не вымолить пощады  
Сыновьям лаокоонов.  
...Стюардесса наклонилась,  
Сексапильная на диво.  
Через час впаду в немилость  
Пыльных улиц Тель-Авива.

## Памяти деда

Одесский дворик делался все скотней,  
Полста зеленых пахли черной сотней,  
И Бенин крик: "Отказ, опять отказ!"  
В сугробе за оградами увяз.  
Там рыли яму Сарре и Абраму,  
А их анекдотическую маму  
В гробу переворачивали матом  
Старатели, подобные приматам.  
Мой дед от погребального обряда  
Отгородился ледяной оградой,  
Стандартным плоским памятником стал,  
И памяти мутнеющий кристалл,  
Его лицо вогнав заподлицо  
В мир мрамора — овальное кольцо —  
Стал острием резца в костистой кисти  
На звездном кладбище шестиконечных истин.

## Каменные веки

Мы жили-были в проходном дворе  
глухой провинции у синя моря,  
где в детстве я боялась априори  
кариатид, застывших у дверей  
во двор - одесский, неказистый двор:  
трусов и маек мокрый вернисаж  
и заскорузлый расписной забор  
разнообразят красками пейзаж,  
и пахнет морем на коленках йод,  
а на лопатках загорает лето,  
и папа из кармана достает  
бесформенно размякшую конфету...  
Гуляют голуби по жести крыш,  
а кот ученый и плешив, и рыж...

Но манной кашей переполнен рот,  
а бабушка, заставить есть желая,  
грозится: "Жри, иначе заберет  
тебя к себе кариатида злая,  
и станешь пыльной мраморной скульптурой,  
не плачь, а ешь, я пошутила, дура..."

И сумрачно глядели в "zman atid"<sup>1</sup>  
глазницы впалые кариатид,  
не видя дворика и в нем соседей наших,  
которым сквозь чужбины сладкий дым  
мой детский страх рукой недвижно машет,  
моргая веком каменным своим.

---

<sup>1</sup> zman atid — будущее время (иврит).

## Назови меня морем

идиоты держат идиотов за идиотов,  
планомерно, вальяжно прогуливаясь по городу...  
одноклассник становится самым обычным ботом,  
отпустив беззаботно болтаться густую бороду...  
ты читаешь ленту - приходит лень, уходит лето,  
и летят над твоей головой шрифтовыми стаями  
восемнадцать постов на метр и все об этом:  
«марафонец достигнет первым последней стадии»  
выключай поскорее комп, прогуляйся к пляжу,  
наблюдать, как одна за другой, наливаясь памятью,  
серебристые волны плетутся в седую пряжу,  
соревнуясь за место на жаркой песочной паперти.  
ассорти из приезжих вовсю поглощает свет,  
заедавая самсой, запивая «мицным черниговским»,  
на складной табуретке у пирса сидит поэт,  
предлагая приезжим свою юморную книжицу...  
упиваясь последним летним соленым днем,  
заруби на носу, на подкорке, на веках вырежи -  
этот город зациклен настолько, что лето в нем  
повторится четырежды.

\*\*\*

полковник спит - дела его ништяк:  
стекает семя на имперский стяг  
и тлеет недокурный косяк,  
окутывая дымом обнаженных...  
на вымышленном фронте главный гость -  
полковник спит, и битва - на авось...  
и где-то спят дырявые насквозь  
полковником оставленные жены  
полковнику приснятся зеркала,  
где на повестке старые дела  
и вместо отражений только мгла -  
лишь силуэт безликий, безучастный -  
и следом незатейливый сюжет:  
о мальчишке, сбегавшем чуть свет -  
по насту ледяному без штиблет -  
чтоб только с папой дома не встречаться  
что мы - по сути - кроме темноты?  
текстуры выворачивают стык,

и исчезает все, к чему привык -  
и ничего не видно, кроме кода...  
пусть за плечами невелик пробег -  
полковник спит, не поднимая век,  
ведь из-под них струится теплый снег  
и дарит долгожданную свободу...  
и вот уже по горлышко в воде  
он вспомнит анекдоты о дожде,  
которые одна из лошадей,  
пыталась рассказать на переправе...  
вчера - полковник, нынче - адмирал  
захлебываясь, выхрипит: «аврал!»  
и вроде бы никто не умирал,  
но мы молчанье нарушать не вправе...  
полковник спит, как минимум, сто лет  
полковник спит, дела его - привет:  
остов ковчега придавил скелет,  
снуют повсюду золотые рыбки,  
нехитрый завершая натюрморт.  
и бьются - то о череп, то о борт,  
как жены, что не делают аборт,  
клонирюя полковничьи ошибки.

### **30 шекелей**

так, как ветер вздымает новые паруса,  
так, как воздухом наполняется парашют -  
он стремился ворваться в сказочный райский сад,  
забывая о том, что сначала положен суд.  
а когда над каналом свешивалась луна,  
ему снился тот, кто однажды его спасет...  
убиенных своих нашептывал имена,  
забывая о том, что за это представят счет.  
только утро всегда приносило такую муть,  
что простить себя никаких не хватало сил...  
день за днем проходил он тот же порочный путь,  
забывая, о чем недавно еще просил.  
день за днем, постигая суть своего стыда,  
он скитался по миру, прячась от пустоты...  
правда, даже самые мудрые города  
забывали о нем, не успев от шагов остыть.  
и когда, наконец, случился тот самый суд  
и спаситель ему представил тот самый счет,  
тридцать шекелей - знал он - точно его спасут  
тридцать шекелей - это мелочь, Искарriot.

\*\*\*

расточитель покамест неподотчётен  
и ручей не стремителен - быстротечен.  
засыпая, надеется - время лечит,  
пробуждается только от двух пощёчин  
время лечит, но это ещё не точно,  
все зависит - ты из какого теста?  
расплывается докторский беглый почерк,  
и цена подрастает за койкоместо  
здесь микстуры похлеще больничной пищи,  
принимай их цинично, как яд цикуты  
в санитарных халатах скользят минуты  
и наощупь все время кого-то ищут  
перед сном, перед родиной, перед стойлом -  
по одной упаковке, тропе, иконе  
принимай их легко, принимай достойно  
под короткое соло одной ладони

\*\*\*

назови меня морем –  
я волны оставлю в залог  
приходи на меня посмотреть,  
надышаться прохладой  
назови меня морем  
и мой неразборчивый слог  
донесёт до тебя  
позабытые ухом рулады  
назови себя солнцем –  
ведь это простая игра,  
и пока мы играем в неё –  
ничего не случится...  
засыпать с Посейдоном,  
проснуться в объятиях Ра  
на немыслимой скорости  
в мчащейся колеснице...  
не посмеяв погрузить  
в полусонное тело воды  
свои жёлтые пальцы,  
не веруя в силу заката,  
на рассвете ты выйдешь,  
оставив серебряный дым,  
обожжённым осколком,  
диктующим сроки и даты.

## Кажуть, збуваються мрії

Зима була, та снігу ані грам.  
Зірки з небес освічували місто.  
І все кругом дзвені лоурочисто,  
А за горбом виднівся божий храм.  
Підказували шлях їм вівчарі,  
Й натерши ноги, довгою ходою,  
З дарами для дитяти темнотою  
У Вифлиєм ступали три царі.  
Зійшла зоря, і гості, що здаля,  
Підняли вверх, до неба свої очі,  
І сталось диво в місті тої ночі -  
Невинна породила немовля.

\*\*\*

Зимовий день розсипався кругом  
І пудра біла всюди під ногами.  
Скрипить в мороз, неначе хтось зубами  
А вітер лупить щоки батогом.  
Димар димить і оживляє дах -  
Хтось гріє руки, з вулиці прийшовши.  
І синій лід на двоє розколовши  
Стрибають діти по чужих слідах.  
Торішнє листя висохши тремтить,  
Затримавшись на гіллі до зими,  
І споглядає білі килими,  
Куди невдовзі з впавши полетить.

\*\*\*

Сьогодні тихо, вітер вщух і віти  
Завмерли і стоять як кам'яні.  
Димлять за обрієм маленькі курені  
І чутно сміх – горланять гучно діти.  
І може це від шуби було тепло,  
А може зігрівала не вона  
На небосхил дісталася луна,  
Як лампа освітивши все село.  
Одне за одним шиби загорілись  
І гамір стих, розбіглась дівтора  
Вечеряти найвища вже пора

І стало пусто, лиш сліди зміїлись  
Від ніг і санок, спогадів з життя,  
Що молодість вертають наче зілля,  
Лиш ненадовго, а за ним похмілля  
Й холодна тиша в такт серцебиття.

\*\*\*

Чуєш, буде зима і випаде сніг під ноги.  
Білим, хрустким замете всі стежки і дороги.  
Діти зберуться до купи з санками на гірці  
Місяць в високому небі моргне першій зірці.  
Зима, як тоді, коли ти був малим і пузатим,  
Вікна прикрасить узорами в маминій хаті.  
Дим з димарів задимить і підійметься в гору.  
Кажуть, збуваються мрії в цю зимну пору.  
Січень прийде, заспівають колядки у хаті,  
Вдягнуть в прикраси усі ялинки пелехаті.  
Збереться родина, наповняться келихи й вуха.  
Розмова підспівуватиме за вікном завірюха.

\*\*\*

Він зігнувшись удвоє іде  
Кожен крок, як подвиг Геракла  
І неначе повітря забракло  
Подих свій він від смерті краде.  
Ледь помітно хитаються руки  
Тягне швору в сторону пес  
І звернувши свій взір до небес  
Дід питає за що такі муки?  
Пес занюхав щось й лає у слід  
Обвиваючи немічні ноги  
Аж допоки посеред дороги  
Не торкнуть діда руки об лід.  
Стало тихо. Пес змовк і приник  
Лиш мороз тріщить і кусає.  
Лиже руки пес й поки не знає  
Що не чує дід теплий язик.

\*\*\*

Порожні і ржаві, як банки від пива  
Без тебе всі ночі і дні, моя мила.  
Щемить і кусає скаженою сукою  
Кожніська година, хвилина розпукою.

Самотність страшна, як лице із проказою  
Калічить і труїть до себе відразою.  
Де все те хороше, що ти помічала?  
Без тебе і світла, критично, як мало.

Пропали бажання всі, віра, хотіння  
Залишилось тільки одне животіння.  
А сонце встає і заходить, як завжди,  
Я ж в'яну, тобі своє серце віддавши.

## Тысячелетье Третье

Символика любви глупа  
И ожидания чрезмерны.  
Зачем бесчинствует толпа?  
Кому она осталась верной?  
Предощущение греха -

Сладчайшая из всех религий.  
А дальше? Вечные вериги,  
Посты и поиски Столпа.  
Столп сменит остолоп-двойник

Под визг немых и торг безродных.  
А на возню людей - свободных -  
Взирает Вечный Ученик.

Устал...

## Жемчужина

Вокруг меня очерчен некий круг.  
(Не ждите - ни "молчанья", ни "подруг").  
Но кажется плавучим островком  
Тот ком земли, витийствую на ком.  
На зыбком месте прочно устоять  
Не всякому мечтателю дано.  
Как Прустова - вращается кровать,  
Все пробужденья вставлены в одно.  
Покачиваясь на морской волне,  
Я обмираю от воспоминаний.  
Всегда своей послушна тишине,  
Я вслушиваюсь в лёгкий плеск названий.  
Вот эллинский, вот островной мирок.  
Вот Иудеи строгий взгляд, пустынный.  
Вот европейки в плену любовных строк.  
Вот Новый Свет, дикарский и невинный.  
Жемчужину ращу я дальних странствий  
В оковах нутряного перламутра.  
Когда-нибудь наступит, знаю, утро -  
И воспроизведу в себе пространство.



\*\*\*

Скажу ли заведомо глупость?  
Пойду ли бездумно на риск?  
Двусмысленность вечна, как грубость.  
За души сражается сыск.  
Кто как её, душу, спасает -  
Ты повремени, не суди.  
Кто вызов невольню бросает,  
Кто вольные строфы твердит  
В уме. Кто покой сохраняет  
Для будущих тайных трудов,  
Кто, родины чувства не зная,  
Бесследно исчезнуть готов –  
Чтоб где-то опять возродиться –  
Не здесь, ради Бога, не здесь!  
Чтоб в пращура переродиться,  
Чтоб снова бесценную весть  
Нести о Едином, Незримом,  
О братстве без тени стыда.  
Жалеть ли о невозвратимом?  
Назад? Ни за что! Никогда!

\*\*\*

Последняя осень  
опять – как всегда - наступает  
и сумрачней воздух набрякший  
И полный цикад  
и шум наборной  
как ни странно  
совсем не мешает  
забыться, и скрыться во времени,  
мыслью вернувшись назад  
  
живу как в прихожей  
и с бременем временной роли  
я жду - не придёт ли мгновенье  
которого жду  
природа - покуда - меняет наряд  
и безвольно  
сдаётся на лесть увядания...

## Смешались стихи и кофе

*Ни слова, о друг мой, ни вздоха...*

*А. Плещеев (из Гартмана)*

Ни слова, мой друг, ни вздоха,  
кругом лишь косые взгляды,  
летит под откос эпоха,  
и мы летим где-то рядом,  
и мечемся, словно птицы  
от близости птицелова,  
не днюется и не спится,  
ни вещего сна, ни слова.  
С утра волнуется море,  
волна седой берег моет,  
песчаную отмель лижет,  
всё ближе волна, всё ближе.  
И птицы кричат тревожно  
от близости птицелова,  
он пылью покрыт дорожной  
и ангелом поцелован.  
Не тем, что усталой тенью  
склоняется к изголовью,  
он выручил много денег,  
он кормится птичьей кровью.  
Ты, вяхирем сизокрылым,  
забьёшься в его ловушке...  
Слова не имеют силы,  
и слову цена – полушка.

\*\*\*

а здесь у меня волна – солоно-зелена  
плещется под рукой дарит душе покой  
среди бескрайних вод лодка моя плывёт  
парус мой чист и бел берега колыбель  
покачивает прибой баюкает быль и боль  
уносит меня волна солоно-зелена

\*\*\*

С утра волнуется море,  
волна седой берег моет,

песчаную отмель лижет,  
всё ближе война, всё ближе.  
Всё тише птицы кричали:  
...прости нам, вихирь, прости нам.  
Алтын дают за молчание –  
у каждой есть по алтыну.

## Тревожное

...тетрадь со стихами бросив  
в какой-нибудь долгий ящик  
я стану простым бариста  
в ближайшей автокофейне  
я буду варить вам кофе  
на площади – у Собора  
кому-то американо  
кому-то двойной эспрессо  
как будто не замечая  
ползущую серую плесень  
как будто не замечая  
что сумерки правят миром  
когда же совсем стемнеет  
и фонари зажгутся  
случайный прохожий скажет:  
постойте-ка я вас знаю  
вы жили в доме напротив  
и вроде стихи писали  
о городе  
о грифонах  
о море и о погоде  
я этим стихам поверил  
я думал – живут же люди  
как в сказке – не замечая  
что сумерки правят миром  
но вы возьми да умолкни  
прочтите же мне скорее  
о море и о грифонах...  
молчание – гавань бедствий  
о нет  
я сварю вам кофе  
и сами вы убедитесь  
его я гораздо лучше  
варю чем стихи читаю

и несомненно – лучше  
чем их сочинять пытаюсь  
я столько слов заучила  
но все они бесполезны  
важнее всего не слово  
а действие – чувство – дело;  
я вам заплачу возьмите  
за чашку американо  
за чёрный двойной – с корицей  
без сахара – с кардамоном  
но пить я его не стану  
мне кофе противопоказан  
врачи говорят что сердце  
не выдержит даже чашки;  
и я растерянно стала  
читать ему о погоде  
о том что стихи – как беды  
всегда приходят нежданно  
и столь же нежданно счастье  
и столь же нежданна радость  
он молча стоял и слушал  
парил остывая кофе  
и я поняла что смысла  
немного в моём молчании  
и выдвинув долгий ящик  
тетрадь наугад открыла...  
...смешались стихи и кофе  
с корицей и кардамоном  
где сумерки правят миром  
где рыщет серая плесень

\*\*\*

Ты, правда, считаешь, что это легко,  
запрятать стихи глубоко-глубоко?..  
В молчании – мудрость.  
В молчании – сила.  
В молчании – боль, что невыносима.  
Себя схоронив, без сомнений – живьём,  
немою обыденностью заживём,  
и раны затянутся рано иль поздно...  
Ведь ты утверждаешь, что всё несерьёзно,  
что только в молчании кроется благо,  
а там и до истины шаг, иль полшага,  
Но в жилах вскипает от боли *руда*...

Становится мёртвой живая вода.  
Ты, правда, считаешь, что это легко,  
дуть на воду, зная, что там – молоко,  
в молчание спрятать невзгоды и беды,  
ни звука, ни слова, ни тени, ни следа.  
Средь ищущих, алчущих мнимых страстей,  
ристалищ, турниров и прочих затей,  
стихи – это просто желание выжить  
в миру, где свои убивают своих же,  
где серая плесень ползёт по земле  
с похмелья кровавого навеселе.  
Где полнится небо смурным вороньём,  
где каждый молчит о своём...  
О своём.

\*\*\*

Мне хочется кричать...  
Но я молчу.  
Не слышно вопиющего в пустыне.  
Безумен мир,  
безжалостен и чужд,  
а боль – она своя, она остынет.  
О, мне и боль была бы по плечу,  
когда бы я кричала.  
Но молчу.  
Лихие дни огнём обожжены,  
тысячелетьем стало лихолетье,  
и пишется четвёртый год войны,  
хлеща наотмашь ненавистью-плетью.  
Куда бежать, к священнику, к врачу?  
Мне хочется кричать, но я молчу.  
Летит, летит над миром вороньё,  
добычу рвёт кровавыми кусками,  
и, может быть, молчание моё  
со мной умрёт и превратится в камень:  
я столько на душе их волочу,  
что впору закричать.  
Но я молчу.  
Не сдвинуть камень и не обойти –  
стоит себе в невидимом остроге,  
свернёшь направо – не найдёшь пути,  
свернёшь налево – не найдёшь дороги,  
и только прямо – только по прямой –  
лежит неблизкий долгий путь домой.

Но это после.  
А пока ничуть,  
не легче ни от левых – ни от правых,  
лежит за камнем в белых росах Чудь,  
дремучие леса  
и в пояс травы.  
Тот камень станет плахой палачу.  
Мне хочется кричать.  
Молчу.  
Молчу...

\*\*\*

Кап-ля по кап-ле  
го-ре кап-лет,  
пе-ре-пол-не-на Пан-ти-ка-па  
ре-ка, что тек-ла дав-но ког-да-то  
у под-но-жия Мит-ри-да-та...  
На узких улочках тихо-тихо:  
молчит золотая кифара Феба.  
Кап-ля за кап-лей  
кап-лет ли-хо.  
Пан-ти-ка-па  
впа-да-ет в не-бо...  
Опрокинулась чаша терпения,  
переполненная мытарствами,  
над ру-и-на-ми Пан-ти-ка-пе-я,  
над уснувшим Боспорским царством.  
Кап-ля за кап-лей  
го-ре кап-лет,  
пе-ре-пол-не-на Пан-ти-ка-па  
Суждено голубым лагунам  
век от века наполниться горем,  
багроветь под пятою гуннов,  
уповая: здесь будет море.  
Но ковыль, растущий на камнях,  
помнит песню летящих копий,  
отыскавших цель, что искали,  
на пожизненных этих копиях.  
Не впервой плясать на крови нам...  
Только в этом и преуспели.  
И молчат седые руины  
золотого Пантикапея  
обо всём, что было когда-то,  
обо всём, что будет когда-то

у подножия Митридата,  
где течёт река Пантикапа.  
Кап-ля за кап-лей  
вре-мя кап-лет,  
в сердце впа-да-ет  
Пан-ти-ка-па...

## Пророчество, как занятие

Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один.  
А было людей в моем городе – словно в банке сардин.  
Теперь они где попало – в раю и в чужом краю  
(наверное, плавают в масле), и я черт-те где стою.

Будущее на лысынах предписано дуракам –  
посредине пустыня, заросли по бокам.  
Дымный ветер гуляет в чахлах пучках седин.  
Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один.

Никто не знает, что строит, тем паче граф Воронцов,  
воткнувший в татарский берег тьму пионерских дворцов,  
где будущие поэтессы, хитрюги себе на уме,  
нетерпеливых поэтов отталкивают во тьме.

Купеческое барокко, левантийская грязь и спесь...  
Но каолин и сера – это опасная смесь.  
И город рушится в воду с треском арктических льдин.  
Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один.

Его больше нет над морем. Он сгинул вместе со мной.  
А когда-то в его колоннадах качался июльский зной,  
и все дрожало и плыло, предсказывая пейзаж,  
где сам ты лишь очертанье, жажда, жара, мираж.

Отсутствующий виновен. Отрезанное болит.  
Прошное в настоящее врезается как болид.  
И тогда сдвигаются плиты, и в дыру посреди миров  
летят бульвары и скверы, фонтаны бедных дворов.

Паутиной прибрежных тропок, колеблемой зыбью мостов  
мой всплывающий город прошепчет мне: будь готов...  
Давно готов – я отвечу на тихий призыв его.  
Из тех, кто помнил мой город, больше нет никого.

\*\*\*

Эпоха уходит как поезд – гремит и дымится.  
И в окнах, как в рамах, по пояс плывут очевидцы.

Петлицами, лицами рдея шинельного кроя  
плывут – уплывают злодеи, страдальцы, герои.

И все ликованья, рыданья за три поколения  
отправились в область преданья, забвенья, затменья.

И все заблужденья, исканья, победы, невзгоды –  
в беззвучье, во тьму тараканью, в бесследную воду.

Что делать? На скудном подзоле, на скате, на склоне  
качались мы в общем позоре, как в общем вагоне,

в том медленном, грязном, проклятом, в бреду,  
в суматохе,  
в пятьсот-развеселом, в двадцатом, в ушедшей эпохе.

Но в гулком вокзальном ущелье горит вслед за нами  
прощанья, презренья, прощенья угрюмое пламя.

Еще б ему стыками хлопать, наверстывать скорость,  
и сеять над рельсами копать, и темень, и морось.

\*\*\*

Который день дожди. На тусклом небосводе  
не отыскать звезды и знака не прочесть.  
Но все-таки живут в обугленной природе  
достоинство и честь. Достоинство и честь.  
За рамками твоих всегдашних распорядков –  
вне слова, вне строки, вне взгляда и руки –  
на самый черный день, на горькую нехватку  
живут твои дожди, леса и родники.  
На вырост. Про запас. Ну, почему еще бы  
среди таких щедрот упрямо, что ни год  
та яблоня-дичок хранит в лесной чащобе  
свой сморщенный, смешной, свой горьковатый плод?  
Иначе почему, когда закат наполнен  
предчувствием грозы и жаждою томим,  
все тянется туда, где не спастись от молний,  
где не спастись потом и молниям самим.  
Непреступим закон садов и снегопадов –  
когда сойдут снега и опадут сады,  
ты будь самим собой и не проси пощады,  
и не ищи чужой удачи и судьбы.

Иначе почему – среди непониманья –  
прибои и дожди как всеблагую весть  
сто тысяч лет твердят одно напоминанье –  
достоинство и честь.

\*\*\*

Поэзия словно космос пуста.  
И сколько стихов ни пиши,  
в ней всегда существуют такие места,  
где не было ни души.  
Где не звенел, ни глагол, ни металл,  
не скрипели ничьи прохоря,  
где даже Пушкин не пролетал,  
о прочих не говоря.

Этих широт, этих щедрот  
никто не калечил межой.  
Хочешь – воздělывай свой огород,  
хочешь – паши чужой.  
И когда ты пятьсот стишков насвистал  
и выложил в интернет,  
ты можешь хоть лечь на свой пьедестал –  
никаких соперников нет.

Не бойся, не бейся, бедный поэт,  
меж комплексов и обид.  
Не то, что врагов, - собеседников нет  
ни на одной из орбит.  
А о чем звезда со звездой говорит  
в непостижимой дали,  
расскажет обугленный метеорит,  
если долетит до земли.

## Покушение

*Валентине Голубовской*

Государь император Николай Павлович, как принято  
было его называть,  
прекрасно знал, кто его отец, а тем паче – кто его мать.  
Но уже с бабушек-дедушек начинаются бред и мрак,  
И любой, кто посмеет вспомнить об этом, несомненно  
– враг.

Государь император спокойно странствовал через Пензу  
в Тамбов  
в окружении приближенных лиц и еще сорока лбов.  
По дороге он думал: житель Пензы – пензианец?  
Пензюк? Пензяк?  
Хорошо бы спросить, но кого ни спроси – разболтает и  
станет враг.

Николай Павлович любил порядок, распорядок и  
строгий строй.  
Не любил вспоминать двадцать пятый год. А также  
двадцать шестой.  
И когда офицер прибежал на развод, а под шинелью – фрак,  
это значило – он один из них, и безусловно враг.

Он из тех, по коим плачет Сибирь, Шлиссельбург, и  
стонет петля...  
В это время раздался ужасный треск, и кругом пошла  
земля.  
Государь император рухнул в кювет, как потом он назвал  
овраг, -  
У немецкой коляски лопнула ось, и это орудовал враг.

Николай Павлович не разбился насмерть, но ключицу успел  
сломать,  
И всердцах фореитору объявил, что близко знал его  
мать.  
Начальник охраны был сослан в полк изучать строевой шаг.  
Очень сильно болели рука и плечо. И доктор, казалось, был  
враг.

Свита как обычно искала виновных – а кем был предложен  
тамбовский тракт?  
Хотя в России любая дорога – сама по себе теракт.  
Государь, конечно, и прежде догадывался о том, что в  
стране кабак,  
и вся эта свора – как не вор, так дурак, а как не дурак, так  
враг.

Но зато в Тамбове – порядок, покой, никто не лез на рожон.  
Государь помахивал здоровой рукой, приветствуя горожан.  
Вокруг – ликование без границ, военный оркестр,  
императорский стяг.  
Тамбовское выражение лиц. Не угадать – где враг.

Государь император Николай Павлович был строен,  
высок и хорош собой.  
Он был замечательный семьянин и вполне приличный  
плейбой.  
Он умер сам, проиграв войну, отдав последний приказ...  
А вот сын его, Александр Второй, был убит. На седьмой  
раз.

\*\*\*

Пророчество, как занятие, не обещает выгод,  
шейные позвонки пророков слабы не по годам.  
Здоровее выпиливать лобзиком, полезней ушами  
двигать,  
ибо сказано – мне отмщенье и аз воздам.

Воздаяние обеспечивается явлением резонанса –  
ненароком брошенный камушек, возвращаясь, влечет  
обвал.  
То ли физика так решила, то ли дьявол лично занялся,  
но тот, кто назвал неведомое, тем самым его позвал.

И хотя по слову и вере любому, коптящему небо,  
возвращается втрое и всемеро в этом и в том мирах,  
но в момент, когда происходит перераспределение  
гнева,  
попадает отдельно растущим на возвышенностях и в  
горах.

\*\*\*

*Рудольфу Ольшевскому*

Ничем мы не лучше прочих за столом или на  
столе,  
но за нами придет шаланда, а не ладья Харона,  
чтоб, откачнувшись на веслах, угадать в густеющей мгле  
знакомый берег Отрады, зеленый склон Ланжерона.

Еще там витает над дачными крышами тАнго или тангО,  
запинаясь над куполами соборов и над каланчой  
пожарной,  
еще там клянутся в любви и верности на воровском аргю,  
и ветерок пролетает, пришептывая, как говорок  
базарный.

Но о том и речь, что о черных лодках на золотой слюде,  
но о том и речь, что наши красавицы могли быть куда  
капризней,  
но о том и речь, что любви и юности не существует  
нигде,  
нигде кроме нашей памяти, нигде кроме наших жизней.

Дальний город залег над морем, изогнувшись подобьем  
змеи,  
выползая из собственной кожи, как прелестница из  
оборок,  
а то, что сияло, дышало, пело, стало сухими ошметками  
чешуи,  
уносимой ветрами во все пределы до мировых  
задворок.

Налегай на весла, вглядывайся во тьму – дымный берег  
еще горбат...  
Мы ушли не сегодня. Мы устарели прежде, чем  
постарели.  
Но там – над шарами и плитами – взлетает  
стремительный акробат –  
мой веселый друг, загорелый как дьявол уже в апреле.

\*\*\*

Мимо грядок, оградок, ларьков, пионерлагерей,  
мимо редких дверей в нескончаемом дачном заборе,  
мимо пыльных акаций на каменных плитах – скорей! –  
и откроется море.

Чаша Черного моря под куполом светлых небес –  
голубое, зеленое, серое, сизо-стальное...  
Что ты помнил о счастье, пока тебя не было здесь?  
Что ты знал о просторе, о воле, о медленном зное?

Понт Эвксинский, таласса, кипенье и пенье веков,  
колотящихся в берег, как память его и забвенье,  
и гряда горизонта под дальней грядой облаков  
долгожданной любви, и внезапней любви, и мгновенней.

Что ты помнил о счастье? Но горькая эта вода  
будет в берег стучать и стучать до урочного часа,  
чтоб откликнулось сердце, и ты воротился сюда.  
И откроется море – дыханье, сиянье, таласса.

## Сонет Одессе

Столько лет волна стучала в этот берег одичалый,  
столько лет его качало, что другого ритма нет.  
Голосам людей сначала только море отвечало,  
этот город величавый был написан как сонет.

Что за славное начало – срифмовать бульвар с причалом,  
а потом двумя лучами уходить за морем вслед,  
чтобы улицы звучали, помня море за плечами,  
и безлунными ночами излучали зыбкий свет.

Это море создавало легкий привкус карнавала –  
слишком грозно бушевало, слишком горько горевало,  
слишком быстро утихало, удивляя тишиной.

Кто ссылал сюда поэтов, ничего не смыслил в этом –  
ни в тенетах, ни в запретах, ни в сонетах, ни в поэтах,  
ни в лучах добра и света над прибрежную волну.

\*\*\*

По белой, по режущей кромке залива  
прошел осторожно меж битого льда  
безлюдный буксир под названьем «Счастливым».  
Зачем их, счастливых, пускают сюда?

Как будто бы чьим-то властительным взглядом  
на этих продрогших, сошедших с ума,  
мы тоже допущены в некий порядок,  
где берег как берег, зима как зима,

где склоны расчерчены черным и белым,  
где море недвижно, и небо темно,  
и наше присутствие в этих пределах  
хотя и сомнительно, но учтено.

Пред этим морозным и грозным покоем,  
под темной, отвесной, небесной стеной  
все-то и счастья – коснуться рукою,  
своей, ледяною, твоей, ледяной.

\*\*\*

От центра города до пригородов бетонных,  
набравший скорость на коротенькой прямой  
трамвай раскачивает сонных и полусонных  
на тонких нитках между кладбищем и тюрьмой.

И в такт покачиваясь, всплывают помимо взгляда  
в двойное зеркало вагонного окна  
стена тюремная, кладбищенская ограда,  
и беспокойная конвойная луна.

И в такт покачиваясь, ты вправе принять любое –  
налево временно, направо – уже навек,  
а что досталось нам от нежности и любви,  
так это, видимо, считается за побег.

И в такт покачиваясь, единственная дорога,  
как ни извилиста, а все приведет сюда,  
к двум тонким ниточкам от острога до бога,  
до окончательного приговора суда.

Сирень бушует над кладбищенскою оградой,  
в колючей проволоке стены тюремной излом.  
Прости нас, господи, а миловать нас не надо.  
Все с нами правильно. Все будет нам поделом.

\*\*\*

Из темного моря проходит волна,  
на мокром песке начертая письмена –  
округлые знаки из тины и пены,  
не то логарифмы, не то имена.  
Другая волна за короткий черед  
таинственный лепет бесстрастно сотрет  
и выведет новую странную пропись –  
чужой не заметит, а свой не поймет.  
Скользкой строкой по бессмертью песка  
кого окликают моря сквозь века?  
Не нам ли с тобою они повторяют,  
что жизнь бесконечна, строка коротка...

Зеленые нити качая по дну,  
ложится волна под другую волну,  
где тайна морская и тайна людская  
навсегда уходят в одну глубину.

Когда-нибудь, где-нибудь, после, потом  
раскатом прибоя на склоне пустом  
кликнет и нас запоздалое море,  
но мы не услышим, но мы не прочтем.  
Как древний узор по закалу клинка –  
случайное имя в изгибах песка.  
И кто-то уколется легкой догадкой –  
строка бесконечна. А жизнь коротка.

## По моей Молдаванке трамваи летят...

1

За твоею улыбкой шалой  
побегу через сто аллей.  
Дорогая девочка Шая,  
ты, пожалуйста, не взрослей.

На Приморском бульваре птицы  
обсуждают твои ресницы.  
Я давно уже знаю без птиц -  
нет длиннее твоих ресниц.

мне двенадцать. Тебе пятнадцать,  
Если чуда не произойдет,  
я не буду с тобой встречаться -  
ты красива, а я урод.

Застрелюсь я из пистолета,  
если мимо пройдет твой взгляд.  
И ты будешь грустить все лето  
и оглядываться назад.

2

Вот бабушка Циля выходит из дома,  
бредет Молдаванкой, где все ей знакомо -  
домишки,  
домушники,  
графы в отставке  
и три воробья, что уселись на лавке.  
Бредет Молдаванкою бабушка Циля,  
у ней за спиною колышутся крылья,  
ее провожают коты и собаки,  
и грозные крабы, и добрые раки.  
Клубок из фантазий, дымок из иллюзий,  
взгляд лучшей подруги - соседки Маруси,  
и слива у дома, им сто абрикосов,  
зима и весна,  
нежный август и осень.  
Добра моя бабушка Циля, как птица  
к птенцам, и умеет гореть и светиться,

петь песни на идише - все о местечке,  
где прыгают козы, бараны, овечки,  
где все петухи в заграничных костюмах,  
художник Шагал их недаром придумал.  
Бредет моя бабушка по Молдаванке  
в своей необычной, волшебной панамке  
тропинкой еврейской, где счастье и горе,  
где кроны деревьев в удивительном хоре...  
И я до сих пор за ней следую следом,  
мне жаль, что она не узнает об этом,  
но я нею я верую снова в удачу,  
чужачу и снова по бабушке плачу.

### 3

В той Польше благоденственной,  
хоть своенравной очень,  
с тобой две ночи славных  
то плачем, то хохочем.  
И мне необходимо  
с тобой по снегопаду  
бродить, читать Тувима  
последнюю балладу,  
написанную в Лодзи...

Мой дедушка из Лодзи  
имел капризных дочек,  
и у одной из дочек  
родился я - сыночек.  
Я в Польше был наездом -  
проездом из Парижа.  
Под звездной стоял бездной  
и голос деда слышал.  
Он окликал двух дочек,  
играл он с ними в жмурки.  
Не знал, что я - сыночек  
меньшой его дочурки.  
Я слышал его голос  
до самого вокзала,  
И там, где тьма кололась,  
вновь солнце проступало.

### 4

Был я в армии бит,  
бит был не понарошку,

что не так был побрит,  
не играл на гармошке.

Поучал кулаком  
меня Славик Егорский,  
чтобы стал я знаком  
с апперкотом боксерским.

И за то, что - семит,  
что так трудно со мною  
был я в армии бит  
строевым старшиною.

Чтобы в службе толков  
стал, "как мама велела",  
бит был без синяков  
и со знанием дела.

Так вот день ото дня,  
взяв меня на поруки,  
там вбивали в меня  
строевые науки.

Стал, как надо, побрит,  
заиграл на гармошке,  
но по-прежнему бит  
был я не понарошку.

Ничего не забыл,  
до сих пор я краснею.  
Никого я не бил  
и сейчас не умею.

## 5

Эстер Коплер, выжившая в гетто, была красоткой,  
она жила возле кинотеатра "Родина".  
любила сидеть на скамейке.  
мужчины восторгались ее красотой,  
но она им не верила.  
в снах ей снились родственники.  
расстрелянные и сожженные.  
С каждым убитым родственником  
она теряла капли своей крови.  
стала совсем худой, но красота осталась.

она боялась немецкой речи и не смотрела  
фильмы о войне и книг о войне не читала.  
За ней ухаживали богатые мужчины,  
умеющие делать деньги из воздуха,  
о ней вздыхали вчерашние пацаны,  
но она вышла замуж за хромого Яшку Гольцмана,  
они познакомились в гетто.  
Яшка был плотником, он окончил семь классов,  
он стыдился своего тела, но он был привязан к Эстер  
и никогда не донимал ее воспоминаниями о гетто,  
и сотворил ей настоящий трон за два года.  
Она сидела на троне и чувствовала себя королевой,  
но когда он приходил с работы, она превращалась  
в обыкновенную женщину - мужа кормила  
и говорила ему, как хорошо, что они вместе.  
Потом они пили чай и молчали.  
Яшка стыдился нежных слов и говорил,  
что скоро жизнь будет лучше, и они на курорт поедут  
в Грузию, но поездка та не состоялась.  
Он играл на воображаемой скрипке только для Эстер.  
Он до войны окончил музыкальную школу.  
Его скрипка сгорела в гетто, но он ее помнил.  
Кажется, в гетто он называл её "ЭСТЕР".

## 6

По моей Молдаванке трамваи летят,  
а красоток еврейских не счесть.  
А у тети Ривы пронзительный взгляд,  
жаль, его не могу я прочесть.  
Как со мною всегда она холодна,  
для нее я - наивный юнец.  
Ах, ее красота ослепила меня,  
и спокойной жизни конец.  
Я воскресным днем ее встретить боюсь,  
без нее часто плачу навзрыд.  
Я по всей Молдаванке за нею плетусь  
и в груди моей пламя обид.  
Никому ничего о ней не говорю,  
только медлит, как прежде, рассвет.  
Жаль, что ей никогда не скажу я "люблю".  
Мне всего одиннадцать лет.  
Формул нет у капризной первой любви,  
вновь и вновь попадаю впросак.  
Все платаны на Пушкинской и фонари

отразились в ее глазах.  
Красота ее - как смертельный ожог,  
как смешок прямой - без затей.  
И пишу я о ней самый первый стишок  
тридцать восемь ночей и дней.

## 7

В моей судьбе обычный бедлам  
и кажется - выхода нет,  
но я несчастий своих не отдам  
тебе, мой друг и сосед.  
В еврейской судьбе моей множество дыр,  
недели творят тарарам.  
Но я ощущаю себя молодым,  
особенно по утрам.  
На ветках деревьев птицы поют,  
а звезды уходят в тишь.  
И можно любой вспоминать маршрут:  
минута и ты паришь.  
С Шагалом по небу летаешь ты,  
на идише песни поешь,  
и все затеи свои и мечты  
ты ангелам раздаешь.

## 8

Моя бабушка Циля готовит чай,  
добавляя айву на вкус.  
А за окнами май и ушла печаль,  
а за ней растаяла грусть.  
И цветет сирень. И стоит ясный день,  
солнце в небе глаза слепит.  
А у бабушки Циля так много дел,  
она вечно куда-то спешит.  
А на кухне сейчас настоящий бедлам -  
там готовится вкусный обед  
Ах, за эту тюльку я жизнь отдам,  
ее лучше на свете нет.  
Ах, какой у бабушки красный борщ,  
он на клоуна нос похож.  
Этот борщ, разумеется, всем хорош,  
а за окнами дождь-и-дождь.  
И по стеклам капли, будто смешки,  
и по клавишам жизнь течет...  
Как обычно, бабушка ищет очки

и мурлычет песенку кот.

9

Изя любит Цилю  
с раннего своего детства  
и порою он шепчет  
тысячи нежных слов.  
Он стремится к Циле,  
ему хочется ласкать Цилю,  
но она по звездному полю  
бродит и в эту ночь.  
И у тьмы безысходной  
просит отважный Изя?  
- Верните мне мою Цилю,  
я жить без нее не могу.  
И впервые Циля приходит,  
ослепляя его улыбкой,  
обещая ему блаженство,  
на минуту приходит она.  
Приходит на мгновенье,  
короткое, как выстрел,  
а потом дух Молдаванки  
забирает ее у него.

### Памяти Р. И. ОЙГЕНЗИХТ

Я приходил к ней веселым и переполненным страхами,  
утверждая, что жизнь моя смутно текла.  
нет таких людей больше, как Раиса Исааковна,  
худенькая женщина, состоящая из тепла.

Она мне в эпоху хмурую давала Набокова,  
Бердяева, Ходасевича: - Не показывай никому.  
По ее лицу растекались седые локоны,  
но глаза ее вечно сияли, пронзая зловещую тьму.

Какие чаи она делала, что из теста творила,  
при этом на фортепьяно легко колдовала она,  
что у птиц есть свобода, а у нас обрезаны крылья,  
но мы все равно вернем их, едва наступит весна.

Она восхищалась не гвоздиками, а маками,  
растущими для полянах и так, и сяк.  
Нет таких людей больше, как Раиса Исааковна,  
разгоняющая улыбкой тоску и мрак.

## Жизнь как выдох и вдох

Как поздно! Боже мой, как поздно!  
Но ночь ясна. Но небо звёздно.  
И вот – гляжу из-под руки  
на эти звёзды. Высоки!  
Я обойдусь без телескопа.  
Мне б разглядеть хоть мир земной.  
Но времени и шум, и злоба –  
сейчас не властны надо мной.  
Что стоят на исходе ночи  
все наши пламенные речи,  
что вспышки магния короче?  
А вечность – всё же смотрит в очи,  
хотя и далеко-далече...

\*\*\*

Дело рифмуется с телом.  
Рифмуется с чем – душа?  
Из смертного рвётся удела,  
уйдёт, не взяв и гроша.  
Где она обитает?  
Во снах ли твоих летает?  
Ветер её ободряет,  
утренняя заря...  
Что-то она одобряет,  
об этом не говоря.  
Хоть равнодушны лица,  
злоба на них и спесь,  
верю: душа – таится,  
но пребывает здесь.

\*\*\*

Опять перо и бумага?  
Какая нужна отвага  
вершить осмысленный труд,  
нечаянно, бед не чая,  
правду за чашкой чая  
сказать, когда всюду врут.  
Естественна правда эта  
как жизнь, как выдох и вдох.

Быть может, дело поэта –  
расслышать, что шепчет Бог.  
Он говорит тихо!  
Весь превратись в слух,  
пока не (в том то и лихо!) –  
оглох. Пока – не потух.  
Сказано – вот и следуй,  
чтоб не утратить путь!  
Что потом будет, – не ведай.  
Что потерял – забудь.

\*\*\*

И у вещей есть лица. И у книг.  
В толпе лицо мелькнуло и пропало.  
В ином из них я прозреваю Лик,  
дух, что прозрачен в глубине кристалла.  
Лицо. В нём собран свет. Оно не лжёт.  
Рождается оно и умирает.  
И тайна в нём какая-то живёт.  
Но страшно: человек Лицо теряет!  
...Храня Лицо, быть Личностью. В конце,  
перед безликой бездной ледяною –  
о материнском вспомню я Лице,  
склонившемся впервые надо мною.

\*\*\*

Ночью – мыслью не дневной  
одержим: судьба, эпоха.  
...Кто там ходит надо мной?  
Может быть, кому-то плохо?  
Но не мне – ему помочь,  
понимая, утешая.  
Страшно тихо. Всюду ночь.  
И темна судьба чужая.

\*\*\*

Что реально? Сгустившийся пар,  
вещество, что дано нам в дар,  
принимая разные формы,  
или то, что видим за ним,  
этот свет, что необъясним,  
в объяснениях – мелем вздор мы?  
Эта вечная глубина –  
можем видеть её из окна,

заглядеться можем, как дети.  
Ну, а взрослым уже недосуг.  
Что незримое – рвётся из рук,  
словно вспомнив о небе и свете?  
Месим глину, лепим судьбу,  
тащим жизнь свою на горбу,  
вот и вещи берут нас в клещи.  
Но свобода снится рабу.  
Вдохновенно дудит в трубу  
музыкант или ангел вещей...

\*\*\*

Время – утратило суть,  
время скользит как ртуть.  
Не современником будь!  
Не с современником – будь!  
Градусник, видно, разбит.  
Как же поможет врач?  
Жив ты или убит?  
Холоден или горяч?  
Горькую каплю смакуй,  
чуя смертную дрожь.  
Молча горюй, ликуй, -  
мир всё равно хорош!

\*\*\*

В мире, что пахнет бензином,  
взгляд обжигает. Чей?  
Словно пером гусиным –  
это двустигище очей.  
Новых времён победы –  
всё же не до конца.  
Старость помнит обеты.  
Старость - знает ответы.  
Старость – тайна Лица.  
Вот и избыта тяжесть.  
Горести все – не в счёт.  
День – невесомо ляжет.  
Ночь в тишине уйдёт.  
Тело – сосуд скудельный,  
ветхое полотно.  
Ну а душа – отдельно  
зреет, словно вино.  
Ну а душа – крепчает

и отрясает быт.  
Ну а душа – легчает.  
Ну а душа – не спит.  
Созданная для полёта,  
и, высотой дыша,  
видимо, знает что-то,  
только молчит душа.  
О, хотя б на закате –  
жизнь высока, легка.  
Словно строка в тетради.  
Пушкинская строка.

### **Библейские вариации**

*(из книги «Молчание Иова»)*

1

К Иову голос – словно гром органа,  
кроме него, не слышный никому,  
– в ту влажную трепещущую тьму,  
в ту глубину, где лоно или рана,  
в ту почву, что еще горчит от слёз,  
в ту тишину, в ту сердцевину боли,  
в тот вопль немой: «О, Господи, доколе!»  
– слова, как семена. Чтоб смысл пророс.  
Растенье, раздирающее чрево...  
О, то, чего не вместит естество:  
слова любви, величия и гнева,  
не объясняющие ничего.

– Иов, ты только капля дождевая,  
что ничего не знает о дожде.  
Ты плоть, в руке моей ещё живая.  
Ком глины – что ты знаешь о звезде?  
Песчинка – что ты знаешь о пустыне?  
Ты – мотылёк, одним живущий днём!  
Ты – горстка праха в космосе моём!  
Но слышишь? – я тебе ответил ныне.

– Вселенная, Господь, так хороша!  
Но быть людьми – так дорого нам стоит...  
Вовеки не утешится душа!  
Ничто её уже не успокоит.  
Я – древо без листвы. Я – крик беды.  
Своих птенцов утратившая птица.

Как непосильна тяжесть правоты  
божественной! Но я готов смириться —  
ответил Ты! Я не испепелён  
и не раздавлен, В этой буре, громе  
есть я и Ты. И никого нет кроме  
нас – вне земных пространств и вне времён.  
Да, до последней я дошёл черты.  
и ныне – слышу Господа Живого!  
Мучительно растёт Господне Слово  
во мне. Чтоб говорил не я – а Ты.

## 2

Нет, не скажу тебе вослед:  
всё – суета сует.  
Ведь даже нашей жизни бред  
– лишь тьма, в которой свет.  
Но я с тобой, Экклезиаст,  
твоя печаль – моя.  
Ведь все мы – кто во что горазд,  
о смысле бытия  
задумываемся. Что спор?  
Вот мысль – твоей в ответ.  
...Звучит в веках неслышный хор.  
Горит незримый свет.

Незыблем нашей жизни круг,  
и всё, чем дорожим,  
уйдёт? Печально это, друг.  
Вокруг чего – кружим?  
Где эта световая ось,  
луч истины прямой?  
Всё – суета? Ты это брось.  
Жар лета, снег зимой,  
подруги влажный поцелуй,  
ребёнка светлый смех  
– всё суета? Всё – ветродуй?  
И прах – вот плод утех?  
Всё – ветра дуновенье, всё,  
что жизнь нам щедро даст?  
Зачем кружится колесо? —  
скажи, Экклезиаст!

Неужто так – любовь и труд,  
всей нашей жизни быль

– года пожрут, века сотрут,  
всё превратится в пыль?  
Всё – жаркий ветер унесёт?  
Нет, не вступаю в спор,  
а просто открываю рот,  
входя в незримый хор.  
Переплелись в нём «да» и «нет»...  
О, мощный звуков пласт!  
И освещает тайный свет  
тебя, Экклезиаст.

## Паломничество

Как скажут, у трапа построимся,  
на землю сойдем осторожно –  
я был на могиле Камозенса,  
поверить во что невозможно.

Потом, не пугаясь отчаяться,  
стоял на краю Лиссабона –  
земля здесь и правда кончается  
и небо как будто бездонно.

## Ответка

Получил я эсэмэску:  
"Что случилось с Чаушеску,  
чем народа верный сын  
разозлить сумел румын,  
жертвой став масонских мафий?"  
я ответил: "А Каддафи  
или Николай Второй?  
Все случается порой  
и, бывает, нет спасений  
от кровавых воскресений,  
даже, может быть, всегда,  
что в итоге не беда,  
если не наоборот –  
но зачем стрелять в народ?".

\*\*\*

От одних остался остов,  
от других остались мощи,  
разобраться с чем непросто,  
нам бы что-нибудь попроще –

покорять моря и реки,  
от всех бед найти лекарства  
и религию навеки  
отделить от государства.

\*\*\*

Юнкера бомбили город Грозный,  
шухер намечался грандиозный,  
размножались страхи, как клопы,  
я был человеком из толпы,

и душа моя, спасая тело,  
будто бы взяла и отлетела  
только в ей известные края,  
чтоб остался здесь уже не я

и о том, что жить мне стало легче,  
ей однажды рассказал при встрече.

### **Дурная весть**

И впрямь, представьте, по весне,  
возможно, подуствав от нош,  
я видел дьявола во сне  
и понял: хрен его распнешь.

Воистину – дурная весть,  
как минимум, на триллион –  
теперь я знаю, что он есть,  
хотя чему я удивлен?

\*\*\*

Наступает кризис пофигизма,  
как всегда в опасности отчизна,  
и во что давно никто не верит,  
высыхает вплоть до дна Кинерет.

Где-то вдалеке на Мертвом море  
дева не поет в церковном хоре,  
и в стране скорей шелков, чем ситцев,  
мне, признаться, не до палестинцев.

### **Одесский вопрос**

Я весь был из предубеждений,  
читатель ждет здесь рифмы "гений",  
она действительно пришла,

как все придет, порой, некстати,  
чего от жизни ждет читатель,  
не исключая и бабла,  
другой вопрос, а сколько песо –  
прощай, немытая Одесса,  
страна скорей добра, чем зла,  
где по еврейские хоромы,  
кто только ни мутил погромы,  
спасая души и тела  
свои – что было, то пропало:  
здесь нет еврейского квартала,  
но есть до самых судных дней  
могила матери моей...

Спроси, как по дороге к славе  
я взял и там её оставил.

## Мы увезли свою Одессу

Мы увезли свою Одессу,  
насколько можно увезти,  
насколько нашему экспрессу  
ее в пути не растрясти.

Мы часто спорим по-одесски,  
чтоб сохранить родную речь.  
У нас все те же занавески -  
их тоже удалось сберечь.

Но в эти дни, когда клубится  
весна из-под колес авто,  
уж очень хочется влюбиться,  
а место вроде бы не то.

\*\*\*

Пилюлями крутыми-иностранными,  
лечение проходит на ура! –  
почти что распрощался с тараканами  
(гарантия на года полтора).

А что до ощущения телесности –  
ну, типа визави – так вот оно:  
лет сорок по пересеченной местности,  
и позови. Я выгляну в окно.

Неторопливо, с некоей беспечностью –  
среди своих, а не в тылу врага,  
живу у моря, развлекаюсь вечностью,  
а их, как оказалось, до фига.

\*\*\*

Протягиваю длань, как встарь  
какой-нибудь святой  
из неизвестной стороны  
явившийся на день,

и говорю: убогий, встань  
и проходи – не стой,

побрейся и надень штаны,  
и тапочки надень.

Пойду в нормальный гастроном,  
а то ларьки, ларьки...  
В минувшее дороги нет –  
хоть из дому уйду...

Маниакальный астроном  
считает огоньки,  
поэму полиглот-поэт  
слагает на урду...

### **Патриотическое**

И море, и погода,  
и девки хороши...  
И всё для пешехода,  
и много для души.

Кафе и рестораны  
вдоль берега у нас,  
что лечит ретро раны  
и радостно для глаз.

Всё яркое такое,  
как твой фотоальбом –  
фиалки и левкои,  
а в море голубом

белеет парусина...  
И все с тобой на «ты» –  
застенчивая псина  
и прочие коты...

Вокруг автостоянки  
кальяны – молодежь...  
Подкатится по пьянке  
вполне умытый бомж,

расскажет безуспешно  
про тягостный недуг,  
обидится, конечно,  
что я ему не друг,

получит сигарету,  
помянет сатану...  
Я обожаю эту  
Великую Страну.

\*\*\*

Всё реже бывает двадцать,  
всё чаще бывает сто...  
Чего бы ещё забалачить –  
в реальном когда и что?  
Не то чтоб порыв-надсада,  
не так чтобы бес в ребро...  
Но делать же что-то надо,  
к примеру – творить добро.  
И в качестве неженатом  
(раз дети не просят есть)  
заделаюсь меценатом  
в пределах того, что есть,  
и, будучи в фазе доброй,  
в пивбаре на берегу  
смогу поделиться воблой,  
которую берегу...

### Стихи

О чём? А вовсе ни о чём,  
в чём обвиняли зачастую –  
что Мир сочтётся кумачом,  
а этот треплется впустую...

Глаголы вжечь, предлоги вбить  
народу надо прямо в темя,  
а тут сплошные мелкотемья,  
чего никак не может быть –

ему открытий не хватает,  
он за мошонку не хватается...  
За мой – в 80-х – «нах»  
чуть не закрыли альманах.

Я жил тогда в Одессе, впрочем,  
был не поэтом, а рабочим,  
хотя с дипломом ОИСИ –  
строитель – Господи спаси!

И спас! Кого-то кирпичом,  
а я был вовсе ни при чём.  
Ещё служил, согласно долгу,  
но не убил, и слава богу...

\*\*\*

Похлопал по карманам – что ж,  
похоже, больше нету,  
но подошел какой-то бомж  
и сунул сигарету.

На набережной, на скамье,  
в тени неторопливо  
мы говорили о семье  
и о цене на пиво,

об уравнении Ферма,  
о том, что мир сошел с ума,  
что йети так и не нашли,  
о женщинах – что мимо шли,

et cetera, et cetera,  
и о литературе –  
о том, что бля-профессора  
не рубят в ней, в натуре.

Но было разговора вне  
всё о политике, войне  
и колоноскопии.

Хотя – крушитель всех основ –  
он парочку недобрых слов  
сказал о Папе Пие.

\*\*\*

Часть вселенского шантажа...  
Тут какой-нибудь полудурок  
просто выбросил в ночь окурочек  
где-то – с верхнего этажа.

А возможно, была звезда –  
та, что выпала из гнезда  
и скользнула по чёрной глади

только чайний наших ради.

Почему же за всё плачу,  
если без моего участия?  
Заказал машинально – счастья!  
И почувствовал – не хочу.

\*\*\*

Если снова первая страница,  
чтоб родиться, жить и устраниваться,  
нужен остров – что-то по Дефо,  
а в провинции не комильфо.

Нам обоим стало маловато  
то, что мы друг другу предлагали –  
небогато и далековато –

даже звезды нам не помогали.  
Помню, жизненная полоса –  
как-то тусовался с женским хором,  
тоже часто предавался спорам –  
ангельские были голоса...

И постскрипtum – с некоторым скрипом,  
в бесконечном споре с манускриптом,  
все же доминантна тишина,  
и она везде разрешена.

### **Променад**

Тётки с дядьками тут,  
бабки с дедками,  
и, конечно, идут  
мамки с детками.

Бесконечно идут  
парни, девки,  
потому что капут  
пятидневке.

У меня же совсем  
нет приятелей –  
независим от смен,  
надзирателей,

толкователей,  
работодателей,  
воспитателей,  
доброжелателей...

Пятидневке капут  
этой каторжной,  
вот они и идут,  
тут по набережной.

\*\*\*

Я живу на таблетках, по улице к морю,  
лучше многих и хуже иных,  
да и тех уже нет, ну а тех, кто далече – минорю...  
Вече не собирается из остальных.

И не то, чтобы могут заехать по роже –  
но они не учили матчасть.  
Я гуляю по комплексу – нет, не дурдом, но похоже.  
Про политику лучше молчать.

Не молчу, но слагается мысль без полёта –  
то есть не безупречна она...  
Как Мюнхаузен сам выдираю себя из болота,  
а костюмчику все же хана.

Ничего не приходит на ум и по полдню –  
утром, вечером биоэнергия вниз...

Адмирала Нахимова, Costa Concordia помню –  
почему неохота в круиз?

## Карусель

Сновиденья портретов скупы:  
черепки разрывной скорлупы,  
лепестки, лоскутки и осколки,  
небылицы и кривотолки.

Далеко за великой горой,  
не земле дармовой, кормовой,  
на несметной равнине когда-то  
брат войной моровой шел на брата.

Кабы знать, что семейный разлад  
днесь и целую вечность назад  
обернется такой каруселью,  
что не станет предела веселью.

А потом, в кучевых городах  
голытьба с головой не в ладах,  
добралась втихомолку до знати,  
то-то кровь пролилась в каземате.

## Звезда

От резни не осталось следов,  
от сожженных дотла городов,  
и толпе, что до срока молчала,  
на просторах земли одичалой,

не светило подняться с колен.  
Обернулся беспамятством плен:  
за одно осевое мгновенье  
подросло каторжан поколенья.

Каторжане - особый народ,  
конвоирами взят в оборот -  
не судьба, но похожего типа  
немота до последнего всхлипа.

И огонь пятиглавый мигал,  
посылая безмолвный сигнал,

словно тоже был пойман на слове  
паразит, насосавшийся крови.

Не грядущих свершений звезда,  
а эмблема нужды, и труда  
за гроши, и финальной расплаты -  
беспредела лихие этапы.

### **Котлован**

Но недолго дремала земля  
в основаньи травы и зверья,  
и однажды она, как ребенок,  
до глубин содрогнулась спросонок,  
до самих рудоносных глубин.  
Там где реял рубиновый дым,  
каторжан ожидала награда:  
- Эй, кудрявая, что ж ты не рада  
развеселому пенью гудка?  
Эта стройка, поверь, на века,  
этот плуг, этот кнут, этот молот,  
этот глум, этот блуд, этот голод.

Коммунизм на авось, на глазок,  
как свободы грядущей мазок,  
а пока ни страны, ни погоста:  
лишь толкание тачки по доскам,  
да большой, с пол-земли, котлован  
(как "авоську", не сунешь в карман),  
чтобы символ труда дармового  
загорелся над миром, как слово.

### **Машинист паровоза**

Меж земных параллелей,  
не уйти от судьбы:  
паровозное время  
короталось людьми.

Короталось, катилось,  
устремлялось вперед,  
не сдаваясь на милость,  
брало в оборот.

Машинист паровоза  
налегал на рули,  
и не слишком тверёзо  
напевал: ай-лю-ли,

и глядел оробело  
в зауральский провал,  
где тайга голубела,  
и гнус свинговал,

где пурга носорогом -  
осаждала острог.  
Не расскажет о многом  
её монолог:

как вертел головою  
плотоядный ГУЛАГ,  
бесполезную волю  
собирая в кулак,

и как зеки, казалось,  
проклинали судьбу,  
ведь прогорклая ярость  
вылетала в трубу.

Машинист понемногу  
всё лакал самогон,  
и смотрел на дорогу  
безнадеге вдогон.

Он возил заключенных  
за Урал и окрест,  
до не столь отдалённых,  
но злопамятных мест.

### **Свадьба**

Между тем под сурдинку  
человек вспоминал  
как свою Катеринку  
за Петра выдавал.  
Эту свадьбу-женитьбу  
позабыть не судьба,

не убрать деловито,  
как ладони со лба.

Начиналось всё чинно,  
и любовь, как в кино!  
Вот, такая причина,  
что горчило вино.

Что за прелесть и слава, -  
воскликнул тамада,  
мол, невеста - красава  
и жених хоть куда.

Но гармонь рассыпала,  
свой гортанный мотив,  
распаляя помалу  
словно аперитив.

Самопальное зелье  
здесь лилось как вода,  
без него - не веселье,  
без него - никуда.

От заморской закуски  
не ломились столы,  
что б ни пели по-русски  
свистуны-хвастуны.

Огурцы и картоха,  
и капусты ушат!  
Вот такая эпоха -  
пусть потомки грешат.

Ни коньяк, ни салями,  
ни белужью икру  
не видали селяне,  
во хмелю, на пиру.

Добряки по натуре,  
но душа так темна!..  
Накидались до дури  
и пошла кутерьма.

Свадьба - повод и случай  
закусить удила -  
то ли бесаме мучо,  
то ли куча мала.

## **Максим**

Что ж, сценарий известен,  
он судьбу стережёт.  
И, похоже, невестин,  
стародавний дружок,

из соседней деревни  
в тайном сговоре с ним.  
Стародавний - не древний,  
чернобровый Максим

сгинул по малолетке  
год назад или два.  
Угодила монетка,  
не туда, в никуда.

Он курил в переулке.  
задувал ветерок,  
а какие-то урки  
грабанули ларёк,

грабанули по пьяни,  
прободав кирпичом,  
приласкав кулаками,  
а Максим ни при чём.

И хоть жил без обмана,  
прозябал на мели,  
но случилась облава,  
и его замели.

Мусора-изуверы,  
не дойдя до кулис,  
извлекли револьверы  
и сказали: молись!

## Колхида

Грабежом и дебошем  
не дожить до седин,  
и в Сибирь был заброшен,  
чернобровый Максим.

Не привык он молиться,  
ни Звезде, ни Кресту,  
но пришлось поклониться  
золотому песку.

Где конкретно, не скажем,  
где-то за Колымой,  
за решётку посажен  
или взят под конвой.

И свободы отравы  
потекла по усам,  
чтобы крепла держава,  
не по дням, по часам.

Не о том мы мечтаем,  
разомлев с утраца,  
как заняться купаньем  
золотого тельца.

В заполярной Колхиде  
огрубел херувим.  
Там он счастья не видел,  
только грёб и рубил.

Но кому интересно,  
сколько лиха хлебнул?  
Это - старая песня  
про таёжный разгул.

Образ отчего дома  
исчезал вдалеке.  
Оседало весомо  
золотишко в лотке.

Словно пьяная льдина,  
дрейфовал материк,

но тоска несладима  
на земле горемык.

## **Нить**

Миражи той эпохи,  
словно воздух, ничьи,  
чьей-то правды сполохи,  
чьи-то сны и мечты,

чья-то вера - опорой  
иль безверье... не суть,  
чья-то боль, от которой  
по ночам не заснуть.

Это старые скрепы  
разрушает песок,  
неизбежный, свирепый,  
словно страх между строк.

Это слабые плечи  
обжигает вожжа.  
Если живы предтечи,  
значит, память свежа.

Но следы остывают,  
словно брменная плоть,  
и душа отлетает,  
словно соли щепоть,

и плывет по-над шторой  
то ли дым, то ли нить,  
нить, обрывки которой  
ни связать, ни вселить.

## В последний день зимы...

*«I все заснуло, і не знаю,  
Чи я живу, чи доживаю,  
Чи так по світу волочусь,  
Бо вже не плачу й не сміюсь...»  
Т. Г. Шевченко*

В последний день зимы  
так много серой краски.  
Мы - пленники войны  
по дьявольской указке.  
Я вырос из неё  
безжалостной, опасной.  
Кружится вороньё  
над памятью ужасной.  
Вновь я в неё попал,  
в пересечение линий,  
как будто в ров упал  
глубокий и суглинный.  
Бессонно... не сомкнуть  
измученные веки.  
Пульсируют виски,  
не спится дровосекам.  
Опять, опять венки  
тем, кто ушёл на веки...  
Удушливы комки...  
Уймьтесь, дровосеки.  
Пришла беда в мой дом  
и тёплой солью крови  
окрашена земля...  
В невыносимой боли.  
читаются псалмы,  
возносятся молитвы...  
но, прямо в грудь стволы,  
штыки острее бритвы.  
Коли скажіть, брати,  
ми навчимосялюбові?  
Збудуємо мости  
над морем сліз і крові.  
Что скажет сыну мать?

Что скажет мама дочке?  
Шмыгнули под кровать  
от прилетевшей "Точки".  
Спаси и сохрани!  
О, милосердный Боже,  
Спаси и вразуми...  
народ мой обескожен.  
Спаси мою страну,  
семью мою и деток,  
грядущую весну  
в розовоцветье веток.  
Оставшимся во ржи  
воздай, всесильный Отче.  
Алеют рубежи  
шестой военной ночи...

\*\*\*

Бог выбирает самых лучших,  
Судьбы вращая календарь.  
Луны серебряный фонарь  
Им самый искренний попутчик.

А, мы - свидетели потерь.  
Принять не можем их уходы,  
Двузначно считываем годы,  
Моля о них Сиона дочь.

Приняв родных нам и друзей,  
Сансарой станет бесконечность.  
И добродетельная вечность  
Окажется всего мудрей.

Вас поглощает звездный мир,  
В нем тишина ласкает душу,  
В нем ход часов покой не рушит  
И путь – мерцающий пунктир.

Для вас не будет декабрей,  
Дождей апрельских скоротечных.  
О, странники тропинок млечных  
В стенах седых монастырей.

\*\*\*

Когда погаснет день,  
и спичкой догорающий закат  
уступит место месяцу и звёздам,  
выходят на охоту фонари  
и вырывают из мглы ночной  
обрывки блёклой памяти,  
бросая нас в объятия бессонниц;  
неволью руки тянутся к перу  
и на холстах отбеленных бумаг  
рождаются слова,  
впитавшие в себя и соки чувств,  
и соли откровений.  
И нет других ко Господу ступеней  
кроме молитв и чаяний души.  
И в этой кротко замершей тиши,  
где сердца метроном,  
где скрип пера негромкий,  
где ход часов расслабленно ползёт  
по самой кромке  
Вселенной...  
попущены и мне - страданья и любовь,  
и некие келейные мгновенья,  
когда угасший день  
оставит след в душе,  
мечты и вдохновенье...

### **Отпюют соловьи...**

*«...и Бог воззовет прошедшее».  
из книги Екклесиаста*

Отпюют соловьи над играющей золотом нивой,  
Отцветут все цветы, что тебе не успел подарить.  
Отзвенят все ручьи, и Пегас с длинношерстной гривой  
Полетит в облака, заставляя писать и творить.

И прольются дожди своей песней лениво-плаксивой,  
И года нас отметят, показав беспощадную прыть.  
И слова у виска запульсируют строчкой ретивой,  
Чтобы правдой сермяжной взрастить, а быть может убить.

Все, что было до нас, возвратится в обличии новом,  
Все, что было до нас, быть ему, обязательно быть!

На тернистом пути, иногда беспощадно суровом,  
Нам придется в любви из ладоней Господних испытть.

### **За полчаса до весны...**

Позади фуэте вьюги,  
аплодирующий январь.  
У дверной боковой фрамуги  
обронил зимний лист календарь.  
Лист прохладный, последний, февральский:  
днём плюс семь, в ночь – до плюс одного.  
До весеннего белого вальса  
уж недолго, всего ничего...  
Ничего, что за серою влагой  
не пробьются ни солнце, ни свет.  
Ведь над шумной крылатой ватагой  
простирается марта рассвет.  
Ох, скупые февральские слёзы!  
Невозврат, невозврат, невозврат.  
Март грядущий, грядущие грёзы  
повторятся, как сто лет назад.  
Юный капельник<sup>1</sup> робкой капелью  
рассечёт на ручьи тишину:  
над младенцем, его колыбелью,  
над любимой, которой дышу.  
И закружатся ветви мимозы  
золотым многоточием дней,  
став строкою стиха или прозы,  
в лоне звездных бессонных ночей.  
По проталинам ласковых вёсен  
возвращусь я в родные края,  
где на сельских путях перекрёстных  
загорается алло заря.  
Где в саду, подле глиняной хаты,  
первоцветом очнулась земля,  
где, гремя звонкой цепью, косматый  
мать встречает, визжа и скуля...  
Делят ходики рань посекундно.  
Прорывается в окна фонарь.

---

<sup>1</sup> Капельник – одно из названий месяца март.

Трактор тащит надрывно и нудно  
для посева весеннего ярь<sup>1</sup>.  
Огород почернел без заструги<sup>2</sup>.  
На востоке рассыпан янтарь.  
Гонит стаю ворон черногрудых  
тепловоза солярная гарь.  
Воздух к скулам прижался упругий.  
Сеет звон над округой звонарь.  
Позади фуэте вьюги,  
аплодирующий январь.

\*\*\*

Выбивает морзянку дятел,  
февраля ускоряя секунды.  
И встречает весну el mundo<sup>3</sup>,  
ну, а я - поутру в кровати.

Как весной набухают реки,  
так мои взбеленились сосуды.  
И шумят воробьиные треки  
и трещащих сорок пересуды.

И всё чаще янтарные краски  
рассекают томящую серость.  
Да подснежников белые глазки  
проявляют упорство и смелость.

Всё меняется, всё в ожиданье...  
Выделяются влажные крыши...  
Сердце памятью первых свиданий  
словно видит, как будто бы слышит,  
расщепляясь на атомы, дышит...

\*\*\*

Токката пасмурного утра.  
Стекло. Ручей.

---

<sup>1</sup> Ярь – яровое зерно пшеницы или ржи для весеннего посева.

<sup>2</sup> Заструга – наметённый ветром длинный и узкий снежный вал.

<sup>3</sup> испанск. – мир

Упали в лужи перламутры  
туманных дней.  
Осенняя архитектура,  
капель, капель...  
Прошедшего макулатура,  
ведь был апрель...  
Непривыканье к новизне -  
зигзаг изломов.  
И состояние "во сне",  
как боль надлома.  
Куда ты катишься, мой век,  
сквозь буреломы?  
Ведь каждому дан свой забег  
и ипподромы.  
Я к ленте финишной своей  
спешить не жажду.  
Успею к стае журавлей  
примкнуть однажды.  
И будет вспомнить мне о чём  
среди райских кущей.  
Крылом цепляя окоём  
Любви Всесущей.

## Седые головы котят

Развесив свежие портянки  
Над исстрадавшейся душой,  
Некрасов сыплет соль на ранки,  
и православным хорошо.

Пройдем за живопись полей  
И одуванчиков раскаты.  
И ты увидишь лебедей,  
давно зачисленных в солдаты.

Поверим снасти кораблей,  
Окинув грот затекшим оком.  
Тугое вымя площадей  
Питает ночь лимонным соком.

Двоякодышащий паук  
Зари отрыгивает просинь.  
Скотоподобен акведук,  
Ныряющий в сырую осень.

Мы на скаку во власти конской,  
Пройдя к бессмертию уже,  
Питая чушь земли японской  
Коровокозьим неглиже.

Мои педали пахнут лаком.  
Мне лака дух и выдох лаком,-  
Сказал в сердцах велосипед,  
Роняя шайбы на паркет.

Я восхищен, как воз хищений,  
и пусть товарищи галдят,  
полны зарниц и откровений  
седые головы котят.

Я насосусь полночной пыли  
в зеленом шарканье подъездов,  
под прелью липовых акаций  
уйду в отъявленный асбест.  
Не попрошу связного петю  
О быстрой смене декораций.

Я попрошу радистку лилю  
Вспорхнуть немедля на насест.

Гумно египетского дня,  
Куда опаздывает мышь.  
Солому за соломой гня,  
Туда ногой спешили мы ж.

Не отворачивая плеч,  
Навозный дух переведея,  
Мечтая по работе лечь,  
Ища защиты у дождя.

Ища камчатки между глаз  
и перепутавшихся рук  
у темнорозовых подруг,  
перевернувших ватерпас.

Вот бледнобелый рот зубов,  
вот сотрясение основ  
неокончательных дубов  
по вольной прихоти орлов.

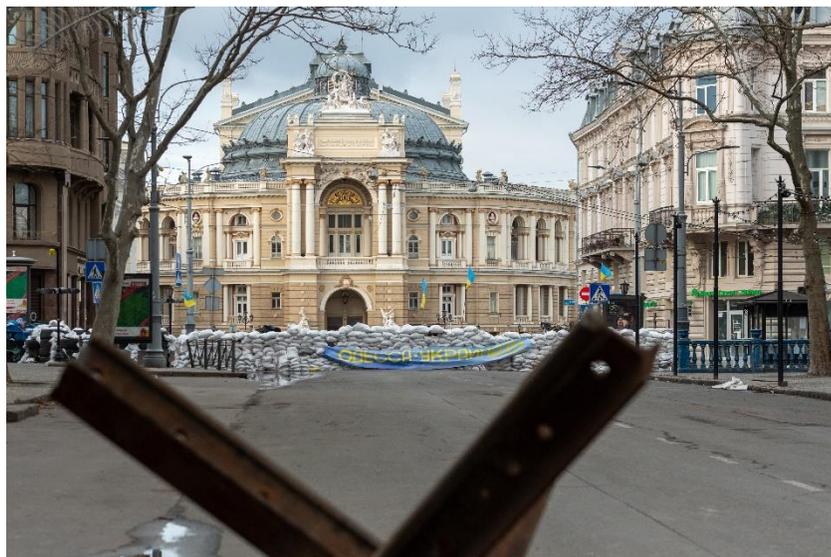
Плывя в порочный водоем,  
уйдя в заоблачный ликбез,  
сперва один на ум берем.  
Другие два считаем без.

Где солнце спряталось в зенит,  
став неба жадного полоска,  
захотал архимандрит:  
«У недоросль переростка!»

Его обрызгал антрекот,  
Чья златокудрая бородка  
Росла то по ветру то вброд,  
Черным-черна, как сковородка.

Его обидела судьба,  
Чья родословная куницы,  
Переползая короба,  
Росла пучком из рукавицы.  
Я им заржал. Как нефтебас,  
Ударив пламя по цигейке.  
И в этот благодатный час  
Пошли по улицам еврейки.

## НОН-ФИКШН



«Дерибасовская, угол Ришельевской»

**Анна Михалевская**

### Третья сила

Четыре часа утра. Но кажется, что ночи. Сидим в коридоре. Слушаем вой сирены и свое сердце. Сирена работает уверенно, сердце с перебойми. За стеной выясняют отношения соседи, перебивая тревогу. Они и до войны ругались - есть в этом мире некоторое постоянство. А что если те просто обсуждают, кто на каком стуле будет сидеть? И все эти шекспировские страсти нам мерещатся. Хорошо бы так ошибиться с войной. Но она реальна.

Сирена выдергивает из сна в действительность, не оставляя выбора.

Невидящими со сна глазами листаю ленту новостей. Бомбят, взрывают, ракеты, истребители, ранены, убиты, дети, женщины. Победа нам, смерть врагам. Волонтеры,

спасатели, армия. Сделали невозможное. Проклятья и угрозы. И снова - бомбят, взрывают... Бойкий голос в голове сыплет доводами и с пеной у воображаемого рта доказывает свою правоту. Тихий несогласно молчит.

Под стулом, на котором сейчас сижу, - подвал, там прятались мама и бабушка во время Второй мировой. Временная петля разбегом в восемьдесят один год затягивается вокруг горла и мешает вникать в новости. Впрочем, что нового там увижу? Достаточно вспомнить рассказы бабушки. Выходит, мы ничему не научились.

За стенкой утихают крики, соседи устали и объявили перемирие.

Светлеет, по коридору ползет молочный рассвет. Коты громко заявляют свое право на март. Они не пользуются интернетом и лишены экзистенциальных метаний.

Мысли возвращаются к бабушке. Она учила не давать дуракам сдачи. Из любви к ней, не к дуракам, я приняла это правило на веру. Двор на Молдаванке – те еще детские игры. Камень – привет от уличных мальчишек – мог прилететь на любом повороте. Я терпела подначки и делала вид, что не замечаю. Терпела, пока не погнались за моей собакой. На сей раз ответила – камень угодил неожиданно метко. Больше со мной не задирались.

Вплетаю воспоминания в разных вариациях в свои тексты. Пытаюсь осознать или хотя бы переиначить. Мне не понравилось терпеть, но и бросать камни - тоже. Знаю точно – должен быть третий вариант, третье приложение силы. Сколько раз казалось: нашла ответ, но со временем он неизменно дробился на прежние два.

В городе спокойно. Военные нас хранят, чего бы это им ни стоило. Разрушает лишь ожидание беды и безвозвратные потери в городах, которые никогда не будут прежними. Утром демон войны втягивает когти и закрывает налитые красным глаза. И нам кажется, что его нет.

Только закончился комендантский час, мама натягивает сапоги, хватается за хозяйственную сумку.

- Пойду к бабке на угол! – заявляет она с вызовом.

По понедельникам у мамы ритуал - купить у “бабки” крестьянский творог и курицу, продукты привозят из ближайших деревень.

Блокпосты. Комендантский час. Ночью - нет-нет и слышны взрывы, а то и выстрелы. Творог, курица и путешествие в Одессу – это не то, о чем думают сейчас крестьяне. Но мама не хочет смириться – она родилась в войну, и считает, что

на ее жизнь одной достаточно. Я наспех одеваюсь, и вместе идем на угол. Конечно же, “бабки” нет.

- Значит, куплю на Привозе, - мама не согласна с поражением. - И, - добавляет она, неодобрительно посмотрев на мои вытянутые на коленях штаны, - тебе нужно весеннее платье!

Я не понимаю, зачем мне платье. В настоящем для него места нет - ни в мыслях, ни в тревожном чемоданчике. А будущее... Люди его еще не придумали. Заняты другим.

Новости белым шумом гудят в голове. Бабуля, ты учила меня не давать сдачи, но как тебе удалось выжить? Дураков слишком много. И в руках у них уже не камни, а оружие массового поражения.

Через нашу квартиру прошло очень много людей. Бабушка помогала всем. Никому не отказывала. Смогла бы так я?

Оглядываюсь по сторонам, хоть и знаю здесь все и вся. Старые деревья кряхтят голыми ветками, ворона катает орех на детской площадке, на заваленном хламом балконе вывесили флаг. Этот двор повидал не один людской исход - война и эвакуация, расстрелы евреев, голод, репрессии, развалы и кризисы 90-х, цветные революции. Он помнит, как люди жили в войну и как выжили.

Дома снова слышу за стеной разговор на повышенных тонах. Он звучит в унисон со спорщиками в голове. Я хочу, чтобы люди перестали кричать друг на друга, перестали спорить и доказывать, стрелять и умирать. Я требую – прямо сейчас! – чтобы война прекратилась. Чтобы был мир! И я начинаю ненавидеть тех, кто ненавидит...

Спящий демон открывает один глаз и лениво потягивается, выпуская когти. И я почти готова погладить его за ухом – будто домашнего кота.

Но отдергиваю руку – перед внутренним взором проступает спокойное лицо бабули. За ней – нерушимая человеческая стена: все те, кому она помогла – такие разные и непохожие. Каждый из них делал свой выбор. И каждый имел на это право. Как и мы сейчас.

Молчать и говорить.

Смеяться и плакать.

Бояться и быть смелым.

Оставаться и уезжать.

Осуждать и поддерживать.

Защищать и идти в атаку.

Покупать платья и отменить весну навсегда.

Даже ненавидеть.

Даже убивать.

И, в конце концов, - любить.

И бабушка тоже сделала свой выбор – позволила всем жить вместе - в пространстве своей квартиры. И своей любви. Это и есть третья сила.

Настало время выбирать мне.

Голоса в голове затихают. Спор прекращается. А ведь все очень просто - звонишь, пишешь, приходишь и говоришь:

- Как дела? Чем я могу помочь?

И делаешь, обязательно что-то делаешь. Без оглядки на свой-чужой, близкий-далекий, правый-левый. Мне не нужны споры, мне нужна Победа.

Собираюсь и выхожу из дома. Туда, где ждут помощь.

А вечером я подумаю о будущем. И пусть у каждой женщины Украины в нем найдется место для весеннего платья.

## Одесский приятель Пушкина по имени Самуил

Если хорошенько ознакомиться с реестром одесского окружения Поэта, тотчас бросается в глаза тот факт, что эта как бы случайная выборка имен корректно репрезентует тогдашний этнический и до известной степени - социальный состав горожан. В самом деле, представители российского нобилитета - Воронцовы, Нарышкины, Киселевы, Бутурлин и т.д.; польская шляхта - Потоцкие, Собаньские, Понятовский и пр.; остзейские дворяне - Брунов, Франк; французская аристократия - Ланжерон, Сен-При, Гамба и др.; этнически пестрый чиновничий мир - от Палена, Бера, Зонтага и до Писаренко; образованные негоданты - Ризнич, Рено, Сикар, Монтандон; представители сферы обслуживания - Отон, Пфейфер, Коллен и т.д.; а также - солисты итальянской оперы, многочисленные "погибшие, но милые создания", перебравшиеся сюда из пределов Оттоманской Порты (об этом - в эпистолярных Туманского, самого Пушкина, и в мемуарах современников), и прочие экзотические знакомства, вплоть до "корсара в отставке Морали".

Помимо представителей всех стран Средиземноморья (что типично для любого левантийского порта), мы видим, например, раритетных в этом регионе англичан, голландцев, и даже одного американца. Странно, может заметить кто-нибудь, что нет в этом списке ни одного еврея. И тем более странно, что численность еврейского населения уже в 1820-е годы была довольно значительной. Вероятно, прибавят, это еще одна иллюстрация характерной для Пушкина неприязни.

Согласиться с такой трактовкой едва ли справедливо, ибо интерпретаторы, как обычно, переносят современную психологию в отдаленное прошлое. Сложившееся же в российской аристократической среде неприязненное отношение к евреям (мы говорим о самых первых десятилетиях позапрошлого века) - следствие специфической социальной разобщенности. Нобилитету просто-напросто фактически и не приходилось общаться с евреями, ограниченными в правах, в том числе - в праве проживания на той или иной территории. В обеих столицах

практически отсутствовало образованное еврейство, и общее впечатление о национальных особенностях евреев складывалось чудовищно гипертрофированное, необъективное. И это было неизбежно.

Юг России представлял совершенно иную этническую картину. Оказавшись здесь и непредвзято оценив ситуацию, даже иные заядлые национал-патриоты в корне пересматривали свои позиции. И в этом смысле очень характерна эволюция подобных воззрений долго прожившей в Одессе (в начале 1830-х годов) литераторши К. А. Авдеевой. "Да позволено будет мне сказать свое мнение об евреях, - пишет она. Вообще мы привыкли почитать их самыми дурными людьми. Живши два года в Одессе, нельзя было не иметь с ними сношений, и скажу откровенно, я всегда оставалась ими довольна. Правда, что еврей не упустит из вида своей выгоды, но кто же ее и упускает? Зато какая неутомимость, какое проворство у еврея! И если он уверен, что заслуга его не пропадет даром, он все выполнит вам с возможной точностью и, надобно прибавить, честно".

Вторит ей и писатель М. Б. Чистяков (какового уж никак не заподозришь в апологетике еврейства), посетивший Одессу на завершающей стадии эпохи порто-франко, в 1850-х. В сборнике путевых заметок "Из поездок по России", изданном в Санкт-Петербурге, он, в частности, повествует об очень высоких заработках наемных рабочих Южной Пальмиры - сравнительно с доходами их коллег в других местностях империи. И прибавляет: "Из этого хорошего жалованья, однако ж, редко который скапливает себе что-нибудь; по большей части все идет на водку и на пирушки. Не только русские мастеровые, но и немцы и другие иностранцы очень скоро спиваются с кругу. Евреи составляют блистательное исключение; между ними находят лучших работников, самых смысленых, ловких и трезвых, поэтому во многих случаях еврея предпочитают русским и немцам".

Короче говоря, Одесса позитивно трансформировала опыт (которого реально-то у россиян почти и не было!) межнационального общения, способствовала, так сказать, смягчению консервативных нравов патриархального дворянства. Здесь уместно сказать и об эволюции собственно пушкинского мировоззрения на одесском эмпирическом материале. Я имею в виду его маршрут к коммерциализации литературного труда. Да, "приморская Гоморра" располагала к некоторому прагматизму, навевала мысль о том, что литературная продукция - такой же товар,

как и иной прочий. А, главное, внушала, что самый процесс подобной покупки-продажи отнюдь не аморален, а, напротив, - вполне достойное дело.

Вспомним еще, что наиболее приемлемым кругом общения для Пушкина служил как раз круг просвещенных negociантов. Если учесть, что бродские евреи (выходцы из города Броды и вообще из Австрии) играли в Одессе чрезвычайно значимую роль еще со времен "континентальной блокады" конца 1800-х, становится очевидным, что и они внесли свою лепту в формирование "коммерческого характера" ссыльного диссидента. И в этих условиях он просто не мог не переменить своего отношения к дотоле презираемым "факторам" - поскольку и сам "давал в рост" свой поэтический капитал и получал соответствующие дивиденды. Да, можно (и нужно!) рукопись продать. А чтобы логика подобных размышлений не показалась притянутой за уши, я и хочу лаконично рассказать об одном показательном одесском знакомстве Пушкина.

Речь пойдет об австрийском консуле фон Томе. Сведения по этому примечательному персонажу местных летописей всегда были довольно скудными, и перекочевывали из одного издания в другое. Со времен издания "Одесского словаря пушкинских знакомых" знаменитого впоследствии литературоведа М.П.Алексеева (1927 год) решительно ничего нового о фон Томе не написано. В "Словаре" же препарировано большинство библиографических первоисточников, включая мемуары Рошешуара, Лагарда, Липранди, Бутурлина и проч. Суммарно же складывается впечатление, будто фон Том - венгр, сын губернатора одной из австрийских провинций на границе с Турцией, что он служил австрийским консулом в Одессе "уже в 1804 г. и еще в 1833 г.". Информация эта, как мы увидим ниже, действительности не соответствует.

Вместе с тем, современники вполне живо и, судя по всему, объективно рисуют портрет этого замечательного одесского старожилы - ближайшего сподвижника Ришелье, Кобле, Ланжерона. Большой охотник до веселых розыгрышей (как теперь бы сказали, "приколов"), фирменных анекдотов, каламбуров, эпиграмм, подлинный эпикуреец, фон Том снискал себе славу души компании, заводилы, тамады. Оставаясь таким до самой своей кончины, австрийский консул обожал принимать в своем доме друзей и сам бывал неизменным участником всех светских раутов, застолий,

маскарадов, балов, домашних спектаклей и прочих увеселений. Оптимизм его простирался так далеко, что в дни свирепой чумной эпидемии 1811-1812 годов он, по свидетельству Лагарда, первым в городе отворил двери своего дома для гостей, "по-философски решив умереть лучше от чумы, нежели от скуки".

Салонное времяпрепровождение ришельевской эпохи описано А. А. Скальковским на примере журфикса в доме одного из одесских negociантов (надо полагать, у Шарля Сикара). Присутствовали Ришелье, Кобле, Рошешуар, Растиньяк, фон Том, известный банкир барон Штиглиц и другие господа провинциального олимпа. Кавалеров, разумеется, сопровождали дамы света - Аркудинская, Кобле, Кастилио (в девичестве - Бларамберг), Трегубова-первая, Трегубова-вторая и др. Основная забава вечера заключалась в составлении весьма смелых эпиграмм друг на друга, и среди присутствующих, конечно, не было равных австрийскому консулу, чувствовавшему себя как рыба в воде.

На подобных посиделках и рождались искристые "фонтомовские" каламбуры, остроты, притчи, веселившие потом весь город и даже достигавшие обеих столиц. Характерный пример сказанному приводит известный общественный деятель граф А. И. Рибопьер (1781-1865). В своих мемуарах граф так описывает реакцию фон Тома на адюльтер генеральши Лехнер и барона Брунова - будущего российского посланника в Лондоне, также пушкинского знаконца. У госпожи Лехнер был "дурной шведский выговор", и в ее устах фамилия барона звучала как "Пруноу", т.е. "чернослив". Имея в виду означенное обстоятельство, австрийский консул провозглашал юмористическую проповедь: будущая баронесса, резюмировал он, читала Библию и знает, что яблоко было плодом запретным, но, видимо, не распознала, что чернослив (пруноу) - плод тоже недозволенный.

Более известна другая история, а именно та, что связана с самими обстоятельствам личного знакомства фон Тома и Пушкина. Как вспоминает И. П. Липранди, Пушкин, по своему обыкновению, посетил очередной званый обед у четы Сикаров, где всегда поддерживалась на редкость непринужденная обстановка, позволялись и даже поощрялись всевозможные выходки - разумеется, в рамках светских приличий. Здесь обсуждали любые новости, включая изменение цен на зерно и альковные похождения

солисток итальянской оперы, положение единоверцев на Балканах и модные туалеты, с одинаковым любопытством принимали как серьезную проблему, так и свежую рискованную шутку. На одной из подобных вечеринок фон Том рассказывал забавный охотничий анекдот, а не знакомый с ним лично Пушкин пошутил: "Который том: первый, второй или третий?". По-настоящему остроу эту можно оценить, если знать, что у Тома было два сына, примерно одних с Пушкиным лет...

Годившийся "диссиденту" в отцы, старина Том несколько не обиделся - он не только сам умел каламбурить, но и понимал и принимал остроты, адресованные ему самому. Смущенный Пушкин подошел к почтенному консулу с извинениями, однако встретил такое дружеское участие, какого не ожидал. Несмотря на солидную разницу в возрасте, они стали добрыми приятелями, поэт потянулся к уникальному добряку и жизнелюбу. Сохранились вполне определенные, достоверные свидетельства их взаимной симпатии, приязни, дружеских отношений. Так, мемуаристы повествуют о том, как Пушкин гостил на хуторе фон Тома в Дальнике. Один из проведенных там дней детально описан Ф. Ф. Вигелем. Несомненно, посещал Пушкин и городской дом австрийского консула, находившийся в самом центре, на пересечении современной Преображенской и Малого (тогда - Казарменного!) переулка - на этом месте в конце 1930-х выстроен дом для работников морского транспорта.

Кое-что известно даже о внешнем облике нашего героя. Так, вспоминая наиболее яркие эпизоды детства, племянник основателя Одессы, М. Ф. Дерибас, пишет: "В глубине комнаты замечаю многих незнакомых мне лиц в блестящих мундирах. Один из них, в красном мундире, более всех прочих поразил меня (это был австрийский консул фон Том)". Известно также, что добрейшей души человек, фон Том часто приходил на помощь горожанам, оказавшимся в затруднительной ситуации. В те годы, например, возникали сложности с получением загранпаспортов, и тогда австрийский консул оказывал бескорыстное содействие многим. А между тем такое его "легкомысленное поведение" осуждалось в "Высочайшем замечании одесскому градоначальнику А. Д. Гурьеву".

Казалось бы, мы так много знаем о фон Томе: ведь далеко не каждый, даже куда более масштабный, исторический персонаж оставил по себе столько документальных свидетельств. И, вопреки этой обманчивой очевидности, мы

не знаем о нем почти ничего. Сколько архивных документов пушкинской эпохи в свое время прошло через мои руки! И, представьте, ни в одном из них не упоминается даже имя австрийского консула! В чем же тут дело?

Анализируя различные материалы, я пришел к заключению, что не только пушкинский каламбур, но сама жизнь "перепутала все тома". Разыскания показали, что дело отца со временем оказалось в руках сына, исполнявшего обязанности австрийского консула в Одессе в 1834-1845 годах. И вот это как раз и был ВТОРОЙ ТОМ. Имя этого Тома известно - Карл. В одном из старых справочников как бы открылось и отчество: Самойлович или Самфилович. Странное, прямо скажем, имя для австрийского дворянина...

О чем я в течение многих лет мечтал, так это о том, чтобы получить доступ к консульской переписке ретро из архива МИД Австрии. Грезить мне, естественно, никто не возбранял. И все же чудеса случаются. Возможность достучаться до австрийской столицы открылась неожиданно (а о наличии там кое-каких "одесских реляций", составленных фон Томом, говорила моя дорогая подруга Патрисия Херлихи - автор единственной по сути монографии по истории нашего города, 1794-1914). Помочь вызвалась другая моя замечательная подруга - Сюзанна Накатен, блестящий историк из Трира. В результате всевозможных приключений удалось получить любопытнейшую информацию, позволяющую основательно дополнить живыми красками портрет нашего славного одесского балагура, окончательно с ним "разобраться".

Начнем с печального. Интересующая нас консульская переписка в полном объеме в Вене не обнаружена. Суть дела в том, что в лихорадке первой мировой и гражданской войн австрийское консульство в Одессе не было ликвидировано, так сказать, регулярно. Где теперь находится его архив, неведомо, хотя не исключено, что какая-то часть могла оказаться в одном из центральных архивов - скажем, архиве МИД СССР. Зато в Вене имеется целый ряд документов, с одной стороны, характеризующих фон Тома как личность, а с другой - прямо относящихся к исполнению им консульских обязанностей. Вторая часть этого корпуса документов, несомненно, преинтересна, ибо дает срез истории Одессы на протяжении более четверти века: с 1804 по 1830 годы. Но это тема отдельного обстоятельного разговора, а сейчас нас занимает скорее

феномен личности "подозреваемого" или "подзащитного" - как хотите...

Главным консультантом Сюзанны Накатен в Венском архиве был доктор Эрнст Петрич - не только великолепный специалист, но и обаятельный, любезный, готовый оказать содействие человек. Итак, архивные документы свидетельствуют: Христиан Самуил фон Том был "привилегированным в Вене оптовиком". Вместе с братом, Андреасом Готтлибом фон Томом, они удостоились рыцарства, т.е. дворянства, в 1789 году. Фон Том был консулом сначала в Херсоне, а с 1804 года - в Одессе. В 1816 году награжден рыцарским крестом Леопольдского Ордена. Ушел в отставку, так сказать, по собственному желанию в 1830 году, а скончался в Одессе 1 января 1840-го.

Карл фон Том наследовал отцу в 1834-м, а прежде служил консульским канцлером. В 1830-1834 годах в Одессе консульствовал Казимир фон Тимони.

Что же кроется за этими сухими строками? Мои слишком смелые предположения полностью подтверждены и обоснованы немецким и австрийским специалистами. Многие карты раскрывает то обстоятельство, что фон Томы не зафиксированы в "каталогах" австрийского дворянства. Таким образом, пишет Сюзанна, «семья не была дворянского происхождения; они стали "достойными" при дворе только в год французской революции и получили рыцарское звание. Более того, у них "говорящие имена", иллюстрирующие еврейское происхождение - Самуил и Готтлиб, т.е. Еммануил». «Лояльные имена - Христиан и Андреас - приписаны по необходимости, - свидетельствует Эрнст Петрич, - иначе они никогда не сделали бы карьеры в католической Вене, в особенности карьеры дипломатической».

Теперь понятно, почему фон Том никогда не подписывал деловые бумаги своим полным именем: во-первых, не мог афишировать своего происхождения в пределах России, а, во-вторых, искренне не желал быть самозванцем, т.е. носить "новодельное" имя (вспомним, что сын его все же носил подлинное отчество, хотя и несколько русифицированное). Мало того, мозаика первоисточников позволяет видеть, что австрийский дипломат до конца своих дней оставался приверженцем веры отцов и покровителем своих единоверцев. Так, много места в корреспонденциях фон Тома из Одессы занимают разнообразные "еврейские сюжеты", скажем, обширная переписка о негоцианте Хаиме

Горохове. Этот еврейский коммерсант пожелал покинуть галицийские Броды и открыть торговлю в Одессе, однако венский двор почему-то препятствовал осуществлению этого намерения. Власти отказывали ему в выдаче паспорта, не разрешали пересекать границу. В этом и многих других случаях Том вступался за еврейских купцов, причем всегда мотивировал тем, что сомнительные политические принципы должны уступать место взаимовыгодным межгосударственным отношениям.

Мои зарубежные коллеги подчеркивают, что, несмотря на "сомнительное происхождение", император высоко ценил Самуила фон Тома. Скажем, в 1804 году немало объявилось охотников, желающих консульствовать в Одессе, в том числе - именитых, однако предпочтение было все же отдано "нуворишу". Мало того - и это весьма показательно! - ему было дозволено совмещать ответственную службу с активными коммерческими операциями. Как было сказано, его наградили высшим орденом, а когда он пожелал уйти со службы, его ходатайство удовлетворили без проблем. Что до старшего сына, Карла, служившего при отце с 1818 года, он добился должности уже не так просто: обращение к императору о повышении в чине последовало в 1832 году, а удовлетворено лишь два года спустя.

"Вот репрезентативная личность, - говорит Сюзанна Накатен о Самуиле фон Томе, - идеально подходящая для жизни в расцветающей Одессе, не так ли?". В самом деле, фон Том превосходно вписывался в историко-бытовой пейзаж стремительно прогрессирующего приморского торжища! Именно с его легкой руки бродские евреи заняли достойное место в городе и регионе, способствовали тому, что о едва народившемся в голой степи городке заговорили по всей Европе. Сохранились архивные материалы о содействии фон Тома расселению сотен семей из Австрии на территории между Херсоном и Одессой. Обратим внимание на то, что означенные мигранты были людьми довольно состоятельными, и, таким образом, инвестировали торговлю России со странами Южной Европы и Востока. Был таким инвестором и сам австрийский консул.

Вот, оказывается, какой интересный знакомец был у Пушкина в Одессе. Знакомец, несомненно, сыгравший определенную роль в изменении некоторых житейских подходов "коллежского секретаря", пришедшего в итоге к идее коммерциализации литературного труда и "Разговору книгопродавца с поэтом".

...Основываясь на архивных данных, выдающийся историк Одессы К. Н. Смольянинов утверждает, что самым первым печатным текстом, изданным в городе, были стихи - сонет в честь примадонны итальянской оперной труппы Густавины Замбони. Подписан же этот мадригал криптонимом "F. T.". Нет сомнений в том, что автор - это наш герой. Так непредсказуемо соседствуют в исторических хрониках Одессы два разных поэта, два добрых приятеля - Александр Пушкин и Самуил фон Том.

## История одного обрезания

Роясь в бывшем Одесском партархиве, я набрел на несколько преинтересных документов.

В феврале 1920 года в Одессе уже крепко обосновалась Советская власть. 20 июля Президиум губпарткома решил приступить к изданию двухнедельного журнала "Коммунист". Разрозненные подшивки этого весьма неприметного издания до сих пор хранятся в отделе редких книг одесской «публички». На журналах нет подписи редактора. Но из документов губкома следует, что этим редактором был Исаак Бабель с окладом 29.360 рублей. Более того, его даже внесли в список «ответственных работников Одесского губкома КПУ на право получения дополнительного пайка». Что было куда существеннее в то голодное время, чем деньги, которые ничего не стоили.

Почти как сейчас. Но вот беда - в архивном списке фамилия писателя кем-то вычеркнута толстым красным карандашом. То ли Бабель перестал быть редактором, то ли некий начинающий партчинуша решил, что нечего переводить драгоценные продукты на какого-то там писаку.

Следующий документ из папки дел ЮгоРОСТА. Это - ведомость на авансы, выданные в январе 1921 года. Среди других имен: Ефимов - 12.400 руб., Кольцов - 93.687 руб. и Бабель - 15.000 руб. Все по рангам.

Как пишут биографы Бабеля и литературоведы, следуя Паустовскому, который первым запустил в оборот эту "мульку", Бабель снимал комнату на Молдаванке у старого еврея Циреса, что был наводчиком у бандитов и получал свой "карбач" от каждого грабежа. Так вот, якобы именно там Бабель и нашел все свои знаменитые одесские сюжеты. Возможно, отчасти так оно и было. Но, оказывается, писатель имел и другие каналы получения информации.

29 мая 1923 года из губкома в Одесский угрозыск Барышеву ушла "совершенно секретная" бумага: «На ваш запрос от 21/V-1923 за № 285 по распоряжению секретаря губкома т. Майорова сообщая, что со стороны губкома препятствий не встречается к допущению тов. Бабеля, как литератора, к изучению некоторых материалов угрозыска в

пределах возможного по Вашему усмотрению. Завуправделами Розенпуд». Это был ответ на письмо редактора "Одесских известий" Ольшевца, который просил разрешить Бабелю знакомство с уголовными делами. Таким образом, выясняется, что Бабель черпал сюжеты не только на Молдаванке.

Впрочем, и не только в угрозыске. Есть у него прекрасный, полный юмора и красок рассказ "Карл-Янкель", впервые опубликованный в журнале «Звезда» №7 в 1931 году. Как и другие произведения нашего замечательного земляка, он вызревал очень долго. Могу теперь точно сказать сколько - семь лет. Потому что событие, что легло в основу рассказа, произошло в Одессе 24 июня 1924 года. В тот день в клубе трамвайщиков им. Матяша, что помещался на Старопортофранковской, 34, состоялся открытый судебный процесс. Выглядел он фарсом. И, конечно, Бабель не мог пройти мимо.

Однако сперва давайте разберемся, кто такой Матяш и почему его именем назван был клуб трамвайщиков. Вот данные из его анкеты. Родился в 1890 году в селе Юсковцы Полтавской губернии. По национальности - украинец. По профессии - слесарь-инструментальщик. Основным источником существования (был и такой вопрос в анкете!) – «В поте лица добываю хлеб свой». Матяш работал на заводе РОПиТа, затем на пробочном. Не раз был арестован, сослан. С 1905 года ходил в эсерах, в 1908 году организовывал их боевые дружины. После февраля 1917 года, когда он вернулся из ссылки, Слободской комитет партии социалистов-революционеров вручил ему партбилет со стажем с 1906 года. Через два месяца Матяш вернул этот билет и вступил в партию большевиков. Участвовал в Январском восстании, был делегатом IV съезда Советов, членом Исполкома Одесского Совета и членом президиума Румчерода. Когда группа одесских делегатов возвращалась со съезда Советов, где они говорили: «До свиданья, товарищи, на очередном съезде Советов - Всероссийском, а может быть, и Всемирном», в Одессе уже были немцы. Депутаты пробрались в родной город, как истые герои - в обход, через Крым. В Одессе выяснилось, что комиссар Центральной Рады Коморный посулил за голову Матяша 10 тыс. карбованцев.

Понимаю, что вы уже нервничаете, читатель. Чего, мол, автор столько места уделяет этому старому революционеру, которого давно уже никто в Одессе не помнит? Но все

рассказанное необходимо для понимания того, что произошло в июне 1924 года.

Итак, суд в составе председателя Шевченко, народных заседателей Дозоренко и Кувшинова, и секретаря Гоцуляка собрался, дабы рассмотреть дело № 758 ответчика Балаца Моисея Израилева, безработного, на Бирже труда зарегистрированного, под судом не состоявшего, а также обвиняемой Гершкович Симы Абрамовны, домохозяйки, по обвинению в том, что в марте месяце 1924 года они самоуправно совершили обряд обрезания над ребенком своих родственников.

После публичного разбирательства народный суд вынес вердикт: «Обвиняемых Балаца и Гершкович признать виновными и подвергнуть принудительным работам на шесть месяцев, но, принимая во внимание их малолетство, наказание сократить на 1/3». Далее высокий суд записал: «Ввиду того, что обвиняемые не судились ранее, учитывая их недоразвитость, осознание своего поступка, суд нашел возможным применить к ним ст. 28 УК УССР и наказание снизить, заменив принудительные работы курсами политграмоты с прикреплением их к клубу Депо-Трамвай и, кроме того, к курсам ликбеза». Такой вот милый приговор, «с удовлетворением встреченный присутствовавшими в зале трудящимися», как писали местные газеты.

Все бы прекрасно, но нашлось в делах губкома заявление Матьяша, что, мол, родственники без его ведома совершили обрезание над... его сыном. Кого же судили? Оператора обрезания Балаца, что числился безработным, но в ус не дул, потому как его вполне прилично кормило ремесло; и невестку Матьяша - Гершкович. Между прочим, в одном из доносов, хранящихся в делах контрольного отдела губкома, можно прочесть, что эта "малолетняя и недоразвитая" С. Гершкович "держала рундук с битой птицей на "Новом базаре". Да еще без патента! Каков пассаж?

Не стану более утомлять читателей этой историей. Но не удержусь привести один лишь абзац из рассказа "Карл-Янкель": «Нафтула Герчик (так Бабель назвал оператора обрезания - Ф.З.) устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

- У покойного мосье Зусмана, - сказал он, вздыхая, - у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава Богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня

на ваш брис (обрезание - Ф.З.). И вот мы видим, что вы выросли большим человеком у Советской власти...»

Полагаю, читатель уже все понял? Правда?

А Матьяш? Матьяш сам тянулся к перу и выпустил в Одессе несколько книжонок, одна из которых называлась "Коровины дети" и дала сюжет другому писателю - Борису Лавреневу. Помните "Срочный фрахт\*"?

Конечно, Бабель прекрасно знал все о Матьяше и его национальности. Но, возможно, писательская корпоративность не позволила ему поставить все точки над "i". Впрочем, одесситы того времени и так все прекрасно знали и понимали.

Еще одно продолжение бабелевских историй, по-моему, не замеченное бабелеведами. 8 июля 1924 года М.Ф. Андреева писала Горькому из Берлина, где она работала в конторе Внешторга:

«Принесли мне на просмотр картину: главное действующее лицо - великолепный черный конь... Кончилась картина. Смотрю, когда зажгли свет... сидит за мной наш служащий Мельников, лицо залито слезами и весь дрожит, как конь этот черный.

- Что с вами? - говорю ему. - Милый, чего вы?

- Ох, М.Ф., голубушка, родная вы моя! Ведь этот конь совсем как мой... которого отняли у меня... Только мой - белый был...

И рассказывает, как нашли они, солдаты Буденного, в каком-то помещичьем угодье, под Польшей, замурованными в погребе две лошади: одна - кобыла, а другая - вот этот белый конь. Только окошечко было оставлено им. Как они, солдаты, увидели свежую штукатурку, отбили ее. Как он, Мельников, сразу влюбился в коня и вымолил его себе. Как в один месяц выдрессировал его, тот слова слушался. Какой изумительный был этот конь! Чистый конь - никогда не ляжет, если ему чистой соломы не постелить, как голубь белый...

И вдруг случилось несчастье - об этом несчастье ты, должно быть, читал у Бабеля? Это тот самый Мельников, чудесный малый... Всхлипывает, рассказывая, и - конфузится, басит, а у самого подбородок с ямочкой дрожит.

- Вот четыре года прошло, а вспомнить не могу! Ведь какой конь, а Тимошенко третирует его! Даже бил - один раз даже укусил его за это конь мой... Слава Богу - убили его под Тимошенко, недолго он им владел!.. Разбередили вы меня картиной вашей, М.Ф., опять душа болит! Будто не четыре

года, а четыре дня прошло, ох Господи! Вот тебе и коммунист!».

Неисповедимы пути писательских сюжетов.

**Майя Тульчинская**  
Восстание идиотов

EXCLUSIVE PROSE

Восстание идиотов

Майя Тульчинская

Сергей Князев

Артур Соломонов

Александр Мелихов

Майя Тульчинская — прозаик и драматург. Ее произведения публиковались в журналах, звучат на радио, ставятся в театрах в России и за рубежом.

«Сатирический и одновременно философский роман Майи Тульчинской «Восстание идиотов» отличается не только яркостью мысли и баском ее повествования, но и интеллектуальным бестрашием, которого так не хватает не только в современной литературе (как отечественной, так и зарубежной), но и в современной духовной жизни в целом».

«Держал и философская книга».

«Идея книги перекликается с Легендой о Великом инквизиторе, и происходит прорыв из-под социального небосвода на новый, надсоциальный уровень».

Чтобы решить личные и финансовые проблемы, герой предлагает свои услуги в качестве специалиста по рекламе и маркетингу Богу и Дьяволу. За ходом переговоров наблюдает таинственный Док, который проводит в Лечебнице эксперименты по выведению новой породы людей, а нынешних он планирует уничтожить...

В импринте «FLAUBERIUM» в серии «EXCLUSIVE PROSE» готовится к выходу книга Майи Тульчинской "Восстание идиотов". Ее «идея перекликается с Легендой о Великом инквизиторе, и происходит прорыв из-под социального небосвода на новый, надсоциальный уровень» (Александр Мелихов). Чтобы решить личные и финансовые проблемы, герой предлагает свои услуги в качестве специалиста по рекламе и маркетингу Богу и Дьяволу. За ходом переговоров наблюдает таинственный Док, который проводит в Лечебнице эксперименты по выведению новой породы людей, а нынешних он планирует уничтожить...

## Верность одесскому братству

Вспоминаю, сколько лекторов общества «Знание» в далекие годы кормились с темы «Есть ли жизнь на Марсе?». Нечто подобное мне напоминает сегодня вопрос: была и есть ли одесская литературная школа? Мне кажется, неповторимость и узнаваемость Бабеля, Ильфа, Петрова, Олеси, Катаева, Жванецкого как единого «одесского текста» у читателей давно уже не вызывает сомнений. У грамотных читателей, которых все меньше и меньше.

Меня же волнует несколько иная проблема. Сосредоточившись на двух десятках фамилий писателей, ставших широко известными, мы забываем о «свите», без которой трудно представить королей. О литературном фоне, бэкграунде, как принято нынче говорить. К сожалению, до сих пор не изданы книги Петра Сторицына, Георгия Цагарели... Их произведения можно (и нужно!) собрать по одесской периодике.

Но был в Одессе поэт, младший современник одесситов, ставших уже известными писателями, писавший во второй половине двадцатых - первой половине тридцатых годов XX века, которому не удалось опубликовать при жизни ни строки. Звали поэта Петр Кроль.

Впервые я услышал это имя от ленинградского поэта, бывшего одессита, Всеволода Азарова более тридцати лет тому назад.

- По гамбургскому счету, - рассказывал Всеволод Борисович, - Петя был самым одаренным поэтом среди нас, молодых; входил в группу «Перевал», которых тогда именовали «попутчиками». В 17-18 лет он был как ребёнок, мог часами читать наизусть стихи символистов, акмеистов, футуристов, увлекался историей и философией, особенно Шопенгауэром.

Тогда Всеволод Азаров прочитал мне по памяти стихотворение Петра Кроля «Виноградарь». Я запомнил его первые строки: «Виноградарь устал до смерти, виноградарь устал до жизни, он покинул свой виноградник...».

Уже позднее, раздумывая о Петре Кроле, я перечитал «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра и там нашел

фразу, которая, возможно, и подтолкнула к созданию «Виноградаря»: «Смерть так же естественна, как жизнь».

В 1987 году вышла книга мемуаров Всеволода Азарова «Ветры нашей молодости», он прислал ее мне из Ленинграда в Одессу. Добрая, теплая, очень искренняя книга. К счастью, уже началась «перестройка», и можно было писать без страха и умолчаний. В этой книге была страница о Петре Кроле. О том, что в начале 1930-го года Петя (так называли юного Кроля друзья), приехал в Москву, показал в «Московском комсомольце» стихи Осипу Мандельштаму, который работал в газете литконсультантом. Осип Эмильевич принял его радушно, называл по имени отчеству – Петр Михайлович (наверное, впервые в Петиной жизни), но посоветовал с этими стихами никуда не ходить, а тихо вернуться в Одессу, от греха подальше.

Этот рассказ Всеволода Азарова существенно дополняют воспоминания Семена Израилевича Липкина в беседе с Аленой Яворской, заместителем директора по науке Одесского литературного музея.

«- Это был мой самый близкий друг, - Семен Израилевич оживает еще больше. - Мы были сверстниками, остальные - намного старше».

Липкин уточняет: Кроль – не одессит, его родители переехали в Одессу во время Первой мировой войны. В прошлом – люди обеспеченные, все потеряли. Отец был бухгалтером. Петр учился в Одесском университете, был очень неуклюжим, из-за этого у него были плохие отношения с преподавателем военного дела. В начале тридцатых приехал в Москву, Семен Израилевич (у него Петя жил в Москве) познакомил его с Мандельштамом, который очень тепло принял Кроля. Человек, фантастически неприспособленный к жизни, «у него не было силы для этого» - говорит Липкин, - Кроль никак не мог устроиться на работу, как бы ни помогали ему друзья.

Кроль послушался Мандельштама и отправился назад, в Одессу. «Сняли» его с поезда. У него не было документов. Он нигде не работал. И на годы сослали беспомощного, неуравновешенного, возможно, не совсем адекватного юношу в лагерь.

Неожиданное подтверждение. В конце 90-х годов вышел новый роман Юрия Давыдова «Бестселлер», и среди его героев, среди зеков мелькает образ Петра Кроля: «И в тех же вот краях–широтах мы, зеки... Еврей, замученный

чекистами, затем приконченный нацистами, Кроль, Петр Кроль, поэт несчастный и безвестный, а значит, и высокой пробы, не хныча,

...валит древесину в груды  
Весь день и позже, до зари:  
Осину — дерево Иуды,  
Его боятся упыри».

А несколькими строками раньше, в этой же главе, Юрий Давыдов пишет: «Семен Израилевич Липкин прав: есть мудрость и в уходе без следа». Сказано как будто о Петре Кроле.

То ли в 1939-м, то ли в 1940-м году Петр Кроль вернулся из лагеря в Одессу, жил у сестры, работавшей продавщицей в книжном магазине на Дерибасовской. Жили бедно, на одну ее зарплату. Петя писал стихи.

А потом началась война. Оккупация. Нет, не прав Шопенгауэр. Смерть не естественна. Особенно в гетто.

Но это всё рассказ о жизни и смерти. А где стихи? Не осталось ни одного листика, ни одного стихотворения. Вернее, не осталось бы... Если бы не верность одесскому братству. Несколько поэтов, любивших стихи Петра Кроля, знавших многое на память еще с двадцатых годов, решили в шестидесятые годы восстановить их. Над этим работали Всеволод Азаров, Сергей Бондарин, Семен Кирсанов, Семен Липкин.

Сегодня машинопись стихов Петра Кроля есть в Одесском литературном музее, есть у меня – я получил ее в подарок от Всеволода Борисовича Азарова.

Семен Израилевич Липкин рассказывал Алене Яворской, что в 80-е годы два стихотворения Кроля он опубликовал в «Литературной газете». В Интернете мне не удалось их найти, как и какие-либо отклики на публикацию (если они были).

Это и побудило меня предпринять новую попытку вернуть в литературу не только имя, но и стихи. Тем более что Одесский литературный фестиваль пробудил у многих желание шире взглянуть на «одесский текст». В моем распоряжении только ранние стихи совсем юного Петра Кроля за 1925-1928 год. Но уже в них ощущается его своеобразие.

\*\*\*

Неба глаз слегка лишь тучами подведен,  
На асфальте только тонкой тени грим.  
Я хочу, чтоб город в каменистом пледе  
Вспыхнул и чтоб крикнул кто-нибудь: «Горим!».  
Чтобы дёрнулся город, заплывший в ласке и лоске,  
Чтобы, звёздами падая на пол, набатом звенело стекло,  
Чтобы быстро бежали и тыкались люди в киоски,  
И чтоб зарево в небо густейшею кровью текло.  
Но этих желаний спугнет кровожадную птицу  
Спокойная ночь, отогнав докучающий зной  
И ночью во мне уж ничто не бушует, но мстится,  
И ночь, как служанка, подняв опахало, шагает за мной.  
И тьма, как ярмо на покорно протянутой вые,  
И снова запрячется месяц, и снова не видно ни зги.  
И вот при свете луны, как белый листок, мостовые,  
И что-то на этом листке таинственно пишут шаги.  
В городе знойном это бывает так редко.  
Вижу заглохших стремлений запущенный сад,  
Слышится голос могучий далекого предка,  
Суровым и властным призывом зовущий назад.  
И кажется, город исчезнул с его мостовыми,  
На месте города только огромная гать,  
И мир не родился или давно уже вымер,  
А я только буду шагать и шагать и шагать.

1926

### Шопенгауэр

В трактире шум, мелькают кружки,  
Усталый бурш храпит в углу.  
Вслед затянувшейся пирушке  
Остаток пива на полу.  
И, прорезаясь в бархат гула,  
В разноголосицу и смех,  
Проходит жирная Урсула  
И трубками обносит всех.  
Гуляки пьют и воют «Прозит!»,  
И лишь за столиком одним  
Старик угрюмый трубки просит  
И кольцами пускает дым...

В трактире не мелькают кружки,  
Усталый бурш проснулся вдруг,  
След пива засыпают стружки  
И старика замкнули в круг.  
И дыма серые волокна  
Ползут назойливо в глаза,  
И в эти маленькие окна  
Уже колотится гроза.  
Его сверкающие речи  
И чубука ритмичный стук  
На старика худые плечи  
Надет потрепанный сюртук.  
И так беспомощно повисла  
Трясаясь, седая голова,  
Но беспощадны, словно числа,  
Его жестокие слова,  
Его стальные силлогизмы.  
Но ветер стукнулся в окно,  
В стакан граненый, в виде призмы,  
Налито старое вино.  
И кельнер мчится меж столами.  
Старик угрюм, пора домой.  
От ветра в лампе гаснет пламя,  
И зал охвачен мягкой тьмой.  
Пусть пьют веселые гуляки,  
И слышен двери резкий стук.  
И он идет в грозу и слякоть,  
Одёрнув старенький сюртук.

1927

## Осень

Скучно! Деревья в желтой осенней оправе,  
Сморщился день, постарел, поседел и усох.  
След слишком резкий нога моя врезала в гравий,  
Гравий податлив и мягок, как влажный песок.  
Я нездоров, и погода уж слишком сырая,  
Слишком сыра и пронзительна. Слишком туга  
Вьется аллея в саду, как меч самурая,  
Кто-то аллею согнул, и стала она, как дуга.  
Ворон оставшийся болен, но все-таки важен,  
Он неподвижен и важен, как древний друид,  
Старый фонтан покрывается сетью

бесчисленных скважин  
Восемь уж лет, как он ничего не струит.  
Что же, домой? Да и дома не слишком-то сладко,  
Гофман, Брамбеус, наскучивший «Вечный жид»,  
В книгу аббата Прево вложена кем-то закладка,  
Очень и желта, но на той же странице лежит.  
Часом вечерним идти по аллее все жутче,  
Ветер к скамейке несмело швыряет листы.  
Эту аллею, наверное, выдумал Тютчев,  
Листья, как строки, суровы, легки и чисты.

*1927. Осень*

## Стадион

Лет за десять до войны в парке имени Т. Г. Шевченко еще можно было увидеть два... Черных моря: одно синело за скалами Ланжерона, а другое располагалось на месте нынешнего Зеленого театра. О происхождении этого «второго» Черного моря рассказал Валентин Катаев в воспоминаниях об Эдуарде Багрицком «Встреча»: «...Отцы города с педагогической целью ознакомить население с отечественной географией придумали соорудить небольшой пруд в форме Черного моря. В точном соответствии с картой выкопали калошеобразную яму... Хрупкий бюджет муниципалитета... не выдержал дальнейших трат. Черное море так и осталось на вечные времена необлицованным и сухим...». Об этом же написал, вспоминая Багрицкого, и Юрий Олеша в очерке «Личность и творчество»: «В... парке, в глухой его части, есть громадная котловина. На языке посетителей парка и жителей того района котловина эта называлась «Черное море». В ней играли в футбол».

Действительно, «Черное море» облюбовали когда-то юные любители новоявленного в России футбола, с завистью и интересом смотревшие, как играют англичане из «Одесского британского атлетического клуба», сокращенно именовавшегося ОБАК. Один из любителей, впоследствии всерьез и небезуспешно променявший мяч на перо, Александр Козачинский, отдавая дань детскому увлечению, спустя много лет напишет в повести «Зеленый фургон», что «Черным морем с незапамятных времен владела команда футболистов, которые именовали себя черноморцами. Черное море было чрезвычайно комфортабельным футбольным полем: окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, который вылетал за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки с Ланжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельняшках...».

Катаев и Олеша не случайно связали в своих воспоминаниях «Черное море» с Багрицким. Не играя в футбол, он часами пропадал тут, встречаясь и «болея» за

друзей. Более того, юный поэт написал даже «гимн черноморцев», несколько строк которого запомнил старинный приятель Багрицкого С. Березов:

*Походим мы на диких горцев,  
Наряд незатейлив и прост.  
Но важны для нас, черноморцев,  
Отвага, осанка и рост...*

Отсюда, с «Черного моря» ушли в большой футбол В. Зинкевич, Т. Коваль, В. Котов, М. Малхасов, И. Типикин... Здесь взошла звезда спортивного счастья Александра Злочевского, неповторимого «Сашки Злота», кумира одесских болельщиков и героя множества легенд, вокруг которого непременно собирались разновозрастные любители футбола, когда он уже в преклонном возрасте появлялся на раскаленном песке Ланжерона...

Традиции «Черного моря» продолжил стадион, построенный там же, в парке по проекту архитекторов А.И. Дубинина, Н.М. Каневского и Р.А. Владимирской. И здесь футбольным полем служило дно огромной искусственной выемки, но, в отличие от «Черного моря», она была правильной эллиптической формы, а на склонах располагались трибуны для двадцати двух тысяч зрителей. Его торжественно открыли 18 мая 1936 года, а потом пять предвоенных лет, как отметила Вера Кетлинская в романе «Мужество», «вся неугомонная и любопытная Одесса сбегалась «болеть» на трибуны стадиона».

Воспоминанием о счастливой мирной жизни возникает стадион в рассказе Валентина Катаева «Отче наш», написанном после приезда в Одессу в 1944 году, когда ему рассказали одну печальную историю: молодая женщина с маленьким сыном, спасаясь от облавы, мечется по зимней оккупированной Одессе, забредает в парк и, не чувствуя ног от усталости, присаживается на скамейку, а утром их находят замерзшими. Проходя мимо стадиона, она вспомнила, как однажды до войны с мужем и друзьями пошла «на футбольный матч Харьков—Одесса. Павловские болели за Одессу. Она с мужем болела за Харьков. Одесса выиграла. Боже мой, что делалось тогда на этом громадном, новом стадионе над морем. Крики, вопли, драка, пыль столбом. Они тогда даже чуть не поссорились. Но теперь об этом приятно было вспомнить».

...Одесса встретила освободителей 10 апреля 1944 года, а уже 28 мая открылся стадион. В послевоенные годы футбольные страсти вспыхнули, пожалуй, с еще большей

силой. И снова, как о том написал Иван Рядченко в стихотворении «Болельщики»,

*Лишь гол — и что-то вдруг раздвинуло  
За стадионом берега,  
и море с гулом, в чащу хлынуло  
на оглушенного «врага»!*

...Кроме вставных эпизодов, отдельных описаний, попросту упоминаний в прозе и поэзии, стадиону целиком посвящено одно литературное произведение: рассказ «Стадион в Одессе», впервые напечатанный 2 июня 1936 года в газете «Вечерняя Москва». «Стадион над морем. Его не было, — свидетельствовал автор, — это новый стадион в Одессе. На фоне моря. Нельзя представить себе более чудесного зрелища... Зеленая площадка футбола... Он открывается внезапно — его овал, лестницы, каменные вазы на цоколях, — и первая мысль, которая появляется у вас после того, как мы восприняли это зрелище, это мысль о том, что мечты стали действительностью. Этот стадион так похож на мечту — и вместе с тем так реален... Этим видом можно любоваться часами. В сознании рождается чувство эпоса...».

Так написать о стадионе мог только человек, влюбленный в Одессу, нетерпеливо отыскивающий реальные черты будущего и трепетно всматривающийся в них, понимающий толк в футболе и в совершенстве владеющий литературным мастерством. И он был таким, наш земляк, в юности нападающий футбольной команды своей родной Ришельевской гимназии, талантливейший прозаик Юрий Олеша. «Могу сказать, что я видел зарю футбола», — признается уже на склоне лет Олеша в книге «Ни дня без строчки». Многие страницы этой книги посвящены милым для него воспоминаниям о начале футбола: «Я ни на что не хочу жаловаться! Я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде «Спортинга» (спортивный клуб в Одессе)... Уже помимо того, что он чемпион бега на сто метров, чемпион прыжков в высоту и прыжков с шестом, он еще на футбольном поле совершает то, что сделалось легендой... Такой игры я впоследствии не видел», — утверждает Олеша, вспоминая действительно легендарного Григория Богемского, с которым имел счастье играть в гимназической команде. «Я играл вместе с Богемским, — сразу, как к давнему знакомому обратился ко мне Юрий Карлович, — вспоминал свою первую встречу с ним знаменитый в прошлом футболист Андрей Старостин, — при этом он уставился на меня своими серыми глазами, как бы

фиксируя мою реакцию, верю я или не верю в то, что он действительно играл «с самим Богемским», да и вообще знаю ли я, кто такой Богемский».

Олеша ревностно относился к этому, в сущности, небольшому эпизоду своей ранней юности. Лев Никулин вспоминал, как он полушутя-полусерьезно вспыхнул в ответ на показавшееся ему ироничным замечание о том, что он «играл за форварда», как называли тогда нападающего. «Да, в Одессе играли в футбол в то время, когда ваш папа играл в преферанс. И я играл за форварда. Старостин, скажите ему», — призывал Олеша в защитники непререкаемого во всем, что касалось футбола, подружившегося с ним мастера.

Но если Старостин подтверждал «футбольное прошлое» Юрия Олеша лишь своим незыблемым авторитетом, то пером очевидца описал его Сергей Бондарин в воспоминаниях «Встречи со сверстником»: «В юности мы встречались на футбольной площадке. Маленький и шустрый гимназист Олеша играл за свою Ришельевскую гимназию в пятерке нападения, и я помню день его славы, когда в решающем матче на первенство гимназической лиги Олеша забил гол в ворота противника. Это был точный красивый мяч с позиции крайнего правого... Маленький и быстрый форвард, пробежав по краю зеленой площадки и ловко обведя противника, точным ударом вбил гол. Аплодисменты...».

Такие или подобные воспоминания еще каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет тому назад можно было услышать и на знаменитой одесской футбольной «бирже», что на Соборной площади. Но время в прямом смысле «берет» свое: уходят свидетели былых футбольных баталий, славы, надежд, разочарований и побед. Остаются книги...

## **Боль моей мамочки...**

В 2021 году, 14 мая в Украине на государственном уровне впервые отмечали «День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны». Действительно, нашей стране есть чем гордиться. По количеству Праведников народов мира Украина занимает четвертое место после Польши, Голландии и Франции. И это, заметим, только официальная статистика (данные Яд Ва-Шем от 1 января 2020 г.). На самом же деле людей, спасавших в Украине евреев, гораздо больше... И имена их теперь, к сожалению, в силу разных причин вряд ли уже когда-нибудь будут увековечены на Горе Памяти в Иерусалиме. Супруги Петр и Любовь Радько и Анастасия Трофименко - одни из таких безвестных...

Но 2021 год знаменателен и еще несколькими датами. Во-первых, в июне исполнится восемьдесят лет с начала Холокоста на территории бывшего СССР. Трагедия эта унесла более 2,5 миллионов жизней, и многие из убитых и замученных, увы, навсегда останутся безымянными. Во-вторых, в октябре 1941 года, восемьдесят лет назад, было начато «решение еврейского вопроса» в Одессе. Буквально с первых дней оккупации города евреи почувствовали на себе всю беспощадность новой власти. Период этот сегодня отмечен многочисленными местами скорби: в Одессе, Богдановке, Доманевке, Акмечетке, Мостовом, Лидиевке и других городах и селах, располагавшихся на территории бывшего губернаторства Транснистрия, установлены мемориалы и памятные знаки... Более двухсот тысяч евреев были уничтожены там во время войны только лишь потому что они - евреи.

Первые колонны евреев в сторону Богдановки и Доманевки по так называемой Дороге смерти отправились из Одессы в конце октября. Вероятно, это были уцелевшие после «акции» в Дальнике и часть заключенных из одесской тюрьмы. В дальнейшем, после образования гетто на Слободке, колонны евреев по Дороге смерти шли ежедневно...

В одной из таких «октябрьских» колонн шла и мама Тамары Яковлевны Трофименко, Лидия Александровна Пиленко со своим первенцем Исааком. К сожалению, Лидия Александровна рассказывала дочери о тех страшных событиях немного - не хотела, да и боялась, наверное, ворошить прошлое. Но сохранились воспоминания Семена Штаркмана - в то время двенадцатилетнего мальчишки, тянувшего на саночках в той же колонне младших братика и сестричку и свидетельство пятнадцатилетней жительницы села, а впоследствии Праведницы народов мира, Надежды Гнатюк.

Массовые облавы на евреев начались в Одессе после взрыва комендатуры на улице Маразлиевской, 22 октября. В течение последующих дней евреев выгоняли из квартир и колоннами гнали в одесскую тюрьму и местам «акций». С. Я. Боровой в рукописи «Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской оккупации» писал: «Во второй половине дня 23 октября евреев начали тысячами сгонять в тюрьму». 24 октября: «Десятки тысяч евреев - мужчин, женщин, стариков, детей - сгонялись под конвоем в тюрьму и двигались «добровольно», вдоль увешанных трупами улиц в Дальник, подгоняемые полицейскими. Больные, слабые, калеки, не выдерживающие темпа движения, пристреливались тут же на месте. Весь длинный путь к тюрьме и Дальнику был усеян мертвецами. Конвоиры здесь же, по дороге, грабили обреченных на гибель людей. Тысячи людей, следуя мимо первого и второго еврейского кладбища, вливались во двор старой одесской тюрьмы, за ними закрывались ворота. И этим кончалось всё... Другой поток, двигаясь через Молдаванку и бесконечно длинную Дальницкую улицу, шел на Дальник».

Одна из очевидцев тех событий, Сара Зицер-Векслер в книге Л. М. Дусмана «Помни! Не повтори!» (2001 г.) вспоминает: «23 октября нас выгнали из дома. Мать попала в первый этап. Их гнали в Дальник, но там жители не пожелали оставить на их территории жидов, и их погнали в Богдановку (вероятно, речь идет об оставшихся в живых после «акции» в Дальнике евреях, уже пришедших в село, а не «прощенных» по дороге – В. К.). Впоследствии практически все они (более 20 тысяч человек) были расстреляны в Богдановке в декабре 1941 года. Оставшихся в живых потом перевели в Доманевку, где уже были люди, которые попали во второй этап, частично оставшиеся после

расстрела в Одесской тюрьме» (вероятно, мама и брат Тамары Яковлевны были в их числе – В. К.).

Некоторые подробности из жизни узников в Доманевском гетто, в частности, и приблизительную дату расстрела Лидии Александровны с сыном, мы знаем. В этом очерке использованы воспоминания С. Штаркмана и Н. Гнатюк, опубликованные в книгах «Дорога смерти» (Одесса, 2003 г.) и «Боль сквозь годы» (Одесса, 2005 г.), а также данные из книги «Праведники народов мира. Праведники Украины, спасители: Николаевская область» (Николаев, 2016 г.).

И, слава Богу, живы еще люди, помнящие имена спасителей мамы и брата Тамары Яковлевны: Петр Радько с женой Любой, рискуя жизнью, не только не выдали найденных в свинарнике беглецов, но и переправили их ночью к «надежной» знакомой - Анастасии Леонидовне Трофименко, которая и прятала их у себя в доме на протяжении всей оккупации. Но пусть лучше историю своей мамы расскажет дочь. Это воспоминание-боль, которое без слез читать невозможно...

#### ***Тамара, г. Одесса.***

- Я родилась после войны, после Победы, в 46-ом году, 15 мая. Но историю моей мамочки могу рассказать... Это её... Воспоминание-боль... Они жили в Одессе, на Пироговской, 5. В октябре 41-го года ее выгнали с грудным ребенком, моим старшим братиком Изей, из дома и этапом отправили в Доманевское гетто. И как она осталась жива, как пережила все это, и как ребеночка сохранила, я до сих пор не понимаю... А ведь ее расстреливали... И спасла ее одна женщина - схватила за руку и толкнула в яму еще до выстрела. А ночью на рассвете они выбрались из этой ямы... И мамочка вспоминала, как хватались, цеплялись пальцами за эту... замерзшую, липкую от крови землю... И как разошлись потом с той женщиной в разные стороны, и она даже имени ее не спросила... Так всю жизнь и вспоминала – «ТА женщина...»

Мама тогда пошла в село. И у крайнего двора зашла в сарай... А может, это был свинарник, не знаю. И был в том сарае поросенок, а в корыте у него лежал недоеденный кабачок... И мама съела этот кабачок и легла, прижалась с ребеночком к поросенку, чтобы согреться... В эту грязь легла, представляете? А утром зашел в сарай хозяин. И мамочка вскочила, стала просить:

- Не выдавайте! Христом Богом молю, дяденька, не выдавайте!

И тот в ответ, чуть не плача:

- Господи, дівчина, як же це? Як же? Нас же всіх постріляють... В мене ж в самого трое дітей і мати старенька...

А потом ночью отвел ее к бабушке Насте, та жила на соседней улице, вроде как на краю села (на улице Радянській), и у нее было четверо детей... Понимаете, легче было их там спрятать... И маму там переодели, повесили ей на шею крестик, и стала она не Лия Пиллер, а Лида Пиленко. А Изя стал Толя, но это уже потом... А тогда, наверное, называли его Тоня или еще как-то, вот, не спросила у мамы, не знаю... Но как-то же его называли, как девочку называли, потому что мама рассказывала, одевали его в платьишко байковое и косыночкой, так низенько, личико завязывали, чтобы не видно было, что это мальчик... А если немцы или румыны во двор заходили, мама с братиком быстро на печку или куда там ложилась и сверху тряпьем укрывалась. И бабушку, если спрашивали: «Кто такие?», она: «Больные тифом...», - отвечала...

Жили они в постоянном страхе... Все время боялись, что кто-то узнает и сдаст... А однажды... Зашел в хату румын. Посмотрел, Наташа - старшая дочка бабушки Насти, стояла, Изя, он же тоже, как девочка, в платьице и платочком повязанный, Ганночка - самая младшая и Леня с Яшей - сыновья...

- Когда это ты столько детей нарожать успела? Что, девки одни? - спросил.

- Нет. Вон, два сына, - бабушка отвечает.

А Ганночка красивая была... Волосы у нее были густые-густые... И румын тот вдруг схватил Ганночку, выскочил из хаты и... побежал огородами... Подняли, конечно, крик, догнали его, девочку забрали... А он плакал потом:

- У меня, - говорил, - дочка дома осталась такая же. Я ничего б ей не сделал... Я б ее не обидел... Я только посидеть с ней хотел...

И все люди вокруг, кто стоял и слушал, тоже плакали...

Дожили мамочка с братиком до Победы... Спасли их люди... А муж мамы, отец Изя, не дожил... Звали его Овсей Исаакович, фамилия - Горенман. Он был старше мамы на шестнадцать лет.

Мама моя родилась в 1918 году. Где-то, в каком-то селе, в Херсонской области. И папа мамин, мой дедушка, я имен их не знаю, к сожалению, был рассержен, он сына хотел, а тут девочка! И не забирал бабушку с мамой из роддома, пока та

сама, шесть дней уже прошло, не вернулась. Пришла домой, зашла в сарай и отравилась крысиным ядом. А дедушка не знал ничего, потом уже услышал плач ребенка, зашел в сарай - и все понял. Дедушка, конечно, себя очень корил и простить себе не мог, но жизнь, она же продолжалась... И мамочку вскоре отдали в детдом, а дедушка несколько раз женился, но ни одна из его жен не хотела принимать сироту, и мама до семнадцати лет «кочевала» по интернатам, а потом поступила в кредитно-экономический техникум в Одессе. И там на нее обратил внимание Овсей Исаакович. Он преподавал в техникуме математику, и мама, худенькая, маленькая, с густыми длинными косами и скромной улыбкой, ему, видно, понравилась. Мамочка была плохо одета, и однажды он подошел к ней и сказал:

- Приходите к нам домой, мама подберет вам что-нибудь из одежды...

И мамочка пошла. А потом ее пригласили на какой-то праздник, затем еще по какому-то поводу, и так, знаете, они стали дружить и общаться. В 40-м году, в ЗАГСе возле Оперного, они поженились, а 3 января 1941 года у них родился сыночек Изя, Исаак.

Жили они хорошо. В доме на Пироговской, 5, я говорила уже, была у них хорошая, прекрасно обставленная квартира... Пока... не началась война... Я не знаю, почему они остались в Одессе... Овсей, муж мамочки, наверное, пошел в ополчение... Он служил в порту, в противовоздушной обороне, и днем 15 октября, когда последние советские войска покидали Одессу, прислал мамочке записку, что они оставляют город, но взять ее с сыном он, увы, не может... Что случилось дальше с Овсеем, мы не знаем... Потом, когда братик вырос, он пытался найти о нем хоть что-то, но нет... Пропал человек, бесследно пропал...

(В обобщенном банке данных «Мемориал» обнаружены сведения о пропавшем без вести Гореман Овсее Исааковиче, родившемся в 1906 г. в селе Ободовка Винницкой обл. Овсей Исаакович был призван в РККА в Кагановичском р-не (в настоящее время Приморский р-н) г. Одессы в июне 1941 г. Красноармеец, солдат, член ВКПб. Пропал без вести (данные из списка, уточняющего потери за июнь 1944 г.). В графе «Родственники» указана сестра, Гореман Ида Исааковна, проживающая по адресу: г. Одесса, Каретный переулок, 29/16. Учитывая то, что в документах военного времени часто допускались ошибки, в том числе и в написании фамилий, понять, является ли О. И. Гореман О.

И. Горенманом, родные смогут, сопоставив указанные в донесении сведения с уже известными данными из жизни Овсея Исааковича. Часть сведений об О. И. Горемане приведена также в «Книге Памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. 1941-1945 гг.», Т.1, 1994 г. – В.К.)

...А мамочка с 6-месячным Изей осталась в квартире... И вскоре... к ним, как зверь, ворвался румынский жандарм. Он выстрелил вверх по красивейшей, - знаете, у них висела такая...- очень красивая, из хрустального стекла люстра... И все это стекло полетело вниз, а мама, прижимая к себе сыночка, закричала. И румын... увидел у нее во рту золотой зуб. Он тут же достал из кармана маленькие ножнички, с такими, мамочка говорила, загнутыми кончиками, и показал, чтобы мама сняла коронку. И мамочка тут же сняла, отдала ее румыну, а тот что-то закричал, ударил ее и выгнал из дома. Выгнал раздетой, не разрешил ничего взять с собой...

(На оккупированных территориях румыны не только активно промышляли квартирным грабежом, но и не брезговали снимать «все ценное» с живых людей, причем, иногда они делали это с вопиющей жестокостью и бесчеловечностью. В книге Л. М. Дусмана «Помни! Не повтори!» находим воспоминание члена одной еврейской семьи, попавшей в одесскую тюрьму после облавы в октябре 1941 г.: «Многие женщины не могли снять обручальные кольца и ходили с перевязанными руками, прятали, ведь если румын не мог снять кольцо, он отрубал палец вместе с кольцом или отрезал ухо вместе с сережкой. Приспособились, под кольцо просовывали две-три иголки, смазывали слюной или мылом и кольцо снималось, появились специалисты по снятию. Многих это спасло от увечий физических и моральных». – В.К.)

...И после этого мамочка с Изей попала в колонну, которая шла на Сортировочную... Я вот не знаю... Как она там очутилась? Может, ее арестовали? Не знаю... А потом, мама уже рассказывала, их гнали в Доманевку... Два румына и немцы-колонисты... Где-то пятьсот евреев было в этой колонне... И тех, кто отставал или не мог идти и падал, расстреливали по дороге... А тогда же... Это был конец октября, и было уже холодно... А мамочка была совершенно раздетая, и ребеночек, мой братик, тоже... И люди... Другие люди... Когда колонна шла через какие-то деревни, бросали им кусочки хлеба, картошку, что-то из одежды... И однажды... Одна женщина бросила валенки... И мама словила один, и опустила в него Изю, и так и несла всю дорогу... В валенке... А

еще знаете что? У мамы же от всего этого ужаса, голода и холода не было молока, и она давала Изе сосать губы... И от этого у мальчика был кровавой понос... А у мамочки тут (Тамара показывает на губы) была сплошная рана...

Три дня шли они из Березовки в Доманевку... А когда пришли, их разместили в клубе (в здании бывшей синагоги), и там они находились... А в ноябре 41-го года жандармы и полицией Петр Кузниченко повели мамочку с Изей, вместе с другими евреями, на расстрел. Там, недалеко на горке, рядом с колхозной овчарней, были вырыты большие силосные ямы. И их расстреляли, но женщина, - ТА женщина - спасла их...

И так удачно все сложилось... Немцы же потом, в самом конце... Стреляли сверху, добивали раненых, но мама с братиком лежала под убитыми, и их не задело... И мамочка всю жизнь... Всегда с ужасом и страшной болью вспоминала, как лежала на убитых, мокрых от крови телах... И как зажимала рукой Изе ротик, чтобы тот не заплакал...

Такая вот история... Такая боль... Мамочки не стало в 83-м году. Она всю жизнь проработала в Доманевке, главным бухгалтером на Маслосырзаводе... В Одессу так и не вернулась - всё чего-то боялась... Вышла замуж потом за украинца, за моего папу, Трофименко Якова, сына бабушки Насти, родила еще двух детей: Леню и меня...

Папа мой 27-го года. Ему, когда началась война, было... сколько это получается? Четырнадцать лет. И немцы, как пришли, забрали его в трудармию, и он в Румынии рыл окопы. А затем во время бомбежки ему в ногу попал осколок, и он потом очень долго болел, мучился из-за этого... После войны папа вернулся домой, и они с мамой поженились... А знаете? Мамочка как-то, еще в селе румыны стояли, сказала бабушке:

- Кто меня, нищую еврейку с ребенком, возьмет? Не будет у меня уже больше ни мужа, ни детей...

А та ей ответила:

- Возьмут, вот увидишь! И девочку родишь. Родится она у тебя в середине года, в середине месяца, среди недели, в середине дня.

И действительно, в 46-м я родилась, в мае, 15 числа, в среду, в три часа дня...

## Григорий Барац

*директор Всемирного клуба одесситов*

### Одесса Жванецкого

Мне повезло. В моей жизни был Жванецкий. Впрочем, есть и будет до конца жизни. Ловлю себя на том, что говорю его интонацией, его фразами, порой невольно подражаю его стилю письма. Но можно ли подражать гению! Талант делает лучше всех то, что делают и другие. Гений делает то, чего не делает никто.

Читаю рассказы, миниатюры, эссе, посвящения и фразы Жванецкого, собранные в недавно изданную книгу «Одесса». Вспоминаю - и смеюсь, и плачу, и снова вспоминаю. Как хорошо, что в книге его произведения не датированы. Книга выстроена по такому же принципу, как вел свой концерт Михаил Михайлович, перемежая тексты короткими фразами. Как-то я посмел спросить об этом маэстро. Он ответил лаконично, как всегда: «Я для публики, а не публика для меня».

Знакомство со Жванецким у меня, как и у многих, происходило поэтапно. Первый этап - анонимный. Читаю миниатюру «Дай ручку, внучек» и узнаю миниатюры Аркадия Райкина в телевизоре. Кто тогда знал, что автором легендарных текстов «В Греческом зале», «Ты меня уважаешь» и многих других был Жванецкий? Даже ленинградцы не всегда могли рассмотреть фамилию автора, напечатанную на афише мелким шрифтом.

Читаю и перечитываю «Холера в Одессе». Это второй этап знакомства - заочный. Если сказать, что Дом офицеров был битком набит сидящими по трое на одном кресле одесситами, что взрывы хохота сотрясали стены зала, это не даст представления о восторге и счастье зрителей. И все это - во время эпидемии холеры. Спектакль «Как пройти на Дерибасовскую» в исполнении Ильченко и Карцева шел, к особому восторгу одесситов, без купюр, потому что киевская комиссия Минкульта не смогла попасть в город.

Третий этап – застольный. Познакомились в незабываемом одесском Доме актеров. Он был одушиной не только для актеров, журналистов, художников, писателей, но и для многих людей, которых тяготили лицемерие и

ханжество советской жизни. Капустники, творческие вечера, мини-спектакли, ну и - застолья. Здесь позволяли себе говорить, хотя бы между собой, о наболевшем. Но так, чтобы со сцены... Жванецкий прочитал миниатюру «День - это три по восемь». Цитирую по памяти (ее в книге нет): «Четыре часа дня. Вы выходите на улицу. Замечаете, как прекрасен день. Но поднимите голову – там что-то написано: «Шире размах социалистического соревнования» или «Боритесь за прогресс». С кем бороться, куда бежать? На крыше об этом ни звука...» И это в махровые брежневские времена застоя.

Вы заметили, что, когда Жванецкий читает со сцены свои миниатюры, аплодисменты появляются не сразу? Его зритель – думающий. Его читатель такой же – вышел из зрителя. Его ирония, юмор не всем понятны – знаю и таких. Но это проблема не его, а их. Учитесь. Читайте Жванецкого. У него есть чему поучиться: коленапреклонённому отношению к родителям («Отец мой – врач мой», «Наши мамы», «Мой дедушка»), трепетному и вдумчивому - к детям («Сын – сыну»), сердечному и теплому - к близким («Молитва»).

Он далеко не моралист. Он не религиозен. Но его взгляды удивительно совпадают с Десятью заповедями Моисея.

Его рассказы о животных, которые отдельным блоком опубликованы в книге, настолько трогательны, что невольно видишь в «Кошке Фелиции», «Собаке Даше», «Белке» и особенно в «Собаке Буцыке» людей - с их судьбами и характерами. Но как они совпадают с жизнью, волнениями и переживаниями гениального автора!

Вспоминаю, как в очередной раз мы знакомились в том же Доме актера накануне первоапрельского праздника. Еще советская, страна находилась на переломе. Зазвучали непривычные слова «гласность», «перестройка». Если не ошибаюсь, Михаил Михайлович прочел миниатюру «Ко дню юмора», откуда пошла в народ фраза: «Рынка пока нет, но базарные отношения уже сложились».

На сей раз Михаил Михайлович впервые предложил мне сесть рядом. Невозможно было не воспользоваться таким выгодным положением и не спросить совета. Я показал ему «Дюкастый, портастый, Одесский паспорт» - сувенир Одесского фальшивомонетного двора, придуманного мною со товарищи. Ответ определил дальнейший путь предприятия: «Это обречено на успех!».

Смешной эпизод знакомства Жванецкого со всей моей семьей и друзьями напомнил мне монолог «Не строй в

Одессе надо мной». Праздник в моей новой квартире к полуночи только разгорался. Отмечали не только новоселье, но и приезд мамы Нюси из Нью-Йорка и сына Леши из Москвы. Мама развлекала своих гостей: соучениц по консерватории, коллег по Оперному театру и музыкальной школе - в гостиной. На кухне моя жена Зоя принимала наших друзей. А на крыше веселилась молодежь. Звонок телефона был услышан не сразу. Дрожащий и заикающийся голос охранника произнес: «К вам Жванецкий. Пускать?» Может быть, тогда и родилась у него фраза: «Посмотришь свысока - ослепнешь».

Ему понравился дом. Ему понравились компании. Он любил у нас бывать вместе с Наташей, особенно когда наезжала молодежь. Ему нравились наши застолья, с обилием одесской еды, вкусных напитков и остроумия. Он гурман. Еда и выпивка как поэзия. Трудно, не глотая слюну, читать эссе «Одесса! Еда!» Его реакцию и реплики на шуточные застольные спичи ждали, как приправы к блюдам. И, обычно, они были вкуснее самого блюда, но никогда не обижали «повара».

Не любил анекдоты за столом. Не раз слышал от него: «Их начинают рассказывать тогда, когда не о чем больше говорить». Не любил говорить о политике. В памяти его фраза: «О политике говорят только недалекие люди. Настолько все понятно». Все ждали его тоста, который он не торопился произносить. Слушал. Иногда что-то записывал в блокнотик. А когда поднимался, поражал своей простотой, искренностью и афористичностью. «Я из искренности и правдивости сделал профессию», - кто еще так просто и ясно мог сказать о себе! Его «Огромный тост» - это гимн жизнелюбию и человеколюбию: «Так пьем за то, чтобы было. С кем. О чем. И для кого. Чтобы дома, как в гостях, в гостях, как дома. Тогда, как нынче говорят, есть мотивация для продолжения жизни».

А жизнь его – это количество людей и событий, проходящих сквозь него и вместе с ним. Круг его общения – весь мир. Переполненные залы Москвы, Киева, Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Сиднея – это, скорее, работа. Но работа на сцене - в удовольствие. Он обладал виртуозным природным актерским мастерством и с радостью дарил его публике, напрочь разрушая «четвертую стену» между собой и зрителями.

Но настоящая близость и тепло общения, в которых он нуждался, как в живительной влаге, возникали, когда он

собирал друзей. Раз в году, в августе, в день рождения сына Мити, он собирал, как он выражался, «большой круг». Во внутреннем дворе его дома в Аркадии устраивался стол, длиной напоминая беговую дорожку. Сюда стекались друзья детства, одноклассники и студенческие друзья, коллеги по работе в Одесском порту, продюсеры, режиссеры, актеры и актрисы, бизнесмены, губернаторы и мэры. Здесь закипал в тостовом негласном соревновании тот бульон, в котором Михалыч чувствовал себя лучше, чем рыба в воде. Здесь пролетела из его уст искрометная фраза, вошедшая впоследствии в одну его миниатюру: «Радость – это друзья, женщины и растения. Счастье – когда они вместе».

Главным блюдом этих праздников были «горячие котлеты» – произведения, «испеченные» Жванецким нынешним летом.

- В Москве работаю, в Одессе пишу, - говорил он перед тем, как подать их.

«Средний круг» собирался в меньшем составе, но чаще. Несколько раз за лето - во Всемирном клубе одесситов и в одном из ресторанов после его концерта. Здесь он веселился, радовался, балагурил со своими закадычными друзьями и коллегами, с кем вместе придумал и создал «ВКО», газету «Всемирные одесские новости» и литературный альманах «Дерибасовская-Ришельевская».

Последние лет пятнадцать «средний круг» Михалыч собирал на Днестре, в селе Маяки, за несколько дней до отъезда из Одессы. Это был, пожалуй, самый любимый им праздник общения, который назывался «Баржа».

- Море волнует, река успокаивает, - говорил он, глядя на колышущиеся камышовые берега.

Баржа представляла собой понтон двадцать на пять метров, с крышей из камышовых матов. Под ней – стол во всю длину понтона, со стульями, притащенными из старых кинотеатров. Хозяева этого диковинного плавсредства - местные сельские жители.

Сбор Михалыч назначал с десяти до одиннадцати утра. Те, кто приезжал не в первый раз, знали, что к моменту приезда Михалыча хозяева ставили на стол пятилитровую кастрюлю кипящего украинского кисло-сладкого борща с фасолью, лимоном и болгарским перцем. Рядом, на деревянных разделочных досках, ржаной черный хлеб, тонко нарезанные кусочки сала, подчерёвка, дольки чеснока и

большая миска сметаны. Это блюдо не входило в оплату, а преподносилось за честь принять дорогого гостя.

Жванецкий не остался в долгу: «Мы летим так. В Москве объявляется посадка, в Одессе закладывается борщ. Самолёт взлетает, борщ вскипает. Самолет летит – борщ кипит. Самолет идет на посадку – в борщ нарезается зелень. Натираются помидоры. Самолет садится – борщ заправляется. Добавляются соль, немного лимона обязательно, фасоль. Самолет катится – ставится сметана, нарезается хлеб, очищается чеснок».

К моменту отхода баржи кипит необъятный казан рыбацкой ухи из всех рыб, что водятся в Днестре. Два дюжих парня вносят его на борт.

- К ухе должны притрагиваться только любители. Я ни черта в этом не понимаю и не лезу с советами, пока не попробую. Да и то – больше или меньше перца и соли. Лучше всего уху готовят настоящие, потомственные рыбаки. Они умеют что-то такое, чего повара в ресторанах не знают, - Михалыч говорит это, искоса поглядывая на парней, которые расплываются в улыбках.

Вверх по течению нас тащит допотопный катерок. Его движок тарахтит так, что мы почти не слышим друг друга. Но пока это и не нужно. Все сомлели от воздуха, движения воды, плывущих мимо берегов, горячей ухи и местного вина.

- А теперь по рюмочке коньячка и чашке кофе,- командует Жванецкий, как только катер подходит к островку. Двигатель замирает. На траву раскладывают подстилки. Из припасенных термосов наливается кофе. Говорящая тишина...

Наступает волшебный миг рождения Слова. Жванецкий читает, Жванецкий вдыхает душу в новые свои творения: «Этот дар тебе от Бога. Ты себя им можешь поддерживать и защищать. Он освежает тебя. Он вылечивает тебя. Он делает тебя независимым. Я не знаю, заслужил ли ты его. Всё, что ты приобрел и достиг, не стоит того, что ты имеешь с детства. Через тебя говорят с людьми. Тебе повезло. Ты сам радуешься тому, что говоришь. Ты понятен почти каждому...»

И всё оживает. И воздух, и мысли становятся ярче, прозрачней и светлей.

Всевышний подарил Автору философское, поэтическое видение и уникальный дар короткими, ёмкими фразами создать такой образ, чтобы читатель или слушатель словно прозрел и

увидел мир его глазами. Кредо его литературного метода в его гениальной фразе: «Литература – это искусство избегать слов».

«Узкий круг» - это те, кого он приглашал к своему столу, кого рад был видеть при встречах и расставаниях, кто был первым его слушателем, чье мнение ценил, кто понимал его и поддерживал.

- Одесситы, в основном, талантливые зрители, - не раз говорил он. - Люблю талантливых.

Как сейчас вижу. Мы завтракаем на террасе - над кронами деревьев, над крышами домов. Перед нами весь одесский залив - от Аркадии до порта - и цепочкой стоящие на внешнем рейде корабли. Воздух так прозрачен, что виден противоположный берег Пересыпской бухты. Вдалеке парит одинокая чайка. «Здесь можно просто молчать», - произносит Михалыч и что-то записывает в блокнотик. Может быть, именно в этот момент родилась его чудная зарисовка-размышление «Чайка».

Три года назад, накануне своего дня рождения, Жванецкий позвонил: «Скажи, что ты мне не откажешь». «Мишенька, (к этому времени я мог себе позволить в личной беседе так его называть) ты давно заслужил не только у меня, чтобы тебе ни в чем не отказывали. Но что случилось?» «Нет, ты сначала скажи», - настаивал он. Мне ничего не оставалось, как сказать: «Не откажу». «Так вот, - потеплевшим, довольным голосом сказал он, - идешь директором в Клуб одесситов».

Мне довелось присутствовать на дне рождения Всемирного клуба одесситов 31 год тому назад. Но членский билет я получил только в 2010-м году. Я знал, как трогательно и бережно относится Михаил Михайлович к Клубу. Как к своему ребенку. В поздравлении «К 25-летию Клуба» он пишет: «И все наши эмигранты перестали быть беспризорными. Теперь Одесса, движимая и недвижимая, связаны навсегда!»

Книга Михаила Жванецкого «Одесса» навсегда поселилась на книжной полке Клуба. Издана с неценимым участием Одессита с большой буквы Андрея Ставницера. Проиллюстрирована любимым художником М. М. Жванецкого, членом Президентского совета ВКО, Мишей Ревой. Любовно собрана Натальей Жванецкой из известных и неизвестных широкому читателю произведений. Результат - еще один бриллиант в литературной короне Одессы.

## Кандинский, Калер, «Синий всадник»

На тему «Кандинский и евреи» можно было бы при желании написать даже диссертацию – достаточно вспомнить о том, что в числе его близких друзей были Пауль Клее, Арнольд Шёнберг или гениальный создатель кресла «Василий» Марсель Брёйер. Кто знает, может быть, именно одесское детство дало ему эту «прививку» толерантности – такой естественной для мультикультурного и мультинационального города? И пусть Кандинского несколько раз огульно обвиняли в антисемитских высказываниях, это каждый раз оказывалось неправдой (например, упрёки и наветы Альмы Малер жена Кандинского, Нина, считает следствием отказа Кандинского поддаться её чарам, что вполне реально). Был в окружении Кандинского ещё один иудей, пражский художник Эуген Калер, который, возможно, был бы забыт, не помести Василий Кандинский в легендарном альманахе «Синий всадник» посвящённый ему некролог.

О нём я и хочу рассказать.

«Мы оба любили синий цвет, Марк любил лошадей, а я – всадников». Эта фраза Василия Кандинского знакома, пожалуй, всем, кто интересуется историей искусств. Возникшее в 1911 году в Мюнхене и просуществовавшее всего три года авангардное объединение «Синий всадник» было одним из главных художественных объединений прошлого века. Главным толчком к созданию объединения послужило желание Кандинского выйти за пределы собственно живописи – во-первых, идеи синтеза искусств были тогда чрезвычайно популярны и чрезвычайно близки самому художнику, во-вторых, он хотел найти сподвижников на пути радикального обновления искусства. Ведь буквально в том же году он вышел из состава им же самим организованного Нового Мюнхенского художественного объединения – его эксперименты оказались слишком смелыми, и ладно бы это была только консервативная публика или критика, писавшая о том, что автор «Композиции II» был либо сумасшедшим, либо «опьянен морфием или гашишем». Но даже коллеги по объединению,

не продвинувшиеся дальше умеренного кубизма, были испуганы смелостью Кандинского. Кульминацией стал отказ принять на третью выставку Нового художественного объединения его «Композицию V». Разумеется, о том, чтобы остаться, после такого не было и речи. И Кандинский с Францем Марком задумывают новый, ещё более грандиозный проект. Так возникает «Der Blaue Reiter».

В написанной в 1936 в Париже статье, посвящённой соратнику, Кандинский вспоминал: «Мы с Марком были полностью погружены в живопись, но одна только живопись не могла нас удовлетворить. У меня появилась идея издать “синтетическую” книгу, которая бы стёрла предрассудки, “разрушила бы стены” между разделёнными искусствами, между официальным искусством и искусством недозволенным, которая бы доказала наконец, что главная проблема искусства заключается не в форме, а в содержании. <...> Мне хотелось показать, что разница между “официальным” искусством и искусством “этнографическим” не имеет никакого смысла <...>. Мне хотелось также, чтобы работали рядом художник, музыкант, поэт, танцовщик и т. д. <...> Марк был воодушевлён этой идеей, и мы решили немедленно приняться за работу. Мы работали замечательно, и в несколько месяцев “Der Blaue Reiter” нашёл своего издателя. Он был опубликован в 1912 году. Впервые в Германии в книге по искусству мы показали искусство “дикарей”, “народное” баварское и русское искусство (живопись по стеклу, вотивные изображения, лубки), “детское” и “дилетантское” искусство. Мы опубликовали факсимильную партитуру “Herzgewachse” Арнольда Шёнберга, музыку его учеников Альбана Берга и Антона фон Веберна, старую живопись рядом с живописью современной. Статьи были написаны живописцами и музыкантами. Делакруа и Гёте подтверждали наши идеи своими высказываниями. 141 репродукция “иллюстрировала” эти идеи. Большой успех книги, особенно среди молодёжи, доказал, что она появилась в нужный момент».

Так же, как и в «Новом художественном объединении», Кандинский стремился объединить в «Синем всаднике» представителей разных стран – Германии, Франции, России. Вместе с ним в объединение пришли его друзья и соратники – Габриэль Мюнтер, Марианна Верёвкина, Алексей Явленский, Франц Марк, Август Маке, Давид и Владимир Бурлюки.

В мае 1912-го вышел первый и единственный номер альманаха. Тираж его был для книги такого характера весьма внушительным – 17 тысяч экземпляров. Разошёлся альманах стремительно, поэтому в начале 1914-го был издан увеличенный дополнительный тираж со специально написанным издателями предисловием. Готовился к выходу и второй альманах, к нему даже было написано введение. Но начавшаяся Первая мировая война навсегда похоронила эти планы. Русские участники объединения вынуждены были уехать из Германии, немецкие ушли на фронт. Франц Марк погиб 4 марта 1916 года в ходе Верденской операции, Август Макке погиб ещё раньше, 26 сентября 1914 года, в возрасте двадцати семи лет; его останки так не были найдены...

Но в декабре 1911-го никто из них не мог представить, что такое вообще возможно. Главной битвой была борьба за новое искусство. Когда 2 декабря 1911 жюри Нового художественного объединения отказалось принять картину Кандинского для зимней выставки, Франц Марк написал своему брату: «Жребий брошен. Мы с Кандинским покинули ассоциацию. Теперь речь идёт о том, чтобы бороться вдвоём: редакция “Синего всадника” будет отправной точкой для новых выставок. Думаю, что это очень хорошо. Наша цель – стать центром современного движения».

Сразу же, второпях, была организована первая выставка, носившая название «Выставки редакции “Синего всадника”». Она открылась в галерее Генриха Танхаузера и работала с 18 декабря 1911 по 1 января 1912 года. К её открытию вышла из печати книга Кандинского «О духовном в искусстве». На выставке были представлены сорок четыре работы русских, французских и немецких художников – Кандинского, Марка, Макке, Мюнтер, Давида и Владимира Бурлюков, Елизаветы Эпштейн (познакомившей Кандинского с Робером Делоне), самого Делоне и его любимца Анри Руссо, Генриха Кампендонка, Арнольда Шёнберга, увлёкшегося тогда живописью, и других. Выставка эта путешествовала потом по Германии вплоть до 1914 года, а после, с лёгкой руки знаменитого издателя, критика, галериста Герварта Вальдена, была показана и в других странах. А спустя три месяца, в марте 1912-го, в мюнхенской галерее Ханса Гольца открылась вторая выставка, на которой были представлены графические работы и акварели. Помимо перечисленных выше, в ней приняли участие Михаил Ларионов, Наталья Гончарова,

Казимир Малевич, Ханс Арп, Морис Вламинк, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Андре Дерен, Пауль Клее, Эмиль Нольде, Макс Пехштейн, Альфред Кубин и другие. На обеих выставках были показаны и работы пражского художника Эугена Калера – несмотря на то, что 13 декабря 1911 года, в возрасте двадцати девяти лет, он умер от туберкулёза.

Ещё во время первого знакомства с альманахом «Синий всадник» - а он представляет собой довольно пёстрый набор разнородных текстов, в числе которых важнейшая статья Кандинского «О форме» (фактическое продолжение статьи «Содержание и форма», опубликованной в каталоге прошедшего в Одессе, Николаеве, Херсоне второго «Салона» Владимира Издебского) и его сценическая композиция «Жёлтый звук», статьи Франца Марка и Давида Бурлюка «Дикие Германии» и «Дикие России», статья Леонида Сабанеева о «Прометее» Скрябина, Фомы Гартмана «Об анархии в музыке» и Эрвина фон Буссе о Робере Делоне – я был немало удивлён, увидев там и краткий некролог, посвящённый Эугену фон Калеру. Некролог был написан самим Кандинским. Вот он полностью:

«13 декабря в Праге скончался Эуген Калер, немногим не дожив до 30 лет. Смерть с нежностью приняла его в свои объятия, без страданий, без боязни, без безобразного. Хочется сказать, Калер скончался по-библейски.

Кончина художника была такой, как и его жизнь.

Он родился 6 января 1882 года в Праге в состоятельной семье. На протяжении пяти лет посещал гимназию, затем торговую академию, что нам сегодня кажется почти невероятным: так далёк был Калер по складу души от всего практического и так глубоко был погружен в мир своих сновидений. Уже в 1902 году как изучающий искусство Калер должен был отправиться в Мюнхен, однако заболел воспалением почек и его оперировали в Берлине. После этого первого грозного звонка с того света он смог полностью посвятить себя изучению искусства. Два года в Книрр-школе, один год - в Мюнхенской академии у Франца Штука, год обучения у Хабермана, и Калер почувствовал себя достаточно сильным, чтобы искать дальше свой путь в одиночестве.

Его внутренний голос был так чист, ясен и точен, что Калер полностью мог на него положиться. Путешествия в различные страны (Париж, Брюссель, Берлин, Лондон, Египет, Тунис, Италия, Испания) в действительности были

для него всегда одной лишь поездкой в одну и ту же страну. В один и тот же мир, который следует назвать миром Калера. Где бы он ни был, давала о себе знать та же самая болезнь, и Калер должен был неделями оставаться в постели. Но при этом он оставался полностью самим собой: лежа рисовал и писал свои сновидения, очень много читал - шла удивительно интенсивная внутренняя жизнь. Так, например, в Лондоне появилось множество истинно калеровских акварелей, одни эти акварели могли быть достаточным результатом жизни одного художника. Точно так же было и в Мюнхене зимой 1911 года, где он, находясь в санатории, с температурой писал большую серию удивительных акварелей. Так продолжалось и дальше: переезжая из одного санатория в другой, до последнего дыхания Калер оставался верен себе. И его смерть была так же прекрасна, как и его жизнь.

Мягкая, мечтательная, радостная душа Калера с несколько чисто иудейской ноткой - внятной мистической печалью - испытывала страх лишь перед одним - перед "неблагородным". Его в высшей степени возвышенная душа кажется чуждой нашим дням. Кажется, что эта душа была послана с тайной целью из библейских - в наши времена. Кажется, что вновь добрая рука пожелала освободить её от наших времен.

Калер оставил множество живописных работ, акварели, рисунки, офорты.

Примерно полтора года тому назад в Мюнхене в Современной галерее Танхаузера состоялась небольшая коллективная выставка, принятая, как обычно, критикой свысока и с поучающими указаниями.

После смерти Калера было обнаружено много глубоко прочувствованных стихов, о которых он никогда не говорил».

Такой эмоциональный текст показался мне настолько необычным в программном сборнике, определившем одно из направлений развития искусства в прошлом веке, что я решил побольше узнать о Калере. Но, собрав первоначальную информацию, надолго ушёл в работу над другими темами. И вдруг совершенно неожиданно, работая над циклом статей об одной из величайших художниц прошлого века, Соне Делоне, я увидел среди ранних её портретов и портрет Калера.

Это было знаком. И буквально на следующее утро я уже ехал на Новое еврейское кладбище в Праге. То самое кладбище, где похоронены Франц Кафка и его семья.

Была ранняя весна, на улице было туманно, промозгло и сыро, но для вечнозелёных растений, высаженных на кладбище, такая погода, казалось, была самой подходящей. Найти могилу Калера было делом непростым. На табличке у входа на кладбище были указаны лишь самые известные захоронения. Само оно, громадное, было совершенно пустынным, любые звуки таяли в тумане, в нём же таяли очертания надгробий. На моё счастье, в сторожке у входа дежурил смотритель. Возраст его был весьма преклонным, он плохо видел и слышал, но в конце концов выудил из компьютера номер участка, на котором была похоронена семья Калеров. Через несколько минут я уже был у стены, возле которой возвышалось огромное чёрное надгробие с надписью «Familie M.B. Kohn». В семейной могиле похоронены Анна Кон, Бернард Кон, Эуген Калер, Макс Калер, Оттилия Калер. Под именем Эугена выбито в камне его стихотворение – о нём немного позже.

Евгений фон Калер родился как Евгений Кон. Вся семья богатого предпринимателя Макса Кона сменила в 1894 году (по некоторым данным – несколько позже) фамилию на Калер. Его отец, самый успешный из трёх братьев (кроме него, в семье торговца зерном Бернарда Кона и его жены Анны родились Рудольф и Арнольд) был президентом Пражской фондовой биржи, председателем правления Unionbanka и компании Měďárna Rakousko, членом совета директоров нефтяной компании Schodnica. Матери в наследство достался один из крупнейших чешских сахарных заводов. Калеры были известны своей благотворительностью, покровительством художникам и писателям. У них была роскошная вилла в пражском районе Бубенеч и свой (купленный в 1900 году) замок Свинарже, в районе Бероуна. Туда к Калерам приезжали Макс Брод, Франц Верфель, Вилли Новак. Замок оставался в собственности семьи до 1940 года.

За свои выдающиеся заслуги Макс Калер был награждён Офицерским крестом ордена Франца-Иосифа, а в 1911 году посвящён в рыцарское звание – к фамилиям всех членов семьи добавилась приставка «фон», он получил рыцарскую грамоту, собственный герб и стал именоваться Ritter von Kahler. У Макса Калера и его жены Оттилии (в девичестве Бонди) было четверо сыновей – Рихард, Феликс, Эуген и Виктор. Рихард умер в семилетнем возрасте, Феликс и Виктор после смерти отца в 1919 году управляли семейным делом вместе с матерью (Оттилия Калер умерла в 1940

году). В 1938 году, трезво оценивая ситуацию, оба брата эмигрировали в США. Всё имущество семьи было в 1940 году конфисковано нацистами.

Но в начале прошлого века, когда Эуген Калер уехал в Мюнхен, чтобы учиться живописи, такого не мог себе представить никто. Судьба благоприятствовала молодому человеку, который искал себя в искусстве, он не нуждался в средствах и мог путешествовать и заниматься любимым делом. Но... С раннего детства у него начинаются проблемы со здоровьем. Помимо болезни почек, о которой пишет Кандинский, у него очень рано развился туберкулёз. Болезнь вынуждала уезжать на лечение в страны с сухим климатом, поэтому важную часть в творчестве Калера занимают ориентальные мотивы.

До Мюнхена Эуген Калер изучал живопись дома, в Праге, у Генриха Якеша. В 1901 году он уезжает в Мюнхен, где посещает сначала частную школу Генриха Книрра, а 30 октября 1903 года поступает в Мюнхенскую академию художеств, в класс Франца фон Штука. Параллельно с этим он берёт уроки у знаменитого участника Берлинского сецессиона Гуго фон Хабермана. В 1905-6 годах Калер живёт в Берлине, и в том же 1906 году уезжает в Париж, где много пишет и на пленэре, и в студии, в первую очередь обнажённую натуру, копирует работы классиков в Лувре. Если в начале своего творчества Калер находился под влиянием Мане и старых мастеров – Веласкеса, Эль Греко, Тициана, а во время учёбы писал вдохновлённые Гойей и Бёрдслеем гротескные и фантастические композиции, то в Париже он особенно интересовался Делакруа и постимпрессионистами – Сезанном, Ван Гогом, Гогеном.

Очень быстро он заводит множество ставших впоследствии знаменитыми друзей, среди которых были Жюль Паскин, Оскар Молль, Елизавета Эпштейн и Соня Терк, которая вскоре выйдет замуж за Робера Делоне. Эуген Калер становится завсегдатаем знаменитого монпарнасского «Кафе дю Дом» – обители творческой молодёжи, молодых политиков левой ориентации, коллекционеров и торговцев произведениями искусства. Достаточно упомянуть, что посетителями кафе были Хемингуэй и Генри Миллер, Макс Эрнст и Эзра Паунд, Ленин и Пикассо, Поль Гоген и Моше Кислинг, Хаим Сутин и Модильяни. Калер демонстрирует свои работы на Осеннем салоне и Салоне независимых. Именно тогда Соня Делоне пишет его портрет – в 1906-1908 годах она активно ищет

себе моделей среди друзей, в первую очередь среди художников. Эугену Калеру в какой-то степени повезло – после этого периода Соня уже не писала портретов, и он буквально оказался в нужном месте в нужное время.

Туберкулёз давал о себе знать всё сильнее. Зиму 1907-1909 годов художник провёл в Египте, зиму 1909-1910 годов – в Тунисе, Алжире и Испании. Во всех поездках он много работает, и в работах этих лет сквозь очевидное увлечение фовизмом просматриваются зачатки экспрессионизма – стиля, который вскоре станет визитной карточкой немецких художников. В 1910 году Эуген Калер едет в Лондон, а затем – снова в Мюнхен, где присоединяется к «Синему всаднику».

1911-й, последний год его жизни, стал для него самым успешным. Сначала ряд написанных на Востоке работ были показаны на выставке «Нового художественного объединения», затем состоялась его первая персональная выставка в Moderne Galerie, которой руководил знаменитый коллекционер Генрих Танхаузер (об уровне художников, представленных в галерее, говорит тот факт, что в конце 1912 года именно у Танхаузера состоялась первая в Германии ретроспективная выставка работ Пабло Пикассо), а вскоре отец получил рыцарское звание, и все члены семьи смогли добавлять к своим фамилиям приставку «фон». Готовилась и «Выставка редакции “Синего всадника”», в которой он участвовал. Но... За пять дней до её открытия Эуген Калер умер.

Те самые прочувствованные стихи, о которых писал Василий Кандинский, обнаружил двоюродный брат художника, Эрих фон Калер. Они были опубликованы в 1914 году издательством Roeschel&Trepte крошечным тиражом в сто экземпляров под названием *Sinn und Gesang*. Сейчас это библиографическая редкость. Эрих же вывез большую часть живописного наследия брата в Америку – уже после состоявшейся в 1931 году в пражском «Рудольфинуме» первой ретроспективной выставки его работ. До этого члены семьи организовали ещё несколько выставок работ художника – в 1913 году в галерее Митке в Вене, в 1921 – вновь у Танхаузера в Мюнхене, затем - в галерее Поля Кассирера в Берлине.

После смерти Эриха часть архива Эугена Калера выкупил базирующийся во Фрайбурге Morat-Institut. Так они снова оказались в Европе. Уже в наше время о забытом было художнике вспоминают всё чаще – выставки его работ состоялись в 2006-м и 2011 годах в художественной галерее

в Хебе, а в 2020 году – в областной галерее города Либерец. Сейчас его работы можно увидеть в музее Принстонского университета, мюнхенской галерее Lenbachhaus, Национальной галерее и Еврейском музее в Праге. К сожалению, целый ряд работ, находившийся в немецких и австрийских музеях (Мюнхенской Новой пинакотеке, Художественного музея в Касселе и других) были утрачены в годы борьбы нацистов «с дегенеративным искусством». Вдобавок Калер был евреем...

Нельзя не сказать несколько слов об Эрихе фон Калере. Он был не менее знаменит, чем двоюродный брат. Эрх изучал философию, литературу, историю и историю искусства, затем социологию и психологию в Мюнхенском университете, Берлинском университете, Гейдельбергском университете и университете Фрайбурга. Докторскую степень получил в 1911 году в Венском университете. В 1933 году, лишённый гражданства нацистским режимом, уехал в Англию, а в 1938 году – в Соединённые Штаты. Там он преподавал в Новой школе социальных исследований, колледже Блэк-Маунтин, Корнеллском и Принстонском университетах. Много лет дружил с Альбертом Эйнштейном, Томасом Манном и Германом Брохом. Именно в доме Калера в Принстоне Брех писал свой роман «Смерть Вергилия». Круг друзей Калера стали позже описывать как Kahler-Kreis – в него, кроме упомянутых выше, входили Эрвин Пановский, Эрнст Канторович, Курт Гёдель, Хетти Гольдман и художник Бен Шан.

Впечатляющий список.

К счастью, никто из большой пражской семьи Калеров не погиб от рук нацистов. К счастью, все они смогли реализовать свой потенциал. Жаль, что Эуген Калер сгорел от туберкулёза в самом начале своего взлёта.

*Ты показал мне облик благородного покоя,  
Теперь я видел в этой жизни всё,  
И окончательно увидел я тот берег,  
Куда пристанет лодка бедная моя.  
Возможно, ты явился слишком поздно.  
Но нет, увы, уже пути назад.  
Мне остается лишь одно – как Моисей,  
Потомков всех окинув взглядом,  
В Земле Обетованной умирать.*

Эти строки Эугена Калера, написанные им в 1910 году, когда он уже предчувствовал близкую смерть, высечены на семейном надгробии.

«Кажется, что эта душа была послана с тайной целью из библейских - в наши времена. Кажется, что вновь добрая рука пожелала освободить её от наших времен».

Похоже, Василий Кандинский был прав.



В импринте «FLAUBERIUM» в серии «EXCLUSIVE PROSE» готовится к выходу книга Полины Иванушкиной «Проводи меня до Забыть-реки». Героиня одноименного романа, одинокая молчаливица по кличке Святая, движется в медленно тянущемся поезде на север, рассказывая невидимому собеседнику свою историю. Весь долгий век страхась жить, она попутно принимала в свои руки утекающую жизнь тех, к кому приходила. Так оттаивало ее собственное бытие и происходило обретение и потерянного имени, и подлинного смысла существования. «Проводи меня до Забыть-реки» – роман о вочеловечении. О том, что жизнь бесконечно ценна, несмотря на то что конечна. В маленьких новеллах, продолжающих книгу, любовь идет бок о бок со смертью, а конец всегда оборачивается началом. Новой истории.

## Метафизическая паутина

### Далёко с идеей вечности

Согласно И. Бродскому, «причина столь неожиданного взрыва творческой энергии была, повторим еще раз, преимущественно географической».

Возникновение Санкт-Петербурга сопоставимо с открытием Нового Света. Созерцание величества - цемент фундамента его набережных. Город представляет собой *gêverie* - поэтическое видение в процессе сновидения, событие того далёко, которое у Пушкина звучит - далече. Когда такое далёко существует естественно, когда оно не связано с определенным историческим прошлым, суть его - необъятность. Необъятность можно определить как главное философическое измерение этого города. Таким образом, нация видится тут вне географических координат, с некоего географического *Alto* (высота) до полного отчуждения визуального ракурса.

В этой высокой точке географического далёко обитает Утопия, что суть Петербург, пространство «вне» и «над», логово отчуждения. Оно, это пространство, освобождало людей культуры русской от идеи путешествия. Так во времени исполнялось пророчество Пушкина: «Все флаги в гости будут к нам». «Новый город в старой стране» становится «оригинальнее любого американского города», откуда и «новая надежда», восклицал Белинский. Надежда на некий лучший порядок.

Архитектура обретала, таким образом, особую социальную значимость. Пропорции стали добродетелью. Задуманный под знаком северного эллинизма, город приобретает острое чувство формы. Монумент, или, скорее, саркофаг для Царя, который так четко владел идеей вечности и необъятности, что воображал свой город не подвластным разрушению: город может только исчезнуть, а воздух - даже не стекло, а фарфор. Ведь над Азией он, царь Петр, европеец по духу, хотел властвовать «до самых пределов своего необъятного царства, как капитан, который разместил свой капитанский мостик в самом носу корабля».

## Связать несвязуемое

Город - капитанский мостик - метафизическая паутина, город мостов. Архитектурная фантазия ищет метафору: Северная Венеция, Северная Пальмира, Снежный Вавилон. Скорее на ум приходят болота, из которых возник мир, не столько поражающий, сколько воображаемый: неумолимая воля одного человека, мастерство сотен иностранных архитекторов и инженеров, запредельные усилия русских крепостных - строителей мостов. Мостов, пронизанных единым порывом культа идеи. Идеи духа. С восточным качеством созерцания величия. Необъятность, впрочем, склоняет к неподвижности. Петербург при рождении - уже руины. Прошлого и будущего.

Археология праха окутывает ночной город мягким, но густым светом серебра. Грандиозный сценарий, необъятности которого вторят ритмы чередующихся мостов. Паутина, порождающая и поглощающая эхо, и белые ночи, их драгоценное сияние, и туманы, и благородную геральдику их памяти. Ледяная вода в стремительной тишине разматывается из клубка Ладожского озера, огибает крепости и дворцы и, растекаясь меж сорока двумя островами (всего их шестьсот, если считать также отрезки суши между речками и каналами), мощной лавиной уходит в Финский залив. Волны этого набега заметны на расстоянии многих миль от берегов.

Сила течения, долгие льды и мощные ледоходы затрудняли строительство мостов при Петре. Однако не строили их по другой причине. Царь хотел, чтобы его подданные научились навигации. Осенью же и весной, во время ледостава и ледохода, жители невских островов были практически отрезаны от остальной России.

Тем не менее со времени Трезини, первого архитектора и суперинтенданта города, со времени зодчего и скульптора Шлютера, а также Леблона, составившего в 1716 году первый план застройки новой столицы в Петербурге, сплошь равнинном, горизонтальном, без резко выраженных естественных границ, без сквозных железнодорожных линий и наземных участков будущего метрополитена, построено около трехсот мостов. Размах, изначально заложенный в плане Леблона.

Однако первый градостроительный план был рассчитан на время неопределенное: автор интуитивно чувствовал

русскую душу. Он задумал избородить город каналами на манер Амстердама. Город мостов, огромная водная шахматная доска. Посередине от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры - четыре километра Невского проспекта, вымощенного шведскими военнопленными (им вменялось также мести его каждую субботу).

Проспект вкупе с мостами составляет сокровенную сущность петербургского пейзажного пространства. В основе последнего - строгое равновесие горизонталей и вертикалей, причем в чисто горизонтальной перспективе. И не только. На плодородной почве классического наследия северный конструктивизм и орнаментальная духовность Востока взаимно приглушают крайности в синтезе, полном не только гармонического равновесия, но и величия.

Принцип Form Follows Function (форма следует функции) оказывается здесь превзойденным: в каждую эпоху над функциональным превалирует современное, то есть новый надвигающийся дух эпохи.

Мосты выгибаются, как будто острова дельты протягивают руки и осторожно ведут друг друга к устью, к Балтике. Словно ломая эти арки, входят большие корабли, проникая в новые пространства и порождая новые мосты - мосты торговли, что есть сама жизнь. Как небоскребы Нью-Йорка, эти мосты органически выражают архитектурное мышление европейского авантюризма.

Первый, деревянный, был построен в 1706 году, спустя три года после основания города. К 1749 году еще 49 деревянных мостов было перекинуто над каналами, заменив естественные переходы из снега и льда. Порою это были мосты-миражи: во время ледохода их сносило. В 1820 году опоры Исаакиевского моста уже были сложены из камня. Они видны и сегодня, одетые в торжественный гранит, как и вся Нева. Но моста больше нет: в 1916 году он сгорел во время прохода большого судна. Нет больше и понтонных мостов, но деревянные еще сохранились возле Петропавловской крепости, на Кировском острове и Обводном канале.

## **Эхо отражений**

С середины XIX века Нева одевается в гранит. Появляются первые каменные мосты, запечатлевшие в камне переход от роскошного, порывистого северного барокко к строгому

медлительному классицизму. Время в России, как известно, отнюдь не медленно: оно разнообразно. Отсюда непредсказуемый вид города, пронзенного адмиралтейской иглой. Геометрия проспектов идеальна: она зачеркивает навсегда.

Архитектурный пейзаж, ставший творческим сафари для итальянских, французских, немецких художников и строителей, обретает имперский вид только со всемерным умножением всяческого декора. Изобилие и разнообразие пилястр, колоннад, порталов сливается в архитектурном экстазе. Мосты и парки ограждаются изысканными железными решетками, запечатлевшими орнаментальные формулы времени. Среди этого городского нарциссизма, в мифическом белом сиянии ночей, в неверном свете фонарей какой-нибудь прохожий на мосту внезапно понимает, что имели в виду творцы этих переходов и горизонталей. Гигантское зеркало одинокой планеты. Торжественный и монотонный ритм колоннад, пилонов, фонарей продолжен зыбью зеркальной воды. В ней дрожит метафизическая листва Летнего сада, который, как паук, застыл в самом центре мостовидной паутины.

Население Петербурга было нулевым в 1700 году, но в 1900-м достигло полутора миллионов. Вскоре века в России ужались в десятилетия. Времени всегда присуще мифическое измерение, ибо миф - это прежде всего миф о творении. Иосиф Бродский заметил, что петербургские ребята, наблюдая, как буксир борется с балтийским приливом, как замедляет движение огромная стальная челюсть разводного моста, узнавали о бесконечном, о мудрости стоицизма куда больше, чем из математики или апорий Зенона.

Все же математика, инженерия, экономика, всякого рода академическая премудрость не остались втуне.

Проблема типизации остро встала еще в XVIII веке, когда не только экономические, но и специфически архитектурные потребности заставили придать рекам и каналам композиционное единство и строгий порядок.

Из ранних образцов особо интересны Старо-Калинский и Ломоносовские мосты, гранитные башни которых наглядно запечатлели историю этих так называемых мостов-братьев. В начале XIX века появился новый материал - металл. Первый чугунный мост - Полицейский - построен в 1806 году по проекту архитектора Гесте и инженера Фултона. Новые материалы обусловили новые формы. Чугун, в пять раз

более прочный, чем гранит, придавал пропорциям особую, воздушную грацию. Между 1820 и 1830 годами инженеры Политехнического института Базен, Адам и Фретер создают новые мостовые конструкции, выделяющиеся ювелирным совершенством. В 1823 году первый в России подвесной мост соединяет берега Фонтанки. Все новые мосты из стали, алюминия, бетона трудно перечислить. Команды архитекторов, инженеров, строителей продолжают их совершенствовать. Шире становятся пролеты, круче арки, сильнее подъемные мускулы.

Но суть города почти не изменилась. Его пять миллионов жителей по-прежнему не образуют толпы. Петербуржец всегда одинок, когда, стоя на мосту, он ищет отражения в воде золотой иглы Адмиралтейства, замирающей в облаках, словно эхо.

## Сказ о хорошем человеке, или Погубленный талант

*(О книге Татьяны Поздняковой «Не скупа была ко мне судьба...»; Санкт-Петербург, 2021)*

Личные качества человека до некоторой степени влияют на его творческую продуктивность, но отнюдь не обеспечивают её. Творческая продуктивность до некоторой степени влияет на личную судьбу конкретного человека, но отнюдь не обеспечивает счастья или хотя бы благоприятных жизненных обстоятельств. Иными словами: чувствовать себя выдающимся художником, быть выдающимся художником и числиться выдающимся художником – три большие разницы. И чрезвычайно редко все три этих состояния смыкаются в одном и том же человеке. Гораздо чаще в одном человеке присутствует лишь одно из них; намного реже - сочетаются два при небрежении третьим. Это небрежение превосходно создаётся социумом, людским окружением – заказчиком и потребителем того, что со стороны воспринимается как творческие достижения.

Книга, которая послужила поводом для таких умозаключений, называется «Не скупа была ко мне судьба...». Её написала, - а точнее, написала и составила - замечательный петербургский литературовед и историк Татьяна Позднякова. Книга содержит жизнеописание Александра Гавронского и его переписку с Тамарой Петкевич. Солидное издание, выпущенное издательством «Левша. Санкт-Петербург» тиражом в тысячу экземпляров; под твёрдой обложкой – 460 интеллектуальных и трогательных страниц; весит книга 650 грамм – эта информация на случай, если пересылать её придётся; продаётся она в магазине чуть дороже тысячи рублей, но если очень попросить, можно получить скидку. Зачем же её читать? Что за дело нам, нынешним, в большинстве своём обеспеченным и борющимся за жизнь только в рабочее время, до отсидевших и чудом уцелевших в советских концлагерях, до их душевных терзаний и нежных писем? Кто вообще такие эти персоны, упакованные в 650 грамм полиграфической продукции? Ответы на эти вопросы, -

искренние, честные, достоверные и увлекательные ответы, - даёт заинтересованным читателям Татьяна Позднякова.

Александр Осипович (при рождении Исаак Ошеревич) Гавронский значится в «Википедии» как «советский кинорежиссёр». Это верно лишь отчасти – он работал и в театре, как на свободе, так и в зоне. «Историки советского кино, произнося это имя, тут же разводят руками: фильмы не сохранились, судить сложно, если только читать между строк старые рецензии... Судьба Александра Гавронского – одна из самых драматичных судеб кинорежиссёров его поколения: да, он выжил после двадцати с лишним лет каторги, но всё значительное, что было создано им, все его главные фильмы, - и «Тёмное царство», и «Любовь» - уничтожены, то есть перечёркнута его жизнь. Однако прошедшие через ад Севжелдорлага вспоминают его как человека, возвратившего им их собственные жизни. Тамара Петкевич: “Каждому помогал отыскать дорогу к себе. Мы все – поправленные им рисунки”».

Александр Гавронский родился в 1888 году в Москве, в многодетной, но весьма богатой семье. «Документально зафиксированной информации о дате его рождения практически нет. Метрическое свидетельство не сохранилось. Не сохранились и архивы Московской хоральной синагоги, где была когда-то запись о появлении на свет Исаака – младшего сына Ошера Бендетовича (Осипа Бенедиктовича) Гавронского. В архивах ФСБ извечная путаница – небрежные следователи указывают год рождения Гавронского Александра Осиповича то 1890-й, то 1888-й, а то и 1882-й. Правда, число и месяц повторяются – 23 июня. Но есть надгробие на армянском кладбище в Кишинёве. Там выбиты даты жизни: 1888-1958».

О его детстве и ранней юности известно очень немного. «Почти ничего. Почти, потому что в целом – о семье, о родителях, о деде, братьях, сёстрах, кузенах и кузинах написаны сотни страниц. О нём же - мельком лишь незначительные упоминания, да и то не вполне достоверные». Мать – Либа-Мирьям Вульфовна (Любовь Васильевна) Высоцкая. Дед – Вульф Янкелевич Высоцкий, чаеоторговец, купец первой гильдии, - тот самый Высоцкий, о котором после 1917 года говаривали: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия – Троцкого». Уже давно нет на свете Троцкого; фамилия Бродского ассоциируется преимущественно с поэтом – нобелевским лауреатом, но чай Высоцкого до сих пор с удовольствием пьют в Израиле;

во многих домах и кафе и сегодня из чашек с пакетиками чая выглядывает ярлычок с эмблемой «W» – означающей «Высоцкий».

Судьба показательно и даже символично вела юного бонвивана и начинающего донжуана Александра Гавронского от роскошного достатка в молодости к жестокой нищете в старости. Но таковы люди: в старости они вспоминают о молодости гораздо чаще, чем в молодости думают о старости. «Огромный семейный клан – целая династия миллионеров Высоцких – Гавронских – Цетлиных – Гоцев. Они и сохраняли традиции иудаизма, и органично влились в российскую культуру». Эх, нынешним российским олигархам перенять бы этот опыт!..

«Старшие в семье, должно быть, сокрушенно качали головами, когда речь заходила о Михаиле (Мойше) – сыне Рахели Высоцкой и Михаила Гоца. Зато для младших он был кумиром. Александр Гавронский его и в глаза не видел: за два года до его рождения кузен Михаил Гоц был арестован. Тюрма, ссылка в Восточную Сибирь, участие в якутском восстании ссыльных, тяжелое ранение, бессрочная каторга, в связи с состоянием здоровья освобождение по амнистии, самое непосредственное участие в создании Боевой организации эсеровской партии. За границей, прикованный к инвалидному креслу, он оставался, по словам его друга и соратника Бориса Савинкова, «идейным вдохновителем террора». Умер в 1906-м, оставшись для братьев и сестёр романтическим идеалом.

Ну и весёлая была семейка!»

Но веселье этим не исчерпывается. В книге есть интереснейшие материалы о том, как Гавронский стал театральным режиссёром; как в 1920 году поступил в большевистскую партию, но через год из неё вышел; как четверо его родственников: Дмитрий Гавронский, Илья Фондаминский, Абрам Гоц и Александр Высоцкий – оказались депутатами Учредительного собрания, и что из этого вышло. Важная глава посвящена истории молодой дружбы и последующего расхождения Саши Гавронского с Борисом Пастернаком, которого обидела злая и острая пародия, написанная другом.

Подробно и с любовью рассказывает Татьяна Позднякова об этапах работы героя до его первого ареста в 1934 году. «Послужной список Гавронского рос: с 1920 года он уже начальник просветчасти ГУВУЗа (Государственное управление военно-учебных заведений), через год

руководит Шаляпинской студией, с 1922-го подрабатывает в журнале «Красный перец»... В стенах Управления военными учебными заведениями и на заседаниях Реввоенсовета встречался Александр Гавронский с Троцким. Любил потом, между прочим, упомянуть, что как-то играл с ним в шахматы. (Через полтора десятка лет этот факт будет учтён следователями)».

Сомнительное веселье – восстанавливать вехи жизни хорошего человека по следовательским протоколам. Большинство творческих достижений было аннулировано грязной рукой государства. Нельзя же всерьёз считать значительным успехом работу в театральном отделе Моссовета или ГУВУЗе, а тем более в Севжелдорлаге или Озерлаге. А ведь подобная работа продолжалась годами. Понятно, что это была деятельность для элементарного выживания, для пайка, - пусть даже она исполнялась мастерски и вдохновенно.

В 1934 году, 5 января, Гавронский был впервые арестован. И знаете, кто написал на него донос? Бывшая любовница. Среди уникальных архивных документов, приведенных в книге, есть и это заявление в ОГПУ. Этапирован в Москву. В феврале коллегией ОГПУ приговорён к высылке «на три года в Карелию (район Белбалткомбината)». Как пишет автор: «Что уж говорить, конечно, ссыльный – это не зек... Одним из режиссёров в театре Беломорско-Балтийского комбината НКВД стал Александр Гавронский». Сажало ОГПУ, использовало НКВД? Тут нет парадокса: именно в 1934 году ОГПУ вошло в состав НКВД СССР как ГУГБ (Главное управление государственной безопасности).

Любопытно, что дом, в котором прошли отроческие годы Александра, находился на Лубянке и принадлежал страховому обществу «Россия». Да, это тот самый дом, который заняло после революции ВЧК (затем ГПУ-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ). И до сих пор оно там чаёк попивает. Какими буквами это учреждение не шифруй, оно раскинуло неумирающие щупальца по всей России, а уж чем оно сограждан поит – про то люди знают.

Так, не оставило учреждение режиссёра в покое. Что занимательно: в этот раз донос (в числе прочих доносов) написала бывшая знакомая той самой бывшей любовницы-доносчицы на Гавронского, причём по степени вредности для властей оценила и его, и любовницу – одинаково. Это бессмысленно пересказывать, это нужно читать! Причём

приятнее такие документы читать там, где никто не боится ни НКВД, ни КГБ, ни ФСБ...

21 февраля 1937 года Александр Гавронский был арестован в Медвежьегорске и опять этапирован в Москву. Следствие тянулось около года. В 1938 году ОСО (Особое совещание при НКВД) приговорило его к 8 годам лагерей. И поехал Александр Осипович по этапу в республику Коми, в посёлок Княжпогост – управленческую колонну Севжелдорлага. Впереди было тринадцать лагерных лет, но он ещё не знал об этом...

В 1952 году, 23 июля, Гавронский был освобождён из лагеря и отправлен в ссылку в село Весёлый Кут Одесской области. В 1956 году реабилитирован. Переехал к жене в Кишинёв. Умер 17 августа 1958 года.

Корреспондентка Гавронского Тамара Петкевич – автор автобиографических книг «Жизнь – сапожок непарный» и «На фоне звёзд и страха». Она родилась в 1920 году и прожила 97 лет. В 1940 году она уехала вслед за мужем в ссылку в город Фрунзе; а познакомилась с ним в очереди возле ленинградской тюрьмы «Кресты» в 1937-м, когда оба носили туда передачи для своих отцов. Мать и сестра Тамары остались в Ленинграде и погибли в блокаду.

В 1943-м Тамара была арестована, получила семь лет лагерей. В Севжелдорлаге познакомилась с Гавронским, который стал для неё не только режиссёром, но и духовным учителем и другом. Освобождена в 1950 году. Служила актрисой в Сыктывкарском государственном драматическом театре Коми АССР, в театрах Шадринска, Чебоксар (1954-1956), Кишинёва (1956-1960). К этому периоду относится и переписка, приведенная в книге. Возвратилась в Ленинград, в 1967 году окончила театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК); работала в Ленинградском доме художественной самодеятельности заведующей репертуарным отделом. Пристойно, но не шикарно.

Казалось бы, горестные раздумья о загубленных талантах могут быть смягчены тем, что это дела давно минувших дней; да и более значительные персоны бесследно гибли в те времена. Но автор-составитель книги совершает чудо: извлекает на свет свидетельства тончайших и восхитительно богатых переживаний, которые даже в неволе наполняют судьбы высшим смыслом. И сквозь сухие факты биографий проступает и оживает душа человеческая – живая, эмоциональная, бесстрашная и неповторимая.

Видите ли, духовную близость нельзя купить. Её можно имитировать, иногда можно ощутить, - но упаковать и принести домой, а потом развернуть и воспользоваться – невозможно. Она как талант, а талант – как деньги: если он есть – так есть, а если его нет – так таки нет (это я неточно цитирую Шолом-Алейхема). Так вот, у Александра Гавронского был талант – он умел различать и вдохновлять чужие таланты. При этом он предпочитал людей умных и добрых, а злых, глупых и жадных сторонился; даже в труднейших обстоятельствах он сохранял оптимизм и высочайшее бескорыстие, зато все, кто знал его, - его любили. А читать о судьбе таланта в трудных обстоятельствах – увлекательно и полезно; в таком положении может оказаться каждый.

Для меня потрясающе интересными были страницы книги, рассказывающие о щедрой еврейской благотворительности семьи Высоцких-Гавронских: они субсидировали, например, сиротский приют для девочек в Иерусалиме, Высшую школу «Торат Хаим» и комитет воспомоществования еврейским земледельцам и ремесленникам в Палестине. Как палестинскому ремесленнику, мне теперь это было очень приятно читать.

Сравнительная лёгкость бытия сыграла с юным Александром злую шутку: повседневный кропотливый труд в молодости не стал для него волшебной и насущной необходимостью. Вот строки о его жизни в Швейцарии, задолго до большевистского октябрьского переворота: «Александр, так и не получивший университетского диплома, долго оставался вечным студентом. Кажется, попробовал наркотики. Испытал искуса самоубийства. Пережил тяжёлый душевный кризис. Удачно инсценировал болезнь, что помогло ему освободиться от воинской повинности. Привычно насмешничал и острословил. Располагая неограниченными средствами, путешествовал. Пытался писать. Будто чего-то искал, в прямом смысле слова перебирал различные возможности собственной жизни». Ну чем не современный молодой человек из приличной семьи? Невольно вспоминаются строки старинного стишка: «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий...»

Талант шлифуется трудом и обстоятельствами. Любой, даже практически неприменимый. Личность служит лишь фундаментом его; конечно, надёжный фундамент предпочтительней ненадёжного, но никакое качество

фундамента не искупает пустоты дома, воздвигнутого на нём. Александр Гавронский постиг это интуитивно в старости, но задумывался об этом с юности. Вот его собственное свидетельство – фрагмент письма из села Весёлый Кут Тамаре Петкевич в Шадринск 27 декабря 1952 года:

«...Выволоку на свет божий одну мою теорийку, которая давно тому, когда мы с Пастернаком «сверкали» по Москве, казалась целой теорией и импонировала, а ныне годится разве как схема, да и то лишь поясняющая. Как-то я придумал такое: рассматривать творящее человеческое существо, как соединение всего комплекса его внутренней жизни (и назвал это условно статикой) и того, что происходит, когда наступает творчество в узком смысле, разрядка, осуществление, формовка. Этот процесс для ясности и аналогии назвал я динамикой. И тут-то и начинается самое сложное, возможно и не совсем понятное по существу, но очень приемлемое как схема. В сочетании двух начал, статики и динамики с чем часто бывает раскрытие всего секрета личности; поняв содержание первого и пути второго, мы иногда проникаем в самую суть творческого и человеческого «Я». сейчас не интересно, да и не нужно мне вспоминать все философские и даже научно-психологические ухищрения этой теории.

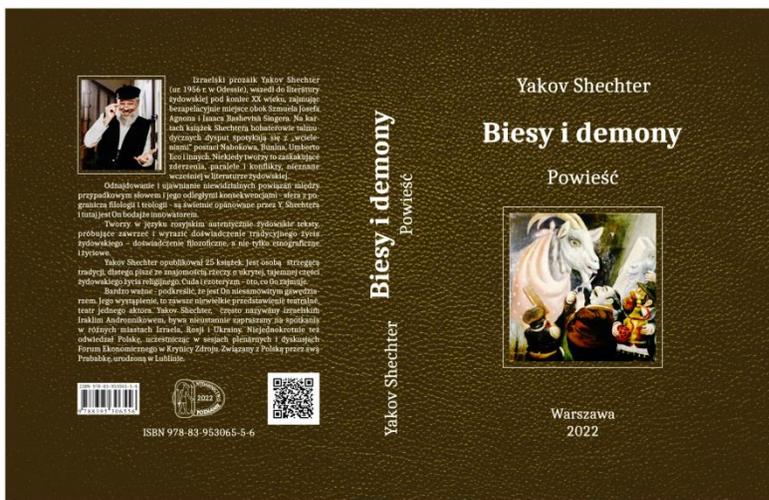
Отделить статику и динамику в человеке бесконечно трудно, потому что эта самая динамика невероятная надувательница. Она обладает порой злодейской способностью самостоятельного бытия, умеет показать созданной ею формой больше, чем это предпосылочно живёт в творящей личности. Почему и как полная ничтожность пишет совсем хорошие стихи, создаёт очаровывающую музыку? Как и почему такое дрянцо, как Бальмонт, писало чудесные стихи, некоторые из которых и теперь ещё эстетически звучат? А Кончаловский, этот самодовольный, самоуверенный и глупый человек, - разве он не настоящий живописец? Ну, а Пастернак. разве он со стороны «статики» может кого-нибудь взволновать, и разве его «динамика» не надувает (я не ругаюсь, я формулирую) многих (я не намекаю, я сам пострадал), в отношении которых у него чисто подмёточное положение?

Во всём этом сложность невероятная, тут мы уже вплотную подходим к самой глубокой и таинственной проблеме «творчества личности», т. е. к тому, что так много объясняет и само на предельной необъяснимости».

Физическое состояние, в котором Гавронский писал эти строки, было довольно тяжёлым; он мог двигаться, только опираясь на табурет. Никаких приспособлений, облегчающих жизнь, никаких ходунков. Хата в послевоенном украинском селе, нерегулярное питание, скудное меню, интеллектуальное одиночество. Такому быту не позавидовал бы самый бедный ремесленник Палестины. Но дух Гавронского неугасим, он ведёт тёплую, обширную и пространную переписку с многочисленными подругами, беспокоясь о творческих проблемах, не имеющих однозначного решения.

«Дорогу к Гавронскому быстро выучили старшекласники местной школы. Даже не очень понятно, что их в нём привлекало – он ведь должен был казаться им совсем старым, да к тому же немощный и хромой. Но юнцы любили рядом с ним покурить. Девочки, как и полагалось, смотрели на него влюбленными глазами и с удовольствием наводили порядок в его жизни», - сообщает книга. А он занимался с ребятами литературой, математикой, немецким. Государственная палаческая мысль об изъятии интеллигентов из культурных столиц и водворении их на периферию неожиданно принесла просветительские плоды...

Бессмысленно, да и не нужно пересказывать любую историю о жизни в Советском Союзе тем, кому эта жизнь известна не понаслышке. Неповторимый, специфический, мучительный, горький и одновременно сладостный этот опыт впечатывается в личность навсегда. Как квашеная капуста под правильным гнётом приобретает особенный вкус, так и творческие личности под неправильным, но неотступным давлением в удушливой атмосфере приобретают особенные черты, позволяющие спасти талант и спастись благодаря таланту. Боюсь, следующему поколению такое будет трудно понять. И ещё труднее в прекрасной России будущего дастся людям понимание того, почему талант следует прятать, подчинять и спасать; почему его нельзя просто использовать и им наслаждаться? Ну что ж, может, это и к лучшему...



Yakov Shechter  
**Biesy i demony**  
 Powieść

Biesy i demony  
 Powieść  
 Yakov Shechter



Brnabndi proukik Yakov Shechter (ur. 1946 w Odesie), wiodni do literatury ydywkiej pod koniec XX wieku, zajmujc benachybujacym miejscem obok Szemela Janki, Agnona i Janasa Basheva Singera. Na kar- iact katek Shechterowi, dobitniecowo "ilino- otyczny" dyktuj spowiadanie na z, zawo- ianiam postaci Szabkowna, Hanka, Dimberto Koci Hana, niekiedy tworzy na daskajone i dzerenia, parabol i konflikty, niezam- wcaniej w literaturze ydywkiej.

Odnajdujone i stawiane innowacyjne powiadz, miedzy przpadkowym sowym i jego odleglymi konsekwencjami - sfera z pro- gmatem filozofii i teologii - w jakim opowiadaniu przez Y Shechtera. Tutaj jest On bodajze innowatorem.

Tworzy w jzyku rozgadajki mitycznej, przobniekajc zakon- probujac nawracz i w rancie, dozwadziczenie trzycyjnego zycia ydywskiego - dotadziczenie filozoficzne i nie tylko etnograficzne i zyciowe.

Yakov Shechter opublikowal 25 ksiazek. Jest osob, strzegajc i mowiac, dajac jz na umiarnosc i mowiac o waznej kulturalnej cze- ci ydywskiego zycia religijnego. Odnajduje i tworzy - sowa do zapo- iazania.

Bardzo wazne - podkazuje, ze jest On niezamownym gwiazda- rzem. Jego wyuzdanie, to zawsze niewybaczone przelanczenie i teatral- nizm jednego aktora. Yakov Shechter, czesto mowiazny i zaskakujc, Janek Anshelmoewicz, bywa mianowicie opozycjony na ydywki w róznych miastach Izraela, Rosji i Ukrainy. Niejednokrotnie tez odwiedzal Polsk, uczestniczac w waznych plebiscytach i dyskusjach Forum Bronowickiego w Krynicy Zdrojnej, Zwiazkowy i Polskie yzyki na Prabhce, urodziny w Lublinie.



Warszawa  
 2022

Петр Люкимсон

## «Новая Касриловка» Якова Шехтера

Трудно передать то нетерпение, с каким я ожидал выхода книги Якова Шехтера «Бесы и демоны». Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь прелестницей лукавой, так и я предвкушал момент, когда возьму ее в руки и окунусь, наконец, в полный ее текст – поскольку до того читал лишь отдельные главы в журнальных публикациях.

Впрочем, каждая из этих публикаций тоже была праздником – давно уже у нас не появлялось такого чисто еврейского захватывающего чтива, построенного на пересечении старых добрых традициях хасидской майсы, великолепного описания еврейского местечка и густо замешанной на мистике и психологии прозе Башевиса-Зингера.

Каждая глава «Бесов и демонов» - это отдельная новелла, в центре которой – своя история, свои герои, своя мистическая и одновременно глубоко реалистичная драма с отлично выписанными, рельефными характерами. И одновременно, все эти новеллы, как камешки в мозаике, постепенно начинают складываться в цельную, удивительно красочную картину.

Русскоязычная литература Израиля, вне сомнения, дала за последние десятилетия немало ярких имен, став неотъемлемой частью русской и израильской литературы одновременно, но Яков Шехтер, наряду с Диной Рубиной, безусловно, являются наиболее выдающимися ее представителями.

«Послужной список» Шехтера включает в себя десятки рассказов, повестей и романов, каждый из которых по своему удивлял и гипнотизировал читателя, шла ли там речь о современном Израиле, об оставшемся за спиной советском прошлом, или о временах куда более отдаленных или даже откровенно вымышленных. Он почти всегда работает на стыке разных литературных жанров и традиций, подчас настолько разных, что они кажутся несовместимыми, но всегда блестяще это совмещает, вновь и вновь удивляя профессиональных литературоведов и критиков. Но читателю, разумеется, нет дела до всех этих литературных тонкостей – он просто окунается в его книги с головой, и уже не готов вынырнуть оттуда, пока не будет перевернута последняя страница.

«Бесы и демоны» в этом смысле отнюдь не стоят наособицу, и все же представляют собой некую новую главу в жизни этого маститого прозаика. В этом романе – насколько я могу судить по тщательно отслеженным журнальным публикациям – Шехтер создал свою собственную Касриловку и Крохмальную улицу – местечко Куров, словно существующее как бы вне времени и пространства (хотя понятно, что это где-то в Польше или в Украине) и, одновременно, вобравшего в себя жизнь всех еврейских местечек на протяжении, как минимум трех столетий.

Как в каждом местечке, здесь у каждого еврея свои проблемы, свои отношения с Богом, - свои сокровенные в том числе, и порой очень интимные. И, как в каждом хасидском местечке, в воздухе Курова витает притягательный аромат тайны; наш реальный мир здесь не просто тесно соприкасается, а попросту то и дело пересекается и переплетается с иными мирами, обитатели которых, те самые бесы, демоны, ангелы или как их там принято называть, - дают о себе знать в обычных делах человеческих. Ну, а если учесть, что каждая глава книги иллюстрируется замечательной, написанной в том же духе картиной Александра Канчика, то получается вообще удивительный симбиоз литературы и живописи, который по-

настоящему можно оценить, только взяв в руки весь роман целиком в виде книги.

По всему этому читатель может представить мое разочарование, когда я узнал, что первое издание «Бесов и демонов» вышло на польском, а не на русском языке, и потому подержать эту долгожданную книгу я могу, а вот прочитать вряд ли. Пусть в силу многих обстоятельств польский - далеко не чужой мне язык, но все же и не настолько родной, чтобы я мог свободно на нем читать.

И все же, в самом факте, что первое издание романа вышло именно на польском, есть своя закономерность, и я не сильно удивлюсь, если следующее выйдет опять-таки не на русском, а на украинском – слишком тесно переплелись не только судьбы, но и культуры этих народов с еврейской судьбой и культурой; и было в этом переплетении многое, чего нельзя никогда простить, но и многое из того, за что нельзя не быть благодарным. И стоит ли удивляться тому, что сам звук польской или украинской речи невольно будит во многих из нас генетическую память, и даже для тех, для кого русский является родным, эти два языка звучат и ближе, и горше, и слаще.

Словом, я искренне завидую польскому читателю, которому предстоит увлекательное путешествие в наш еврейский Куров и встреча с одним из лучших наших мастеров слова. Мне же остается лишь ждать выхода романа «Бесы и демоны» на русском – с тайной надеждой, что это ожидание не слишком сильно затянется.

# **СТИХИ И СТРУНЫ**

**Ведёт рубрику Ирина Морозовская**

## **СИРЕНА ЗА ОКНОМ**

Пытаюсь настроиться, послушать несомненных для одесского номера "Артикля" авторов-исполнителей - раз за разом этому мешают вой сирены за окном и призывы перейти в убежище. Впрочем, второй месяц такое и со всеми прочими моими занятиями случается куда чаще, чем хотелось бы. Трудно сосредоточиться, трудно писать, а труднее всего соблюдать политкорректность. Сирена наша не сладкоголоса, несмотря на название, а пронзительна и надрывна. Бабахи ПВО тоже, скорее, по категории - "Когда говорят пушки - музы молчат". А написать колонку хочется, и давно пора, и приходится фильтровать через тройное сито всё, что на самом деле хочется сказать.

Сейчас, во время войны, мне не так страшно, как могло бы быть, не знаю я твёрдо, что Миша Фурсов на рабочем месте. Ампула его и профессия - Защитник. Не в спортивном смысле. Когда Михаил поблизости - а он не только прекрасный автор и песен на свои слова и музыки на хорошие стихи разных поэтов - чувствуешь себя уютнее, надёжнее и безопаснее, чем без него. Когда мы с Мишей познакомились - он был солистом чудесного, любимейшего и лучшего в Украине трио "Провинция", а жили они в Симферополе. Запись в ютубе любительская, гораздо лучше она на их дисках. У меня есть, а в сети, кажется, нет. Последние - ясное дело, 2013 года. А потом в Симферополе остался только Володя Шишкин. Паша Гребенюк живёт теперь в Холоне с Наташей Гершаник. О нём, как об авторе, по-хорошему отдельную колонку писать стоит. Повезло Холону. Михаил Фурсов выбрал Одессу. И привёз сюда свою любимую, свою пару, Музу свою - Ольгу Артёменко. Мы все так радовались за них, за их выбор. Знакомы мы и с ней давно были по фестивалям Украинским, а возможность подружиться выдалась, когда стали они одесситами. Здесь они родили дочку Руслану. Здесь вырос их дуэт - благо сонастроили и жизни и творчество. Стали организаторами любимого моего фестиваля авторской песни "Нота".

Продолжают петь и писать. О Мише мне честно хочется рассказать куда больше, чем допускают обстоятельства времени и места. Но могу только отметить, какой он потрясающе музыкальный, на разных инструментах умеет. А освоить, похоже, может вообще всё, за что возьмётся. Это при основной профессии, о которой он не рассказывает. Кто узнаёт впервые - удивляется. Олю мне хочется слушать, любясь красотой всего, что ей удаётся. А удаётся ей многое. Сейчас мне верится, что скоро обстоятельства изменятся и перестанут выть сирены и работать ПВО. Что не только Одесса, а вся Украина окажется в безопасности (надеюсь, победительницей). Что фестиваль "Нота" ближайший состоится, когда задумано. И я опять смогу слушать Мишу и Олю, сколько захочется, на сценах и дома. Потому что мало кто в нашем жанре настолько этого достоин.

Последний концерт Оли и Миши онлайн уже:

<https://www.youtube.com/watch?v=1djRclkdBDk&t=8s>

Отделение концерта в Одессе:

[https://www.youtube.com/watch?v=uG5\\_EJPEfr4](https://www.youtube.com/watch?v=uG5_EJPEfr4)

Концерт трио "Провинция"

[https://www.youtube.com/watch?v=w\\_6eKO4qtzQ](https://www.youtube.com/watch?v=w_6eKO4qtzQ)

## **БОНУС ТРЕК**

**Алексей Цветков**

### **Меж двух провалов**

которая сперва стояла слева  
и видит вдруг что тучи развели  
но там в щели не оказалось неба  
а под ногой простыл и след земли

оторопев мы будто по команде  
испуганно застыли на весу  
как сбитые с баланса на канате  
меж двух провалов сверху и внизу

и мысль сама от слабости провисла  
стекая словно воздух в решето  
а слово слева не имеет смысла  
и справа смысла тоже лишено

сон состоял из тени и подсветок  
но совестью истек или стыдом  
и только неба жальче напоследок  
чем почвы где дымил сиротский дом

судьба струной меж двух пустот продетой  
в дыру вестибулярную свела  
за что весь спрос теперь конечно с этой  
кто сле кто спра которая сперва

## Борщ

когда настал конец всему  
пожар окрестных роц  
весь горизонт увяз в дыму  
а мы варили борщ

мы шум снимали поскорей  
мы жгли последний газ  
покуда залпы батарей  
нащупывали нас

я встал и подошел к окну  
где взрывы чуть моргни  
где нам кровавую луну  
развесили они

уже вертелись как юла  
покойники в гробу  
и кто-то вскинув два крыла  
уже трубил в трубу

оскал обрушенной стены  
предсмертный визг котов  
и оклик мне из-за спины  
садимся борщ готов

мы ляжем вскорости костями  
но борщ не пропущу  
не пропадать же черт возьми  
хорошему борщу

## *АВТОРЫ НОМЕРА*

**Илья Рудяк** – писатель, режиссер, сценарист, коллекционер, жил в Чикаго.

**Михаил Поизнер** – писатель и историк, живёт в Одессе.

**Анатолий Контуш** – прозаик, поэт, доктор естественных наук, живёт в Париже.

**Елена Андрейчикова** – переводчик, писатель, сценарист, журналист, радиоведущая, живёт в Одессе и Киеве.

**Ефим Ярошевский** – поэт, прозаик, жил в Германии, г. Котбус.

**Ира Фингерова** – врач-ординатор, журналистка, писательница, живёт в Германии.

**Юлия Верба** – прозаик, драматург, живёт в Одессе.

**Сергей Рядченко** – прозаик, живёт в Одессе.

**Анна Михалевская** – писатель-фантаст, эссеист, рецензент, живёт в Одессе.

**Инна Шейхатович** – культуролог, музыковед, литературный и театральный критик, живёт в Ришон ле-Ционе.

**Рафаэль Гругман** – прозаик, журналист, программист, преподаватель. Живёт в Нью-Йорке.

**Яков Шехтер** – писатель, живёт в Холоне.

**Рита Бальмина** – поэт, художник, живёт в Нью-Йорке.

**Влада Ильинская** – поэт, живёт в Одессе.

**Виталия Бабуцак** – поэт, прозаик, живёт в Одессе.

**Алла Марголина** – физик, поэт, живёт в Бостоне.

**Людмила Шарга** – поэт, прозаик, живёт в Одессе.

**Юрий Михайлик** – поэт, прозаик, живёт в Сиднее.

**Игорь Потоцкий** – поэт, прозаик, живёт в Одессе.

**Илья Рейдерман** – поэт, философ, культуролог, театральный критик, педагог, живёт в Одессе.

**Пётр Межурицкий** – поэт, прозаик, живёт в Ор-Акива.

**Павел Лукаш** – поэт, живёт в Бат-Яме.

**Феликс Гойхман** – поэт, эссеист, живёт в Рамле.

**Семён Абрамович** – поэт, прозаик живёт в Одессе.

**Анатолий Гланц** – поэт, прозаик, писатель-фантаст, живёт в Нью-Йорке.

**Олег Губарь** – прозаик, журналист, поэт, автор книг по истории Одессы, жил в Одессе.

**Феликс Зинько** – журналист и литератор, жил в Одессе.

**Евгений Голубовский** – журналист, общественный деятель, вице-президент Всемирного клуба одесситов, живёт в Одессе.

**Александр Розенбойм** – краевед, журналист, писатель, библиофил, жил в Одессе.

**Виктория Коритнянская** – научный сотрудник Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, писатель, живёт в Одессе.

**Григорий Барац** – директор Всемирного клуба одесситов, прозаик, живёт в Одессе.

**Евгений Деменок** – писатель, искусствовед, культуролог, живёт в Одессе и Праге.

**Эвелина Шац** – двуязычный поэт, эссеист и искусствовед, художник и перформер, режиссёр и сценограф, журналист и культуролог, живёт в Милане.

**Андрей Зоилов** – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

**Петр Люкимсон** – писатель, журналист, живет в Холоне.

**Ирина Морозовская** – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

**Алексей Цветков** – поэт, прозаик, эссеист, переводчик; лауреат Премии Андрея Белого, живёт в Бат-Яме.

## **ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ**

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

### **Ответственный секретарь**

Михаил Сидоров

**Редколлегия:** Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

**Корректор:** Кармит Кособурд

**Сайт журнала:** <http://www.sunround.com/article/>

**Фейсбук:**

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

**Электронный адрес редакции:**

[articreda@gmail.com](mailto:articreda@gmail.com)

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)

(972)-50-9080348 (для заграницы).



## «ФЛОБЕРИУМ»

РЕЗУЛЬТАТОМ ТВОРЧЕСКОЙ  
КОЛЛАБОРАЦИИ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «Т8 RUGRAM»  
И ЛИТЕРАТУРНОГО АГЕНТСТВА  
И ШКОЛЫ «ФЛОБЕРИУМ»

СТАЛИ КНИЖНЫЕ СЕРИИ:

**Серия «Exclusive Prose»:**  
«В стиле, как в музыке, самое прекрасное и самое редкое – это чистота тона». Г.Флобер

**Серия «Mainstream Collection»:**  
«Чтобы удержать сюжет все время на высоте, необходим чрезмерно выразительный стиль». Г.Флобер

**Серия «Egos & Thanatos»:**  
«Литература развивает ум, зато распяляет страсти». Г.Флобер

**Серия «Psychological Life Hack»:**  
«...понять всё и ничего не осудить – вот способ многое узнать и сохранять спокойствие». Г.Флобер

**Серия «Modern prose»:**  
«Книгу можно судить по силе, с которой она вас ударила, и по длительности времени, с какой возвращаешься к ней». Г.Флобер

**Серия «Fantasy Prose»:**  
«Необычайные чувства порождают высокие творения». Г.Флобер



Миссия «Флобернума» – открывать звезды и дарить их людям, чтобы жизнь стала ярче

<https://rugram.me/>    <https://flauberium.ru/>

Приглашаем драматургов участвовать в очередном сезоне Международного конкурса одноактных пьес **"Весь мир — театр. Новое слово для сцены"**.

Главная награда победителей конкурса – это сценическое воплощение их пьес. Лучшие пьесы, отмеченные жюри, будут инсценированы силами профессиональных театров. США, Европы и Израиля.

**Цели и задачи конкурса:**

**Выявление новых талантов среди русскоязычных драматургов по всему миру.**

**Помощь в реализации их творчества на международной театральной арене.**

**Развитие новых форм театра, в том числе постановка пьес на виртуальной сцене в Интернете.**

Все пьесы, прошедшие первый этап отбора, публикуются в сборнике «Весь мир – театр». Книга рассылается в русскоязычные театры Европы, Израиля и Америки и поступает на продажу в книжные магазины.

Подробную информацию для участников и видеозаписи спектаклей смотрите на сайте

**<https://www.limonova.co.il/konkursy-i-festivali>**

